

Джон Норвич
История Сицилии

Страницы истории (АСТ) –

ИСТОРИЯ СИЦИЛИИ

Джон НОРВИЧ



Сицилия – ворота между Востоком и Западом



«История Сицилии / Джон Норвич ; [пер. с англ. В. Желнинова].»: АСТ; Москва; 2018
ISBN 978-5-17-099444-1, 978-5-17-099443-4

Аннотация

*Сицилия – вот ключ ко всему», – говорил Гете.
 Это крупнейший остров в Средиземном море.
 Это посредник между Европой и Африкой.
 Это ворота между Востоком и Западом, связующее звено между латинским и греческим мирами.*

*Финикийцы и греки, карфагеняне и римляне, готы и византийцы, арабы и норманны, немцы, испанцы и французы – все оставили свой след на Сицилии.
 Почему именно Сицилия стала таким перекрестком культур?
 Какие из многочисленных легенд о ней правдивы, а какие – нет?
 И почему история острова оказалась столь трагичной?
 Об этом рассказывает в своей увлекательной книге сэр Джон Джулиус Норвич.*

Джон Норвич История Сицилии

*Посвящается
 всем моим детям и внукам*

A histori of Sicily

John Julius Norwich
 SICILY

Перевод с английского В. Желнинова
 Компьютерный дизайн В. Воронина

Печатается с разрешения автора и литературных агентств Felicity Bryan Associates Ltd. и Andrew Nurnberg.

© John Julius Norwich, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сицилию я открыл для себя более полувека назад, почти по ошибке. В июне 1961 года мне довелось работать в Министерстве иностранных дел, и я занимался вопросами Ближнего Востока, когда Ирак вторгся в Кувейт. (Все повторяется, увы...) Разразился кризис; Великобритания направила в регион свои войска, и мне пришлось трудиться без отдыха до середины октября. Из чего следовало, что, если нам с женой хочется солнца и тепла в отпуске, мы должны забраться достаточно далеко на юг; именно по этой причине – и ни по какой другой – мы остановили свой выбор на Сицилии. Для нас обоих это было первое знакомство с островом, и ни один из нас не знал о месте ничего вообще. На машине мы доехали до Неаполя, затем взяли билеты на ночной паром до Палермо. Ранним утром на палубе возникло изрядное оживление, поскольку паром проходил мимо Стромболи, а этот вулкан выпускал в воздух струю пламени каждые полминуты, будто великан, покуривающий огромную сигару. Несколько часов спустя, буквально с первыми лучами солнца, паром вошел в бухту Конка д'Оро, Золотая раковина, на берегу которой раскинулся город. Пейзаж ласкал взгляд, но помню, что меня еще поразило мгновенное изменение атмосферы. До Мессинского пролива была всего пара миль, в политическом отношении остров являлся частью Италии, но как-то сразу чувствовалось, что ты попал в совершенно другой мир.

В следующие две недели мы исследовали этот мир настолько тщательно, насколько было для нас возможно. Увидеть все было просто невыносимо – площадь острова составляет

почти ровно 10 000 квадратных миль, а большинство дорог представляло собой грунтовки, – но мы прилагали все силы. Думаю, не только местные особенности, но само их невероятное разнообразие поразило меня больше всего: тут и древние греки, и римляне, и византийцы, и арабы, и, наконец, эпоха барокко... Но окончательно меня свели с ума норманны. Мне вспомнился абзац из «Истории Европы» Г. А. Л. Фишера, где норманны на Сицилии удостоились лишь мимолетного упоминания; я оказался не готов к чудесам, которые меня ожидали. Довольно будет, пожалуй, двух примеров – Палатинской капеллы в Палермо, латинской по своему плану, со стенами, украшенными великолепной византийской мозаикой, и с крышей в сугубо арабском стиле, с деревянным потолком, каким могла бы гордиться любая мечеть; и громадной, двенадцатого столетия, мозаичной фрески Христа Пантократора в Чефалу, наилучшей «рекламой» христианства, какую я когда-либо видел.

Стоило мне узреть эти чудеса, как я понял, что не смогу забыть эти норманнские памятники, и по возвращении в Лондон отправился напрямик в библиотеку. К моему удивлению, книги на английском по истории Сицилии практически отсутствовали; зато нашлись два тома под названием «*Histoire de la Domination Normande en Italie et en Sicile*» («История норманнского владычества в Италии и на Сицилии»), опубликованные в Париже в 1907 году за авторством некоего месье Фердинанда Шаландона, который именовал себя «архивистом-палеографом». Месье Шаландон выполнил свою работу с достойным восхищения прилежанием; он изучил все доступные источники, прошерстил бесчисленное множество монастырских библиотек, снабдил свой труд примечаниями и библиографией, а также – что редкость для французских научных работ того времени – указателем. Единственное, в чем он не преуспел (и это показательно), – это в придании смысла своему исследованию. Факт громоздился на факт на протяжении почти 600 страниц, но ни разу не высказывалось предположения, что автор обнаружил нечто прекрасное, удивительное или особенно примечательное. В итоге читатель получил два довольно занудных, изобилующих датами и цифрами тома. С другой стороны, Шаландон проделал, по сути, всю подготовительную работу – мне оставалось лишь превратить его фолиант в интересное и читабельное произведение.

Тем не менее это был вызов – и я сразу понял, что урывками работать не получится. Пришлось расстаться с дипломатической службой и взяться за перо всерьез. Так уж вышло, что работа растянулась на многие десятилетия, однако мое собственное двухтомное исследование по истории норманнов обеспечило хороший старт. Занимаясь этой историей, я был вынужден отвечать самому себе на вопрос о целесообразности изучения этой темы; лишь однажды встретился человек, который смог оценить предмет моих исследований, и даже сегодня, пятьдесят лет спустя, я по-прежнему задаюсь вопросом: почему эта замечательная история, история возвышения, образно выражаясь, из грязи в князи, в которой были задействованы братья и кузены тех самых норманнов, что разгромили саксов в 1066 году, до сих пор остается почти неизвестной в Англии? В настоящее время множество людей проводит свой отпуск на Сицилии, и потому можно считать, что ситуация, вероятно, изменилась к лучшему; но подавляющее большинство туристов куда больше интересуется красивыми фотографиями, нежели рассказами гидов, а потому я далеко не уверен в справедливости этого вывода.

В ходе работы над первым томом моего исследования – «Норманны на юге», который предполагалось опубликовать в 1967 году, – мне поступило предложение сделать документальный фильм об истории Сицилии для «Би-би-си телевижн». Сегодня чрезвычайно сложно поверить в то, что фильм был черно-белым, но это правда, и хотя в целом фильм получился не слишком удачным, для первой попытки он был не так уж плох. Никто не торопился облегчить нам задачу. Пожилой священник, заведовавший Палатинской капеллой, монсеньор Поттино, словно нарочно ставил нам палки в колеса буквально на каждом шагу. Сначала он отказался разрешить установку софитов – под тем предлогом, что лампы расплавят штукатурку, на которую была нанесена мозаика. Мы говорили, что софиты будут гореть всего тридцать секунд, что свет выключится задолго до того, как со штукатуркой

произойдет непоправимое, но он не слушал. Затем ему не понравился наш штатив. Нет, нет, никаких штативов в часовне, они могут поцарапать пол. Мы не стали напоминать монсеньору о сотнях каблуков-«шпилек», которые угрожают полу каждый день; вместо этого мы смастерили устройство типа носилок, на которое и полагалось установить ножки штатива, чтобы пола касалась лишь гладкая тканевая поверхность. Нисколько не восхищенный нашей предприимчивостью, монсеньор Поттино продолжал качать головой; от него было не дождаться ни слова извинения, ни даже намека на улыбку. В какой-то момент наш режиссер, который изъяснялся на отличном итальянском, вышел из себя. «Этот человек, – сказал он, указывая, к моему величайшему смущению, на меня, – носит титул виконта. Кроме того, он член палаты лордов. Когда он вернется в Лондон, то безусловно сообщит палате о том, как с ним здесь обращались». Монсеньор Поттино посмотрел на него с жалостью. «Io sono marchese»¹, – только и ответил он. Что называется, туше; оставалось лишь признать свое поражение.

Впрочем, этот священник оказался единственным по-настоящему недружелюбным сицилийцем из всех, кого я когда-либо встречал; при этом нигде на острове, мне кажется, нас не встречали с той неподдельной и бурной радостью, какая свойственна жителям материковой Италии. Еще сразу бросалась в глаза другая местная особенность, прежде всего в деревнях, – отсутствие женщин. Их редко можно было увидеть в кафе, где обыкновенно доминировали мужчины, которые, играя в карты, кидали каждую карту на стол с таким видом, будто это козырной туз, будто на кону – сама их жизнь. Смех слышался нечасто. Порой я задаюсь вопросом, не связано ли это, хотя бы отчасти, с исламским прошлым Сицилии; но, разумеется, есть множество других факторов, которые необходимо принимать во внимание: многовековая ужасающая нищета, бесконечные завоевания и привычная жестокость завоевателей, не говоря уже о природных катастрофах – землетрясениях, эпидемиях, извержениях вулканов. Даже на западе острова гора Этна видится расположенной совсем близко.

Написание этой книги далось мне труднее, чем я ожидал. Во-первых, я был удивлен и даже слегка шокирован открывшейся мне степенью моего неведения. После нескольких визитов в качестве приглашенного лектора в ходе туров и круизов я свел, что называется, шапочное знакомство с большей частью острова; но я думал, что знаю намного больше, чем оказалось на самом деле. Приглашенные лекторы, если уж на то пошло, обычно довольствуются тем, что, так сказать, скользят по поверхности – у них нет времени углубляться в подробности; помимо трагически короткого периода норманнского владычества в одиннадцатом-двенадцатом столетии, я мало что знал об истории острова. Поэтому пришлось начитывать изрядные объемы литературы. Вдобавок я столкнулся с другой проблемой: со средних веков Сицилия всегда кому-то принадлежала. После войны Сицилийской вечерни 1282 года она стала испанской колонией, и следующие почти четыре столетия на острове фактически ровным счетом ничего не происходило. Наместники назначались и снимались, бароны продолжали эксплуатировать крестьянство, но действительно важных событий было настолько мало, что подробное изложение истории острова в хронологическом порядке рисовалось невозможным. Даже великолепная трехтомная история Сицилии Мозеса Финли и Дениса Максмида отводит данному периоду чуть более ста страниц; что касается моей книги, я счел, что двух глав вполне достаточно.

В восемнадцатом столетии, после Утрехтского мира, все пошло значительно живее. Семь лет господства Пьемонта, четырнадцать лет правления Австрии – а затем вернулись испанцы; но на сей раз это были испанские Бурбоны, которые все больше и больше «итальянизировались» с ходом времени и постепенно начали презирать и ненавидеть своих мадридских кузенов. Однако Сицилия продолжала оставаться на периферии, центр событий неумолимо смещался в Неаполь, и такое положение сохранялось, по большей части,

¹ «Я маркиз» (ит.). Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.

следующие сто тридцать лет. Естественно, мы должны следовать ходу истории: неаполитанские короли были также королями Сицилии, а поныне привлекающая внимание история Нельсона и четы Гамильтонов – которую ни в коем случае нельзя не затронуть – началась в одном королевстве и завершилась в другом. В период наполеоновских войн Бурбонов на короткий срок сменил зять французского императора, довольно нелепый Иоахим Мюрат; затем Бурбоны вернулись еще на полвека, но Рисорджименто² избавилось от них навсегда.

История Сицилии – как я неоднократно замечал – это печальная история, поскольку Сицилия – печальный остров. Гости прибывают сюда, в большинстве своем, на неделю или две, и вряд ли, думаю, фиксируют этот факт. Солнце светит, море отликает невероятной голубизной, достопримечательности вызывают удивление и восхищение. Если эти гости окажутся достаточно разумными, чтобы отправиться в Чефалу, они очутятся лицом к лицу с одним из самых грандиозных в мире произведений искусства³. Но печаль буквально разлита в воздухе, и каждый сицилиец это знает. Данная книга, помимо всего прочего, представляет собой попытку проанализировать причины сицилийской печали. Если попытка не удастся, это случится потому, что причины печали столь многочисленны и разнообразны, – а еще, быть может, потому, что я не сицилиец и для меня и подобных мне этот прекрасный остров всегда будет оставаться загадкой.

Сегодня мой восемьдесят пятый день рождения, и вполне может быть, что я больше никогда не вернусь на Сицилию. Таким образом, эта книга – своего рода прощание. Пускай остров наполнен печалью, однако он оделил меня немалой радостью и обеспечил начало – равно как, возможно, и завершение – моей литературной карьеры. Текста, который следует далее, явно недостаточно, чтобы выразить всю глубину моих чувств, но эти страницы писались с глубокой благодарностью и любовью.

Джон Джулиус Норвич

Лондон, сентябрь 2014 г.

«Мы старые, Шевалье, мы очень старые. Вот уж по крайней мере двадцать пять веков, как мы несем на своих плечах бремя великопечальных и чуждых нам по духу цивилизаций, которые привнесены извне; ни одна из них не пошла от нашей завязи, ни одной из них мы не положили начала; мы люди такой же белой кожи, как и вы, Шевалье, такой же белой, как у королевы Англии, и все же вот уж две с половиной тысячи лет мы являемся колонией. Я говорю это не для того, чтоб жаловаться: это наша вина. Но все равно мы устали, мы опустошены...

– Такова жестокость пейзажа, такова суровость климата, таково постоянное напряжение, в котором здесь пребывает все, таковы даже памятники прошлого, великопечальные, но непонятные нам потому, что они воздвигнуты чужими руками и окружают нас, как прекрасные немые призраки; и все эти правители, неизвестно откуда прибывшие и высадившиеся на наших берегах с мечом в руках: им сначала рабски служат, а вскоре начинают ненавидеть, но их никогда не понимают, их воплощением становятся лишь загадочные для нас произведения искусства да вполне конкретные сборщики налогов, которые затем расходуются не у нас, – все это образовало наш характер, который таким образом обусловлен роковыми внешними обстоятельствами, а не только пугающей островной отрешенностью наших душ»⁴.

² Национально-освободительное движение за объединение Италии (1840-е – 1871-й год). – *Примеч. ред.*

³ Если они сядут на паром через пролив в Реджо и возьмут такси до археологического музея Великой Греции, их ожидает еще одно чудо – великолепная пара греческих статуй (обнаженные воины), известные как «воины из Риаче».

⁴ Перевод Г. С. Брейтбурда. – *Примеч. ред.*

ВВЕДЕНИЕ

«Сицилия – вот ключ ко всему», – говорил Гете. Это, прежде всего, крупнейший остров в Средиземном море. Также, как выяснилось на протяжении столетий, это самый несчастливый остров. Переходный этап между Европой и Африкой, ворота между Востоком и Западом, связующее звено между латинским и греческим мирами, одновременно твердыня, посредник и наблюдательный пункт, Сицилия сражалась и становилась оккупированной по очереди всеми великими державами, которые стремились веками установить свое господство на Средиземном море. Она принадлежала им всем – и тем не менее не являлась частью какого-либо государства в полном смысле этого слова; количество и разнообразие завоевателей, чьи нашествия и набеги препятствовали формированию сильной национальной идентичности, наделили остров поистине «калейдоскопическим» наследием, которое никогда не сможет полностью ассимилироваться. Даже сегодня, несмотря на красоту ландшафта, плодородие полей и вечное благословение климата, остров сохраняет некую атмосферу темной задумчивости – некую ауру горести, проявлениями которой могут считаться бедность, церковь, мафия и прочие популярные современные «стрелочники», но никто из них, безусловно, не является причиной этой горести. Перед нами печаль долгого и несчастливого опыта, упущенных возможностей и невыполненных обещаний – печаль красивой женщины, которую слишком часто предавали и в сердце которой больше нет места любви и браку. Финикийцы и греки, карфагеняне и римляне, готы и византийцы, арабы и норманны, немцы, испанцы и французы – все оставили свой след на Сицилии. Сегодня, полтора века спустя после вхождения в состав Италии, Сицилия, быть может, несчастна меньше, чем она привыкала быть многие столетия; но, пускай уже не «отрезанный ломоть», она по-прежнему кажется одинокой, вечно ищет свою идентичность – и вряд ли сможет когда-либо ее обрести.

Даже происхождение названия острова остается загадкой. Если, как предполагалось, оно происходит от греческого слова *sik*, употреблявшегося для обозначения растений и фруктов, которые быстро зреют, то название острова может означать «плодородный», но наверняка утверждать нельзя. Прежде остров называли Тринакрия, подразумевая приблизительно треугольные очертания Сицилии; отсюда и древний символ, трискелион, причудливое сочетание трех согнутых ног, во многом схожее с эмблемой острова Мэн, за исключением того, что сицилийские ноги обнажены, а мэнские – обуты, облачены в доспехи и украшены шпорами. На сицилийском трискелионе также помещали в центре голову медузы Горгоны со змеями в волосах. Это существо удивительно популярно на Сицилии, несмотря на то, что жила она, по мифам, вовсе не здесь и Персей вовсе не тут отрубил ей голову. (В замечательном археологическом музее Сиракуз есть большая и довольно грубая античная скульптура – чудовище с огромными клыками и высунутым языком; местные гиды сообщают, что это Горгона, но мне кажется, что они ошибаются – змей-то в волосах нет.) Остров фигурирует в нескольких сюжетах греческой мифологии, в том числе в истории похищения Персефоны Аидом, правителем подземного мира; считается, что похищение состоялось на берегу озера Пергуза⁵ близ Энны. Сама Энна – пожалуй, самый красивый город на Сицилии, построенный на высоком обрывистом утесе и видимый на десятки миль отовсюду – являлась местоположением грандиозного храма матери Персефоны, богини Деметры (или Керы); этот храм возвел Гелон, тиран Сиракуз, с которым мы встретимся на следующих страницах. Деметра, напомню, долго и тщетно искала свою дочь и впоследствии,

⁵ Туристам рекомендуется избегать озера Пергуза как чумы. В настоящее время на его берегах располагается автодром, и ландшафт утратил всякую привлекательность.

узнав правду о похищении, в гневе обрекла Сицилию на бесплодие природы. По счастью, Зевс вмешался и объявил, что Персефона должна проводить с матерью восемь месяцев в году, и тогда вся растительность будет плодоносить. Но с приходом осени ей предстояло возвращаться в подземный мир.

Циклоп Полифем также был сицилийцем. (Возможно, в образе этого одноглазого исполина представлялась сама гора Этна.) Он был влюблен в Галатею, морскую богиню из числа нереид, и настолько разозлился, когда она предпочла ему простого смертного по имени Акид⁶, что раздавил соперника скалой на склоне вулкана (в жерле которого мифы помещали кузницу бога Гефеста). Галатея не смогла оживить своего возлюбленного, поэтому превратила его в реку, стекающую по склону Этны к морю, где они двое вновь воссоединились. Память об Акиде сохраняется в имени городка Ачиреале и других населенных пунктов – их не меньше восьми – на острове. Неподалеку от Ачи Трецца и Ачи Кастелло торчат из моря три огромных скалы; это так называемые *scogli dei Ciclopi*, «Циклоповы камни», те самые валуны, которыми Полифем кидал в Одиссея и его товарищей, благодаря хитрости сбежавших из пещеры одноглазого великана. Одиссею вообще не слишком везло на Сицилии: вскоре после встречи с циклопом ему снова выпало едва избежать смерти у берегов острова, когда он проплывал Мессинским проливом, и Харибде, дочери Посейдона, вздумалось сыграть с мореходами свой любимый трюк – закрутить морскую воду в гигантском водовороте. (Соседка, шестиглавое морское чудовище Сцилла, жила напротив, на материковой стороне пролива.)

Но моя книга не является трактатом по греческой мифологии. Настало время вернуться к более прозаическому миру наших дней. Знаменитые слова из «Леопарда» Джузеппе ди Лампедузы, использованные в качестве эпиграфа к моей книге – эти слова произнес князь дон Фабрицио Салина, обращаясь к пьемонтскому офицеру в 1860 году, через несколько месяцев после захвата Сицилии Гарибальди, – емко формулируют долгую историю острова и объясняют бесчисленные различия между сицилийцами и итальянцами (казалось бы, ближайшими географическими соседями – ведь пролив не является серьезной преградой). Эти народы различаются лингвистически, говорят каждый на собственном языке, а не на диалектах одного языка: у сицилийцев привычное конечное «о» меняется на «у», и почти все итальянцы признаются, что не понимают своих южных собратьев. Что касается географических названий, тут сицилийцы демонстрируют одержимость звучными пятислоговыми именами – Кальтаниссетта, Ачиреале, Калашибетта, Кастельветрано, Мистербянко, Кастелламаре, Кальтаджироне, Роккавальдина... Этот список можно продолжать едва ли не бесконечно⁷. (Лампедуза дал усадьбе дона Фабрицио замечательное имя Доннафугате.) Еще они отличаются внешним видом – среди них удивительно много рыжеволосых и голубоглазых, что заставляет вспомнить традиционный облик их предков-норманнов; впрочем, более вероятно, что здесь «отметились» прежде всего британцы (в период Наполеоновских войн), а сравнительно недавно – англичане и американцы (в 1943 году). Сицилийцы имеют даже собственную гастрономию, для которой свойственно почитание хлеба – на острове его семьдесят два сорта – и беззаветная любовь к мороженому, которое островитяне поедают даже на завтрак.

Вино здесь тоже особенное; Сицилия является одним из наиболее значимых винодельческих районов Италии. Хорошо известно, что первая виноградная лоза возникла из-под ног бога Диониса, плясавшего у подножия Этны. Со временем из этой лозы стали изготавливать знаменитое мамертино, любимое вино Юлия Цезаря. В 1100 году Рожер

⁶ Согласно мифу, Акид был сыном бога Пана и нимфы, поэтому называть его простым смертным не совсем корректно. – *Примеч. ред.*

⁷ Однажды я сочинил стих для арии моцартовского Дон-Жуана, «Fin ch'han dal vino, calda la testa...», состоявший почти целиком из пятислоговых сицилийских географических названий, но этот стих – наверное, к счастью – давно где-то затерялся.

д'Отвиль основал винокурню в аббатстве Святой Анастасии близ Чефалу; эта винокурня по-прежнему работает. Почти семьсот лет спустя, в 1773 году, Джон Вудхауз высадился на берег в Марсале и обнаружил, что местное вино, которое выдерживалось в деревянных бочках, обладает замечательным сходством с испанскими и португальскими крепленными красными винами, столь популярными тогда в Англии. Поэтому он купил сразу несколько ящиков и привез домой, где это вино приняли весьма радушно, а затем вернулся на Сицилию и к концу столетия уже наладил массовое производство. Примеру Вудхауза спустя несколько лет последовали члены семейства Уитакер, с чьими потомками я хорошо знаком и чью внушительную (и довольно угрюмую на вид) виллу Мальфитано в Палермо можно посетить по утрам в будние дни. Заодно можно побывать и на соседней Виллино Флорио, великолепном образчике ар-нуво, которому лично я безусловно отдаю предпочтение.

Любой разговор о Сицилии неизменно порождает вопросы о мафии, а на подобные вопросы, что неудивительно, очень сложно отвечать, не в последнюю очередь потому, что мафия умудряется быть одновременно везде и нигде. Мы приглядимся к мафии более внимательно в главе 16; здесь же следует сказать, что это вовсе не кучка бандитов – типичному иностранному туристу на Сицилии столь же безопасно, как и в любой другой местности Западной Европы⁸. Крайне маловероятно, чтобы он вообще столкнулся с этой организацией за время пребывания на острове. Но вот если такой турист решит поселиться на Сицилии и начнет договариваться о приобретении недвижимости, к нему вполне может заглянуть «на огонек» очень вежливый и хорошо одетый джентльмен – по виду смахивающий на преуспевающего адвоката, – который объяснит, почему ситуация с проживанием на острове не настолько простая, как может показаться на первый взгляд.

В завершение два слова о писателях Сицилии. Два сицилийца удостоились Нобелевской премии по литературе – это Луиджи Пиранделло и Сальваторе Квазимодо (псевдоним Сальваторе Рагузы). Пьеса Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» принадлежала к числу ранних образцов «театра абсурда» и вызвала такой резонанс на премьере в Риме в 1921 году, что драматургу пришлось бежать через боковой вход; однако впоследствии она стала признанной классикой и теперь входит в репертуар театров всего мира. Сам Пиранделло сделался убежденным фашистом и пользовался восторженной поддержкой Муссолини. Стихи Квазимодо очень популярны в Италии и переведены на сорок с лишним языков. Но если вам захочется ощутить истинное обаяние Сицилии, обращайтесь не к этим литературным колоссам, а к творчеству Леонардо Шаша и Джузеппе Томази ди Лампедуза. Шаша родился в 1921 году в маленьком городке Ракальмута, между Агридженто и Кальтаниссеттой, где и прожил большую часть своей жизни. Его лучшие романы – «День совы», «Каждому свое», «Сицилийские родичи» – представляют собой первоклассные детективные истории с выраженным сицилийским колоритом; но также они анализируют трагические недуги острова, наподобие политической коррупции и – куда же без нее? – мафии. Легче для восприятия, но все равно сугубо сицилийские криминальные романы Андреа Камиллери, на основе которых недавно сняли превосходный телевизионный сериал со сквозным героем, детективом-инспектором Сальво Монтальбано, начальником полиции в вымышленном городке Вигата. Этот сериал приобрел такую популярность, что Порто Эмпедокле, родина Камиллери, официально изменил свое название на Порто Эмпедокле Вигата.

Что же касается Джузеппе Томази ди Лампедузы, для меня он является несомненным классиком. Роман «Леопард», на мой взгляд, – лучшая книга о Сицилии, какую я когда-либо читал; на самом деле я бы причислил ее к величайшим романам двадцатого столетия. Тем,

⁸ Туристам, которые все еще сомневаются в собственной безопасности на острове, могу посоветовать книгу некой мисс Э. Лоу, опубликованную в 1855 году под названием «Беззащитные женщины на Сицилии, в Калабрии и на вершине горы Этна». Мисс Лоу самостоятельно поднялась на вулкан, скидывая нижние юбки одну за другой по мере восхождения. Мать, которая поднималась вместе с нею, носила резиновые галоши, но они промокали в снегу и оказались бесполезными.

кто заинтересовался автором, горячо рекомендую замечательную биографию Лампедузы «Последний леопард» за авторством Дэвида Гилмора. Ряд других работ, представляющих интерес, указан в библиографии.

Впрочем, книги никогда не рассказывают нам всего. Ни один «пришлый», как я подозреваю, не сможет до конца проникнуть в тайны острова; мы, «чужаки», должны просто делать все от нас зависящее, и я могу лишь надеяться, что моя короткая история Сицилии внесет сюда собственную, весьма скромную лепту.

Глава 1 Греки

Вряд ли удивительно – поскольку остров расположен фактически в самом центре Средиземного моря, – что на Сицилии множество доисторических достопримечательностей. К примеру, на острове Леванцо, недалеко от Трапани, имеется огромная пещера, по какой-то причине именуемая Гротта дель Дженовезе, пещерой генуэзцев; ее стены украшены неолитической живописью, изображениями зубров, оленей и даже рыб. Эти изображения были найдены совсем недавно, в 1950 году. Другие рисунки, значительно более древние, но, пожалуй, менее примечательные, были обнаружены несколько лет спустя на Монте-Пеллегрино, массивном золотистом утесе, что высится над дорогой в Монделло, всего в паре километров от Палермо. Кому это интересно, могут найти всю необходимую информацию – и, возможно, даже больше – в археологическом музее. А для тех из нас, кто готов оставить предысторию специалистам по первобытной истории, первой подлинной культурой на острове Сицилия является микенская (примерно с 1600 года до нашей эры). Вероятно, около 1400 года до нашей эры Сицилия оказалась одной из узловых точек в обширной сети торговых путей, которые начинались от Микен в северо-восточном Пелопоннесе и тянулись вплоть до Кипра и Северной Африки. Увы, такое благополучие не продлилось долго. Микены погибли – никто не знает точно, почему и как – около 1200 года до нашей эры, объемы торговли резко сократились, и сицилийцы вернулись к прежним занятиям и обычаям.

О ком именно речь в данном случае? Сложно сказать наверняка. Историки упоминают о сиканах, сикулах, авзонийцах и элимах; Фукидид, который писал в пятом столетии до нашей эры, утверждал, что последние были беженцами из Трои (как, собственно, и римляне, потомки Энея). Но о них мало что известно. Для нас гораздо важнее древние греки, которые достигли Сицилии в середине восьмого столетия до нашей эры. Благодаря им остров наконец вступил, так сказать, в историческую эпоху. Первые греческие поселения находились на южном побережье, где практически нет естественных гаваней, но грекам гавани и не требовались – им в те давние времена было вполне достаточно любого берега, на который мог выброситься корабль; обыкновенно они высматривали длинные песчаные участки – и нашли таковые, в частности, у Наксосу, где переселенцы из эвбейской Халкиды высадились в 734 году до нашей эры, у Акраганта (современный Агридженто) и у Гелы, где было основано первое постоянное греческое поселение на Сицилии в 688 году до нашей эры. В последующие годы греки постепенно потеснили – но не истребили – коренное население острова, равно как и финикийцев, владевших торговыми «факториями», завезли на Сицилию оливы и виноградную лозу и быстро создали процветающее общество. Это общество вскоре сделалось одним из главных культурных центров цивилизованного мира, прибежищем поэтов наподобие Стесихора из Гимеры – кого боги поразили слепотой за сочинение язвительных насмешек над Еленой Троянской – и философов наподобие великого Эмпедокла из Акраганта, который много размышлял над переселением душ и, после долгой и утомительной службы помощником разных государственных деятелей, неожиданно решил порвать с бременем земного существования ради иного, высшего бытия утром 440 года до нашей эры, когда научные изыскания привели его к жерлу вулкана на горе Этна.

К тому времени греки успели колонизировать большую часть Восточного

Средиземноморья. Они также цивилизовали этот регион, распространяя свои искусство и архитектуру, литературу и философию, науку и математику и свои навыки производства. Но – и об этом ни в коем случае не следует забывать – Великая Греция, как ее называли, никогда не была нацией или империей в том смысле, в каком позднее стал нацией и империей Рим. С политической точки зрения Греция состояла из множества небольших городов-государств; к 500 году до нашей эры их насчитывалось около 1500, и они занимали территорию от Черного моря до побережья Каталонии. Чрезвычайно гордившиеся своим греческим происхождением, эллины охотно поддерживали все проявления панэллинизма, включая Олимпийские игры; несмотря на это, они часто воевали между собой, заключали порой временные лиги и союзы, однако более всего ценили собственную независимость. Афины в те времена вовсе не считались столицей – с тем же успехом на эту роль мог претендовать, например, Галикарнас в Малой Азии, где родился Геродот, или коринфская колония Сиракузы на Сицилии, место рождения Архимеда, или остров Самос, где проживал Пифагор. Апостол Павел впоследствии хвастался тем, что был римским гражданином; ни о чем подобном никогда не рассуждали в Греции, которая – в этом она схожа с современным арабским миром – была, скорее, концепцией, воплощением идеи, а не национальным государством. Не имелось строгого определения «своего»: если ты ощущал себя эллином и говорил по-гречески, тебя признавали греком.

В результате этого массового расселения древних греков по Средиземноморью для потомков остались великолепные греческие достопримечательности в Италии, на Сицилии и в Малой Азии, а не только на территории, которую Греция занимает сегодня. Разумеется, большая их часть погибла; тем не менее на одной лишь Сицилии, в Маринелле – бывшем Селинунте – находятся по меньшей мере семь храмов шестого и пятого столетий до нашей эры; все они в удовлетворительном состоянии, пускай это во многом стало возможным исключительно благодаря масштабной программе реконструкции последних пятидесяти лет. Из девяти храмов в Агридженто пять сооружений по-прежнему поражают взор и весьма привлекательны, особенно на закате. Прекраснейший из всех античных храмов располагается в Сегесте, укрывшись в складке холмов; сюда совсем несложно доехать из Палермо, и от храма, по счастью, не видна автомагистраль. На самом деле храм не достроен – торчащие из стен опоры для перемещения каменных блоков так и не убрали – но от него исходит ощущение неброского совершенства и он олицетворяет собой все качества дорического монумента конца пятого столетия до нашей эры. На противоположном склоне холма размещается прекрасно сохранившийся амфитеатр третьего столетия до нашей эры, откуда можно любоваться храмом и восхищаться тем, что столь величественное сооружение сохранялось практически нетронутым на протяжении двух с половиной тысяч лет.

Не забудем и о соборе в Сиракузах – одном из немногих соборов, возведенных за пять столетий до рождения Христа. Его великолепный барочный фасад не содержит никаких намеков на то, что ожидает посетителя внутри; а внутри взору открывается совершенно иная история. Колонны, поддерживающие свод, принадлежат первоначальному дорическому храму Афины, который тиран Гелон воздвиг в ознаменование победы над Карфагеном в 480 году до нашей эры; этот храм славился своей красотой по всему древнему миру. При римлянах его величайшие сокровища были вывезены – то есть украдены – губернатором-коррупционером Верресом⁹, которого столь страстно обличал Цицерон. Византийцы первыми превратили античный храм в христианскую церковь; арабы перестроили ее в мечеть. Норманны и испанцы тоже внесли свой вклад; череда землетрясений причинила немалый урон; серьезная реконструкция 1693 года состоялась после обвала норманнского фасада. Однако античные колонны пережили все испытания и невзгоды и стоят до сих пор, как бы наглядным доказательством любопытного

⁹ Гай Лициний Веррес был наместником римской провинции Сицилия, печально прославился вымогательствами, за что по возвращении в Рим его предали суду; обвинителем на процессе выступал Цицерон. Впоследствии был казнен по приказу Марка Антония. – *Примеч. ред.*

историко-религиозного феномена: если какое-то место было признано священным, оно навсегда останется таковым, вопреки всем переменам в господствующей вере.

Но кто такой, может спросить читатель, был тиран Гелон, с которого все началось? Среди всех тиранов, то есть людей, которые правили городами-государствами как диктаторы и сыграли немаловажную роль в «греческой» истории Сицилии, Гелон выделялся своим выдающимся происхождением. Геродот утверждал, что его предки основали город Гела. «Прототипы» древнегреческих тиранов стали появляться в начале шестого века до нашей эры – можно упомянуть Панетия в Леонтинах, Фаларида в Акраганте и еще нескольких человек. О Панетии нам почти ничего не известно, как и о Фалариде, за исключением, что он предпочитал питаться младенцами и маленькими детьми и владел огромным полым бронзовым быком, внутри которого поджаривал тех, кто вызвал его неудовольствие. Куда лучше мы осведомлены о Пантарее из Гелы, чья колесница, запряженная четверней, победила на Олимпийских играх 512 (или 508) года до нашей эры и чьи сыновья Клеандр и Гиппократ правили последовательно вслед за отцом. Именно после смерти Гиппократа в 491 году – он погиб в битве с сикулами на склонах горы Этна – Гелон, бывший командир конницы, захватил власть. Он правил из своего родного города шесть лет, а затем, в 485 году, перебрался в Сиракузы, взяв с собою больше половины населения Гелы. Этот шаг был разумным, пускай и не неизбежным. Гела, как мы знаем, не имела собственной гавани; сегодня больше никто не выбрасывался на берег, если существовала возможность этого избежать, а во всем греческом мире редкая гавань могла соперничать в удобстве с гаванью Сиракуз.

Привлекательность Сиракуз не ограничивалась гаванью. Здесь также располагался остров, на расстоянии не более сотни ярдов от берега, где высилась могучая, самодостаточная крепость. Именно тут первые греческие колонисты основали город, который называли Ортигией, в честь богини Артемиды¹⁰. По чудесному стечению обстоятельств, на острове имелся казавшийся неиссякаемый родник с пресной водой – буквально у кромки моря¹¹; этот источник колонисты посвятили Аретусе, одной из нимф-спутниц богини.

В последующие несколько лет Гелон превратил завоеванное поселение в могущественный и процветающий город. В этом ему оказало немалую помощь глупейшее нападение на Сиракузы воинов из другого греческого города, Мегары Гиблейской, что находился в десяти-двенадцати милях севернее. Геродот рассказывает эту историю так:

Сначала Гелон переселил в Сиракузы всех жителей Камарины и дал им права гражданства. [Нижний] же город Камарину он велел разрушить; затем с большей половиной граждан Гелы он поступил так же, как и с камаринцами. Потом после долгой осады он заставил сдаться Мегары Сикелийские и богачей-мегарцев переселил в Сиракузы, предоставив гражданские права, хотя они-то как раз и начали войну с ним и теперь ожидали казни. Напротив, народ мегарский, вовсе не причастный к войне и не ждавший себе никакой беды, он также велел отвести в Сиракузы и отдать [работоторговцам] на продажу за пределы Сикелии... Так он действовал в обоих случаях, считая [неимущую] часть населения самой неприятной¹².

¹⁰ Артемида Ортигия – букв. «Артемида Перепелиная»; это прозвище богиня получила по острову Делос, месту своего рождения, – считалось, что на Делосе водилось множество перепелов. – *Примеч. ред.*

¹¹ Вода в роднике была такой свежей и обильной, что в июне 1798 года Нельсон использовал родник для пополнения запасов своей эскадры из четырнадцати кораблей. Он писал сэру Уильяму Гамильтону, что теперь уверен в грядущей победе. Два месяца спустя Нельсон разгромил французов в Абукирской бухте.

¹² Здесь и далее перевод Г. А. Стратановского. – *Примеч. ред.*

Вскоре после этого Гелон со своим союзником, безмерно богатым Фероном из Акраганта, распространил свою власть на большую часть греческой Сицилии. Селинунт и Мессина, впрочем, сумели сохранить независимость; Анаксилай Мессинский совершил поступок, видевшийся единственно возможным для того, чтобы избавить свой народ от порабощения – он обратился за помощью к Карфагену.

Пожалуй, тут – прежде чем двигаться дальше – стоит вкратце поведать о Карфагене. Первоначально город принадлежал финикийцам, а финикийцы – хананеи Ветхого Завета – были весьма любопытным народом. В отличие от своих современников в Египте они, похоже, не предпринимали никаких попыток основать единое централизованное государство. Ветхий Завет упоминает о жителях Тира и Сидона, в Первой книге Царств мы читаем, что тирский правитель Хирам отправил царю Соломону древесины и опытных мастеров для строительства храма в Иерусалиме. Народ Хирама создал знаменитую отрасль античной промышленности – они собирали раковины мурекса, моллюска, который выделял насыщенную пурпурную краску; эта краска ценилась гораздо выше золота¹³. Но их всегда интересовали земли на западе – с которыми они торговали, впрочем, как свободная «ассоциация» вольных негоциантов, чем как некое объединение, напоминающее нацию. Сегодня мы помним финикийцев прежде всего как превосходных мореходов, которые исплавали все Средиземноморье и отваживались выходить за его пределы, которые создали торговые колонии не только на Сицилии, но также на Балеарских островах и на атлантическом побережье Северной Африки. За Гибралтарским проливом они основали ряд поселений на побережье Марокко и на мысе, где стоял Кадис; вполне вероятно, кстати, что они даже пересекали Ла-Манш ради корнуоллского олова.

Что касается Карфагена, город добился независимости около 650 года до нашей эры, а к пятому столетию превратился в могучий город-государство, наиболее сильное и влиятельное среди всех финикийских поселений в Средиземноморье; находился этот город на территории нынешнего Туниса. Всегда вызывает удивление взгляд на карту, когда обнаруживаешь, что Тунис не южнее Сицилии, а западнее, и расстояние между островом и Тунисом едва ли больше ста миль. Карфаген отличался высокой степенью централизации власти и эффективностью управления. Если коротко, с его влиянием следовало считаться, а потенциальную угрозу ни в коем случае нельзя было игнорировать. Карфагеняне откликнулись на обращение Мессины, причем таким образом, который далеко превосходил пределы ожиданий – и даже рамки понимания. Ответ поступил не сразу, но лишь потому, что карфагеняне не собирались тратить время впустую. Их не интересовало оказание поддержки всяким мелким тиранам, угодившим в неприятности; нет, они нацеливались на свершения куда более амбициозные. Целых три года они собирали многочисленное войско, не только в Северной Африке, но и в Испании, на Корсике и на Сардинии, и одновременно строили не менее многочисленный флот; наконец в 480 году, под предводительством военачальника Гамилькара, они высадились в Палермо, откуда двинулись на восток вдоль побережья – и напали на Гимеру.

Дальнейшее развитие событий почти столь же невероятно, как и масштабы самой карфагенской экспедиции. Ферон – главный союзник Гелона – внимательно отслеживал перемещения карфагенского флота и готовился противостоять захватчикам. Поначалу казалось, что враг безнадежно превосходит его числом, но он сумел продержаться до подхода Гелона из Сиракуз, а Гелон привел войско, численностью не уступавшее войску Гамилькара и гораздо лучше оснащенное и обученное. Вдобавок карфагеняне, к собственному изумлению, обнаружили, что остались в полном одиночестве. Анаксилай и его

¹³ Пурпур оставался императорским цветом вплоть до падения Византии в 1453 году. Основной недостаток добычи мурекса – ужасающая вонь от груд опустошенных раковин, поэтому такие раковины всегда выбрасывали с подветренной стороны от поселения.

мессинцы, призывавшие на помощь, никак себя не проявляли; Селинунт тоже не торопился выступить против тиранов. В отчаянной схватке на берегу Гамилькара был убит – по другой версии, покончил с собой, прыгнув в пламя; его корабли, оставленные без защиты в прибрежной полосе, были сожжены дотла. Огромное количество пленников обратили в рабство, Карфагену пришлось также выплатить громадную контрибуцию, которой Гелон распорядился весьма умело, возведя не только гигантский храм Афины, но и два храма меньших размеров в новом квартале Сиракуз – это были храмы Деметры и Персефоны, богини плодородия и урожая и ее дочери, владычицы мертвых.

После битвы при Гимере, которая, по словам Геродота, состоялась в тот же день, когда афиняне одержали великую победу над персами при Саламине, о карфагенской экспедиции уже ничто не напоминало. Карфагеняне удалились зализывать раны, даже не попытались отомстить или возобновить военные действия, и спокойствие сохранялось следующие семьдесят лет. Анаксилаю позволили и далее править в Мессине; более того, он чувствовал себя в такой безопасности, что принял участие в состязаниях в Олимпии, где победил в не слишком захватывающей гонке запряженных мулами повозок. Кажется, он постепенно примирился с гегемонией Сиракуз; год или два спустя он выдал свою дочь замуж за Гиерона, младшего брата и преемника Гелона. Что касается самого Гелона, тот умер в 478 году. Многие годы он оставался наиболее могущественным правителем всего греческого мира – возможно даже, всей Европы. Что бы ни писал о нем Геродот, он показал себя необыкновенно справедливым и милосердным для тирана; сообщается, что в качестве одного из условий мирного договора он выставил требование к карфагенянам отказаться от традиционной практики человеческих жертвоприношений – и те были вынуждены согласиться. Когда Гелон скончался, его искренне оплакивали не только в Сиракузах, но и во многих других городах Великой Греции.

Громадная популярность Гелона и уважение, которым тот пользовался, должны были помочь Гиерону, но этого почему-то не произошло. Гиерон руководствовался благими намерениями, однако он уступал своему старшему брату и талантами, и интеллектом. Ощущение собственной уязвимости побудило его создать грозную «тайную полицию», что мало помогло в управлении, зато сделало нового тирана еще более непопулярным. Подобно Гелону, он охотно переселял людей, в частности, заставил население Наксоса¹⁴ и Катании перебраться в Леонтины, а затем «переосновал» Катанию под новым именем Этна и заселил город эмигрантами с Пелопоннеса. Он был также весьма честолюбив: в 474 году до нашей эры, в ответ на призыв из Кум, он направил флот в Неаполитанский залив, где нанес сокрушительное поражение этрускам.

Возможно, его самой привлекательной чертой была любовь к искусству: Пиндар и Симонид, вместе со многими другими менее именитыми поэтами и философами, нашли пристанище при дворе Гиерона в Сиракузах, как и трагик Эсхил¹⁵. Но старая магия, как говорится, все-таки иссякала. Врожденная слабость автократии состоит в том, что ее успех полностью зависит от характера и силы самодержца. Наследственные монархии способны пережить правление слабого властелина, а вот тирании в этом случае рушатся. Гиерон, увы, был не более чем мечтателем. Он прожил достаточно долго, чтобы выиграть олимпийское состязание на колесницах в 468 году до нашей эры, но умер на следующий год. Ему на краткий срок (и бесславно) наследовали, сменяя друг друга, еще два брата, но их

¹⁴ Не следует путать этот населенный пункт с островом в Эгейском море. Сегодня это Джардини-Наксос на побережье, в нескольких километрах к югу от города Таормина.

¹⁵ Будучи в гостях у Гиерона в Геле в 456 году, Эсхил, как говорят, стал жертвой непредвиденного стечения обстоятельств: орел, паривший в небе, принял его лысину за камень и скинул на голову драматургу черепаху, чтобы расколоть ее панцирь. Прямое попадание убило Эсхила на месте, а судьба черепахи осталась неизвестной.

последовательно свергли.

Логика истории подсказывает, что далее должен был появиться некий новый авантюрист «со стороны», который увидел свой шанс и устроил государственный переворот; по какой-то причине, однако, тирания вдруг выпала из моды. Не только Сиракузы – напомним, важнейший на тот момент город Сицилии – вернулись к демократии: аналогичным образом поступили почти все мелкие тирании по всему острову (описывать их участь подробно нет времени, возможности и поводов). Такое единодушие породило иную проблему: столько местных жителей было согнано с привычных мест и переселено в другие города, что оказалось почти невозможно определить, кто заслуживает права голоса, а кто – нет; споры и дразги затянулись на полвека. Именно это обстоятельство, возможно, побудило афинян в 415 году до нашей эры выступить против Сиракуз, направить флот, о котором Фукидид отозвался как о самом «дорогостоящем и великолепном флоте», какого «никогда еще до того времени не снаряжало и не спускало на воду ни одно эллинское государство»¹⁶: более 250 кораблей и около 40 000 человек.

По не совсем ясным причинам Афины выказывали хищнический интерес к Сицилии с 450-х годов, когда город заключил совершенно неожиданный договор о дружбе с Сегестой (этот дипломатический ход можно сравнить, пожалуй, в сегодняшних условиях с пактом о дружбе между Китаем и Парагваем). За этим соглашением последовали другие, и когда в 427 году Леонтины попросили помощи против агрессии Сиракуз, афиняне немедленно отправили на Сицилию двадцать кораблей. Это выглядело довольно щедрым даром в любой ситуации, а на четвертый год Пелопоннесской войны, когда Афины сражались за собственное существование, казалось и вовсе поразительным. Фукидид утверждает (не очень убедительно), что целью похода было предотвратить отправку хлеба врагам Афин.

Пелопоннесская война, которая, в сущности, сводилась к противостоянию Афин и Спарты, оказывала незначительное воздействие на Сицилию вплоть до 415 года; но годом ранее вспыхнула вражда – увы, в очередной раз – между двумя западными городами, Сегестой и Селинунтом. Сегеста, будучи слабейшей из сторон, тщетно взывала о помощи к Акрагantu, Сиракузам и Карфагену и наконец, в отчаянии, отправила посольство в Афины. Формально Афины находились по-прежнему в состоянии войны, однако активные боевые действия сменились шатким перемирием, и в городе оказалось немалое число заскучавших воинов, которых требовалось чем-то занять. Кроме того, возшла звезда блестящего молодого сенатора (стратега) по имени Алкивиад, бывшего подопечного великого Перикла, который горячо отстаивал идею о крупномасштабном вторжении на Сицилию. Он не слишком высоко оценивал сицилийцев и в длинной речи перед народным собранием, переданной Фукидидом (VI:17), объяснил свое отношение:

Ведь многочисленное население сицилийских городов – это сборная толпа: города эти с легкостью меняют своих граждан и принимают новых. Поэтому там ни у кого нет оружия для защиты родины или себя лично и в городах нет необходимых сооружений для обороны. Каждый рассчитывает лишь на то, что он... сможет урвать из государственной казны и готов в случае неудачи переселиться в другую землю. Поэтому невероятно, чтобы подобный сброд, неспособный даже единодушно выслушать на сходке оратора, мог сообща взяться за важное дело.

Афиняне поверили Алкивиаду и собрали экспедицию.

Почти сразу же о просьбе Сегесты благополучно забыли; у афинян имелась гораздо более важная цель. Не будет преувеличением сказать, что они рассчитывали покорить всю Сицилию, но своей первой жертвой афиняне наметили важнейший город острова, Сиракузы. Поэтому флот двинулся именно к Сиракузам; но стоило войску высадиться, как среди

¹⁶ Здесь и далее перевод Г. А. Стратановского. – Примеч. ред.

военачальников начались споры и ссоры. Алкивиада, самого талантливое из них, отозвали в Афины, на суд по обвинению в осквернении священных герм, и он далее не участвовал в сражениях на острове; остался он в составе экспедиции, та, возможно, закончилась бы по-другому. Ни один из его коллег-полководцев не располагал, похоже, общим планом нападения; недели подряд греки откладывали штурм, словно нарочно давая Сиракузам достаточно времени подготовиться к атаке – и обратиться за помощью. Спарта с ее великолепно обученным войском и Коринф с его могучим флотом быстро откликнулись на призыв, и афиняне вскоре обнаружили, что завоевание Сицилии (и даже одних Сиракуз) ничуть не напоминает легкую прогулку, какой они ожидали.

К тому же, в отличие от афинян, Сиракузы имели превосходного командира. Этого человека звали Гермократ. Фукидид называет его «человеком выдающегося ума, отличавшимся военным опытом и прославленным доблестью», а Ксенофонт в «Греческой истории» прибавляет, что приближенные Гермократа «вспоминали о его заботливости, великодушии и общительности». В 415 году до нашей эры он одним из первых предостерегал сограждан относительно афинской угрозы и предпринял решительную попытку объединить Сицилию – в союзе с Карфагеном – против Афин, пока еще было время. В этом он потерпел неудачу, его даже попрекали «паникерством», а другие, наоборот, считали Гермократа разжигателем войны; очевидным следствием этих подозрений и предубежденности видится категорический отказ сиракузян вручить ему верховное командование – вместо того его избрали в числе трех военачальников, которым предстояло делить между собой власть. Подобное распределение полномочий означало, по сути, что руки Гермократа в значительной степени связаны.

Война продолжалась два полных года, и по крайней мере дважды афиняне подбирались вплотную к овладению городом. В 414 году едва удалось избежать крупного восстания рабов, а позже в том же году Гермократу пришлось начать переговоры о мире; лишь своевременное прибытие, со значительными подкреплениями, спартанского полководца Гилиппа спасло ситуацию. Гилипп поначалу был не слишком популярен в Сиракузах, но быстро показал себя умелым профессионалом, и Гермократ, проглотив свою гордость, признал спартанца командиром. Именно совместные усилия этих двух людей обеспечили конечное поражение афинян – поражение, которое в Афинах переживали очень и очень долго.

Но это была, разумеется, не единственная причина. Чем дольше затягивалась экспедиция, тем сильнее афиняне в войске тосковали по дому, тем отчетливее падал боевой дух, тем уязвимее становилось войско перед болезнями, в особенности перед малярией – неведомой в Афинах, но широко распространенной на Сицилии. Наконец афинские военачальники признали, что затея провалилась, и отдали приказ отступить. Но было слишком поздно. Сиракузяне и их союзники предприняли внезапную атаку; афинский флот очутился в ловушке посреди гавани и был уничтожен. После этого началось избиение – фактически резня. Затем двух старших афинских полководцев – Никия, который был тяжело болен, и Демосфена – казнили, около 7000 афинских воинов угодили в плен и отправились на принудительные работы в жуткие известняковые каменоломни, чьи остатки и сегодня можно наблюдать в непосредственной близости от города (как и следы ударов киркой по камням). В ближайшие несколько месяцев многим из них предстояло умереть от холода и истощения. Бесчисленное множество других¹⁷ пленных заклеили конским тавром на лбу и продали в рабство. (Утверждение Плутарха, будто нескольких счастливых отпустили на свободу, поскольку они прочли отрывок-другой из сочинений Еврипида, не вызывает доверия.) Фукидид подводит итог: это было «самое важное военное событие из всех эллинских предприятий не только во время войны, но... и вообще когда-либо происшедшее в

¹⁷ По Фукидиду, 7000 человек – это общее число пленных афинян и их союзников, из которых часть трудилась в каменоломнях, а другую продали в рабство. – *Примеч. ред.*

течение всей эллинской истории и самое славное событие для победителей и злополучное для побежденных».

Сицилия оказалась победителем и, на данный момент, обезопасила себя от иноземных захватчиков; но Пелопоннесская война отнюдь не закончилась, и Гермократ, оставшийся без дела, принял на себя командование флотом из двадцати трирем на службе Спарты, чтобы воевать в Эгейском море. Два года все обстояло неплохо, но в 410 году судьба отвернулась от него. Возможно, он был менее одарен как флотоводец, чем как сухопутный военачальник; так или иначе, в ходе кровопролитной схватки у Кизика на Мраморном море все его корабли были потоплены афинским флотом. Гермократ вернулся на Сицилию – и обнаружил, что доступ в Сиракузы ему запрещен; возможно, причина в том, что, несмотря на все его боевые заслуги, сограждане не доверяли Гермократу, опасались очевидных амбиций этого человека и боялись, что он сам может сделаться тираном. Их страхи, быть может, имели под собой основания, но сложно сказать наверняка; а в 407 году, пытаясь все-таки прорваться в город силой, Гермократ попал в окружение и был убит.

Среди тех, кто сражался рядом с Гермократом в тот роковой день, был высокий рыжеволосый молодой человек двадцати четырех лет по имени Дионисий. В недавней биографии ему приписали происхождение из «хорошо обеспеченных, но не допущенных к власти слоев общества»; по преданию, он осознал свое предназначение, когда рой пчел уселся на гриву его лошади¹⁸.

На самом деле мы ничего не знаем о его семье или о происхождении – разве что можем предполагать, что ему было действительно достичь той славы, к которой стремился его предшественник, и даже превзойти эти устремления. Если Дионисий учитывал в своих планах недавние события, ему несомненно было ясно, что и провал афинской экспедиции, и собственный побег из родного города объяснялись одной и той же причиной: реальной или мнимой недееспособностью лидеров. Афинские полководцы не могли согласовать действия отрядов в ходе кампании, а самый старший среди них по возрасту, Никий, был слишком болен, чтобы полноценно командовать войском. Сиракузы, с другой стороны, обладали выдающимся военным талантом Гермократа, но трусливо отказались признать его заслуги. Почему так происходит? Всему виной, предположительно рассуждал молодой человек, демократическая система. Демократия означает разобщенность; только абсолютная власть позволяет великому лидеру действовать без помех и добиваться выполнения самых дерзких задач.

Велик соблазн написать, что бесславный уход афинян привел к восстановлению мира на Сицилии. Увы, ничего подобного не произошло. Военные столкновения между Селинунтом и Сегестой возобновились, и в 410 году до нашей эры Сегеста в очередной раз обратилась за помощью – на сей раз к Карфагену. Карфагеняне откликнулись (видимо, они успели забыть о своем катастрофическом вмешательстве в дела острова семьдесят лет назад). В первый год они направили на Сицилию только небольшой, поспешно собранный отряд; но в 409 году на остров высадилось многочисленное войско под командованием полководца Ганнибала¹⁹. Потребовалось чуть более недели, чтобы на месте Селинунта осталась гора дымящихся развалин. Те жители города, которые не успели бежать, были убиты. Затем Ганнибал двинулся на Гимеру, где его воины учинили новую резню, прежде чем вернуться на зимовку в Северную Африку.

Карфагеняне, что называется, вошли во вкус и отнюдь не торопились покидать

¹⁸ Пчелы и мед всегда имели особое значение для Сицилии – с тех самых пор как Дедал, отец злополучного Икара, посвятил Артемиде золотую соту.

¹⁹ Не следует путать этого Ганнибала с великим Ганнибалом Баркой, который командовал карфагенским войском во время Второй Пунической войны.

Сицилию. Весной 406 года они вернулись с еще более многочисленным войском и наметили себе новую цель – Акрагант, который старательно сохранял нейтралитет в ходе предыдущих столкновений и потому процветал. Сиракузяне поспешили на помощь, но, к их изумлению и вопреки горьким упрекам, жители Акраганта не удосужились пошевелить и пальцем. Они слишком долго жили в довольстве и покое; возможно, они чересчур прикипели сердцами к роскоши, которой славился город, и к своим невероятно удобным кроватям и подушкам, которые Акрагант экспортировал во все уголки греческого мира. Военский устав того времени запрещал часовым иметь больше трех одеял и двух подушек на дежурстве; с подобным отношением к жизни вряд ли стоило ожидать, что жители Акраганта будут отчаянно сражаться. Они покинули город, перебрались в Леонтины, а карфагеняне разграбили опустевший Акрагант. Среди бесчисленных произведений искусства, с которыми они вернулись домой, был, как говорят, и тот бронзовый бык, в котором тиран Фаларид поджаривал своих жертв.

События в Акраганте не могли не сказаться на ситуации в Сиракузах, где и без того непростое политическое положение сделалось еще более запутанным; именно тогда Дионисий усмотрел в происходящем шанс для себя. Без особого труда – поскольку уже считался одной из восходящих звезд городского управления – он добился избрания в совет полководцев, откуда оставался всего лишь короткий шаг к высшему командованию. И этот шаг, вряд ли нужно уточнять, он не преминул совершить. Карфагеняне продолжали бесчинствовать на острове – в последующие несколько месяцев Гела разделила участь Акраганта, – и казалось весьма вероятным, что Сиракузы значатся следующими в их списке. Так и было на самом деле; но внезапно карфагеняне передумали и возвратились домой. Почему это случилось, установить невозможно. Античный историк Диодор глухо упоминает о вспышке чумы; но вполне может быть, что к уходу завоевателей причастен Дионисий. Кажется, что к тому времени он успел превратиться в удивительно значимую фигуру на острове. Сложно представить, что он запугал карфагенян, не говоря уже о том, чтобы заразить их; но его дипломатических навыков могло хватить на то, чтобы убедить их: нападение на город попросту не стоит затраченного времени и сил.

Какой бы ни была истинная причина ухода карфагенян, Сиракузы и Карфаген должным образом заключили мирный договор; этот документ признавал Сиракузы карфагенской провинцией на Сицилии. Карфагенские поселения, все расположенные на крайнем западе острова, объявлялись исключительной собственностью Карфагена. Населению захваченных городов разрешили вернуться в свои дома при условии, что они не будут строить укреплений и станут платить ежегодную дань. В Сиракузах же Карфаген не получил ничего; Дионисий уже крепко держал город под своим контролем. Началась вторая эпоха сицилийской тираннии.

* * *

Даже стричь себя он научил родных дочерей, не доверяя цирюльнику: и вот царские дочери, как рабыни, ремесленнически подстригали волосы и бороду отца. Но даже им доверял он не вполне, и когда они подросли, он отобрал у них бритвы и велел опалить себе бороду и волосы раскаленными ореховыми скорлупками.

К двум своим женам – сиракузянке Аристомахе и взятой из Локров Дориде – он приходил по ночам так, чтобы заранее все осмотреть и разузнать. Спальный покой его был окружен широким рвом, через который был переброшен лишь деревянный мостик, и он всякий раз сам за собою его поднимал, запираясь в опочивальне. Выступая в народном собрании, он уже не решался стоять прямо перед народом, а говорил свои речи с высокой башни²⁰.

²⁰ Здесь и далее перевод М. Л. Гаспарова. – Примеч. ред.

Этот отрывок из «Тускуланских бесед» Цицерона (написанных, нужно отметить, спустя четыре столетия после смерти Дионисия) следует воспринимать не столько как исторический анекдот, сколько как пример экстравагантных побасенок, что окружают великих правителей, в особенности если те остаются у власти достаточно долго для того, чтобы приобрести отчасти культовый статус. Дионисий Старший правил не менее тридцати восьми лет, и этот период тирании Диодор называл «наиболее длительным и суровейшим в истории человечества». Как ему это удалось? Разумеется, он обладал всеми характеристиками, необходимыми для эффективного руководства государством, – мужеством, уверенностью в себе, высоким интеллектом, решимостью и даром красноречия (последнее качество всегда имело принципиальное значение в греческом мире). Но ясно, что было что-то еще, позднее проявившееся в других – очень и очень немногих – людях; речь об Александре Великом, Юлии Цезаре и Наполеоне. Можно рассуждать о харизме, о качествах «звезды» – да называйте как угодно. На самом деле это «что-то» невозможно определить наверняка; с уверенностью мы можем говорить только, что мы опознаем это «что-то», когда видим его, и что Дионисий Сиракузский обладал этим «чем-то» сполна.

Захватывает дух от того, сколь деликатно – другого слова здесь не подобрать – Дионисий шел к власти. Он не вступал в союзы ни с аристократией (к которой сам никоим образом не принадлежал), ни с народом; никогда не позволял себе считаться бунтарем или, хуже того, революционером. Его притязания опирались прежде всего на безопасность города и всех, кто в этом городе жил. Враг еще стоял практически у ворот; нового нападения можно было ожидать в любую минуту, и после провала в Акраганте и Геле других сиракузских полководцев – некоторые из них, что установили лазутчики Дионисия, вели тайные переговоры с Карфагеном – он скромно предложил, что теперь надлежит доверить верховное командование ему (и никому иному). Чтобы укрепить свои позиции, он взял в жены дочь Гермократа²¹, за шурина которого выдал собственную сестру. Только когда утвердился на вершинах власти, он открыто выступил против своих потенциальных врагов.

Следующим шагом Дионисия было завладеть островом Ортигия – который занимает площадь около квадратного километра и всегда оставался районом для избранных; там находился и относительно недавно построенный храм Афины – и превратить его в свою личную крепость, разместить там дома ближайших друзей и единомышленников, а также обширные казармы для регулярного войска наемников и для части флотских экипажей²². Дополнительным преимуществом острова служил мост, который вел на сицилийский берег; этот подъемный мост – как и тот, о котором писал Цицерон, – мог оказаться полезным, если возникнет неприятная ситуация.

У него была первостепенная цель – укрепить свое владычество, приобрести столько власти и богатства, сколько будет возможно. В чем заключалось это владычество, определить не так-то просто: известно лишь, что тирания Дионисия отнюдь не ограничивалась Сиракузами. Можно предположить по сохранившимся намекам, что его власть распространялась на всю Сицилию за исключением дальнего западного края острова (который оставался в карфагенских руках), на большую часть южной Калабрии («мысок») и Базиликаты («супинатор») Апеннинского полуострова, а также на земли в устье реки По и даже на один или два «анклава» за Адриатикой, на побережье Далмации. Договор, заключенный с Афинами в 367 году до нашей эры, обещал тирану афинскую помощь в случае чьего-либо нападения на Дионисия или его потомков «в любом месте, которым

²¹ Две женщины, которых упоминает Цицерон, – это поздние «приобретения», на которых Дионисий женился одновременно в 399-м или 398 году. Оба бракосочетания, по преданию, совершились в одну ночь. Дочери этих женщин получили имена Благоразумие, Честь и Справедливость (Софросина, Арета и Дикелосина) – возможно, чтобы «компенсировать» скромное имя одной из матерей (Дорида).

²² На Виа XX settembre до сих пор сохранились руины городских ворот Дионисия, Порты Урбика.

правит Дионисий»; это одно из немногих международных соглашений в истории, заключенных непосредственно с главой государства, а не с конкретным государством.

Главным врагом Дионисия был, конечно, Карфаген. После нескольких лет, потраченных на укрепление своего положения на Сицилии, он начал всерьез готовиться к войне, вследствие чего на Сицилию потоком хлынули корабли, ремесленники и военные инженеры, которые строили для тирана осадные орудия и катапульты (прежде на острове ничем подобным не пользовались); к концу 398 года подготовка завершилась. Еще до официального объявления войны Дионисий приказал разграбить крошечную карфагенскую торговую «факторию» в Сиракузах и уничтожить все карфагенские корабли, которым случится быть в гавани; большинство других греческих полисов на острове вскоре последовали примеру Сиракуз. Первой «внешней» целью стала Мотия²³, маленький островок у западного побережья, защищавший наиболее крупное и густонаселенное карфагенское поселение на Сицилии. Мост, соединявший этот островок с Сицилией, был уничтожен защитниками, вследствие чего Мотия сумела продержаться до конца лета 397 года; тем не менее настал миг, когда она перестала сопротивляться – и заплатила дорогую цену за свое сопротивление. Большую часть населения вырезали, а всех греков, сохранивших верность Карфагену, распяли.

В следующем году война охватила всю Сицилию. Из Карфагена прибыли многочисленное войско и значительный флот, несколько городов заключили мир, но большинство продолжало бороться изо всех сил. Мессину сровняли с землей, и начало казаться, будто Сиракузы – следующие в списке; но город был спасен от штурма вспышкой чумы среди карфагенян. Дионисий не упустил эту возможность напасть на поверженного врага, и карфагеняне сдались. Им позволили вернуться домой в целости и сохранности после выплаты трехсот талантов – это были все деньги, которые имелись при войске. Союзников Карфагена, среди которых были несколько отрядов наемников из Северной Африки и Испании, предоставили собственной участи.

Победа Сиракуз не ознаменовала окончание карфагенских войн. В 393-м и 392 годах состоялись новые вторжения на остров, которые закончились ничем; зато после 383 года, с другой стороны, Карфаген воздал противнику сторицей. Никто не может указать точного местоположения Крониона, где Дионисий потерпел первое крупное поражение и потерял большую часть своей армии, – в том числе родного брата Лептина. Ему пришлось выплатить контрибуцию в размере 1000 талантов и принять новые границы владений, лишившие его Селинунта и большей части Акраганта. В 368 году он попытался отомстить и сумел вернуть себе Селинунт, но зимой того же года он умер, не завершив своих трудов. Относительно его кончины имеется несколько версий. Согласно одному сообщению, Дионисия отравили врачи по наущению его сына и преемника; согласно другой версии, он умер после того, как слишком бурно отпраздновал новость о том, что его пьеса «Выкуп Гектора» победила на не самом значимом драматическом состязании в Афинах.

Он всегда воображал себя литератором; в 388 году его двор почтил присутствием сам великий Платон, а историк Филист и поэт Филоксен были при этом дворе и вовсе завсегдатаями – хотя Филоксена однажды отправили в каменоломни за грубый отзыв о стихах своего господина. Вскоре после того, радениями нескольких друзей, он был освобожден – как раз к очередным поэтическим чтениям. Филоксен сидел молча, пока тиран не поинтересовался его мнением. «Назад в каменоломни», – только и ответил поэт.

Данте поместил Дионисия – пожалуй, несправедливо – в седьмой круг ада, где тиран пребывает в реке Флегетон, где текут кипящая кровь и пламя. На мой взгляд, для него был бы достаточным наказанием первый или второй круг ада. Дионисий был честолюбивым,

²³ Ныне Модзия. Остров принадлежит семейству Уитакер (см. Введение), чья вилла сегодня превращена в великолепный археологический музей. В этом музее находится знаменитый «Джоване с Модзии», статуя пятого века до нашей эры, изображающая молодого человека; специалисты осторожно приписывают ее авторство Фидию.

харизматичным и предприимчивым человеком – да, жестоким, но не более, чем большинство его современников-правителей, вдобавок возникает подозрение, куда более рассудительным, нежели это большинство. Он так и не сумел добиться своей заветной цели – изгнать карфагенян из Сицилии навсегда; если бы он это сделал, не исключено, по предположениям историков, что ему удалось бы покорить большую часть Италии и даже положить предел укреплению Рима. Накануне своей смерти он безусловно контролировал значительную часть территории Сицилии, не говоря уже об обширных владениях на материке. Самый большой из сохранившихся памятников эпохи Дионисия – линия укреплений вокруг Сиракуз, построенная за четыре года, с 401-го по 397-й; эту линию замыкает по-прежнему величественная крепость Кастелло Эуриало; имя тирана туристы узнают благодаря природному образованию, которое художник Караваджо первым назвал «Ухом Дионисия»: это любопытный образчик игры природы, через который тиран будто бы подслушивал разговоры рабов в каменоломнях. Вряд ли стоит уточнять, что на самом деле осуществить это на практике было попросту невыносимо.

Глава 2 Карфагеняне

Беда почти всех деспотов и диктаторов состоит в том, что им крайне редко удавалось и удается передать всю полноту своих полномочий преемникам. Гиерон растерял все достижения Гелона; аналогичным образом Дионисий II оказался лишь бледной тенью своего отца. Былой натиск сошел на нет; новый правитель, которому не исполнилось и тридцати, предпочитал делам удовольствия и выпивку и проводил большую часть времени в родном городе своей матери в калабрийской Локриде²⁴, оставляя государственные заботы – заодно с командованием многочисленным войском наемников, которые ныне образовали фактически отдельную «касту», – попечению других. Зато Дионисию Старшему исключительно повезло с зятем Дионом, мужем его дочери Ареты, отличным администратором и философом, который служил прежнему тирану верой и правдой – и вполне мог бы служить так же его сыну, не отпугни Диона распушенность молодого человека. В попытке исправить характер младшего Дионисия Дион даже пригласил в Сиракузы своего старого наставника Платона, кому уже перевалило за шестьдесят, но все было бесполезно: молодой Дионисий отвергал любые попытки что-либо изменить и вскоре отправил Диона в изгнание.

Эта ссылка, которую Дион коротал в Афинах, не причиняла ему существенных неудобств; будучи зажиточным человеком, Дион охотно посвятил «вольную» жизнь философским дискуссиям. Наверно, все было бы в порядке, держи Платон, как говорится, рот на замке. К сожалению, старый философ решил замолвить словечко за своего ученика; тиран Дионисий разгневался, прогнал Платона обратно в Афины и следом конфисковал всю сицилийскую собственность своего зятя. Это было уже слишком, и Дион немедленно приступил к подготовке государственного переворота. В 357 году он отплыл на Сицилию с тысячей наемников, причем направился не в Сиракузы, чего можно было ожидать, а в Миною на юго-западном побережье острова. Это поселение находилось в зависимости от Карфагена; Дион, должно быть, рассчитывал если не на полноценную поддержку со стороны карфагенян, то на, по крайней мере, благожелательный нейтралитет. Лишь оттуда он двинулся на Сиракузы, располагавшиеся на двести миль восточнее. По пути никто не оказывал ему сопротивления – на самом деле он пополнил свой отряд местными сторонниками, мечтавшими о ликвидации господства Сиракуз; да и в окрестностях самого

²⁴ Платон называл Локриду «италийским цветком»; увы, все это далеко в прошлом. Современный город Локри – оплот ндрангеты, калабрийского преступного сообщества, тесно связанного с сицилийской мафией. Именно в Локри в ходе первичных выборов 16 октября 2005 года был публично расстрелян на участке для голосования вице-президент калабрийской региональной администрации Франческо Фортуньо.

города мало кто противодействовал «освободителям». Дионисий предсказуемо бежал к матери в Калабрию, а гарнизон наемников вовсе не спешил выходить за городские стены. Наконец прибыл флот, набранный Дионисием; этим флотом командовал престарелый Филист – сам тиран по-прежнему скрывался, – которому удалось нанести Диону определенный урон; но затем на Филиста напали двадцать триер под командой Гекраклида, друга и союзника Диона. В жаркой морской битве Филист потерпел поражение. Некоторые источники сообщают, что он покончил с собой; другие утверждают, что его замучили до смерти. Все согласны в том, что его тело позднее проволокли по улицам города, а затем вышвырнули за стены и оставили непогребенным, на потеху диким собакам.

Между тем война продолжалась. Дионисий на короткий срок вернулся из Италии, однако понял, что ситуация безнадежная, и возвратился в Локриду, где сделался местным тираном. Дион прилагал все усилия для восстановления порядка в Сиракузах, учредил городское правительство в соответствии с заветами Платона, а сам стал править как этакий царь-философ. Но затея провалилась: он беспомощно наблюдал, как один авантюрист за другим бросает вызов его власти, а наемники торгуют своими клинками и берутся служить тем, кто предложит наибольшую цену. Неустроенность быстро перекинулась на прочие города и поселения, и вся «дионисийская империя» начала разрушаться. Гераклид поссорился с Дионом; тот приказал убить бывшего друга, а в 354 году погиб сам. Снова за опустевший трон заспорили авантюристы, и хаос длился до 346 года до нашей эры – в том году Дионисий II наконец покинул Италию и (на недолгий период) вновь утвердился на престоле своего отца.

Это возвращение получилось совсем кратким. Один из упомянутых авантюристов, некий Гикет, самопровозглашенный тиран Леонтин, обратился за помощью к Коринфу. Он упирал на то, что четыреста лет назад первыми греческими поселенцами в Сиракузах были именно коринфяне; поэтому Коринф теоретически являлся «материнским» городом Сиракуз, но никогда раньше не вмешивался в местные дела. Впрочем, не было ни малейших оснований ожидать, что он изменит свое отношение сейчас, истощенный пятьюдесятью годами войны с соседями, испытывавший катастрофический дефицит средств, – ведь новая авантюра не сулила никаких выгод. Тем не менее Коринф откликнулся на призыв Гикета и направил на Сицилию весьма малочисленный отряд (вероятно, менее 3000 воинов) под командованием пожилого полководца по имени Тимолеонт. Выбор командира весьма любопытен. Тимолеонт был известен прежде всего как братоубийца, пусть и «праведный»: по утверждению Диодора, он лично нанес роковой удар мечом, чтобы помешать своему брату Тимофану сделаться тираном. Плутарх, правда, щадит, так сказать, братские чувства: он говорит, что Тимолеонт заливался слезами, пока двое воинов убивали его брата. В любом случае соотечественники после этого относились к Тимолеонту не слишком приязненно, и его назначение вызвало общее удивление.

Тимолеонт не удостоился радушного приема, когда в 344 году до нашей эры высадился со своими людьми на берегу ниже Таормины; однако ему улыбнулась удача. Он пошел к Сиракузам, а Дионисий II, укрывавшийся на Ортигии, поспешил сдать на условии, что ему позволят беспрепятственно уплыть в Коринф. (Семье тирана, которая находилась в Локриде, повезло меньше: местные жители восстали и убили многих родичей Дионисия.) К соседним тиранам-авантюристам Тимолеонт не выказывал пощады; в следующие два или три года все они были схвачены и тем или иным способом казнены. Мамерка, захватившего Катанию, распяли; злосчастного Гиппоса, который завладел Мессиной, замучили до смерти в местном амфитатре, на глазах десятков детей (их намеренно освободили ради такого повода от школьных занятий); не помиловали и Гикета, призвавшего коринфян на остров: он и вся его семья разделили участь остальных тиранов.

Однако Коринф не единственный получил призыв о помощи с охваченной неурядицами Сицилии. Вполне ожидаемо, что другим «адресатом» этого призыва оказался Карфаген. Первое карфагенское войско, прибывшее на остров, почему-то отказалось сражаться и возвратилось домой, не запятнав себя кровопролитием; вторым – которое

насчитывало, по Плутарху, 70 000 человек, – командовал верховный полководец Карфагена, Гасдрубал. Это войско изрядно пострадало от вызванного обильными дождями разлива реки Кримисс (почти наверняка – близ нынешнего Беличе Дестро) в 340 году. Оставшиеся в живых отступили к карфагенским поселениям на крайнем западе острова, и Тимолеонт сделался единовластным хозяином Сицилии.

Это было замечательное достижение, тем более что сам Тимолеонт нисколько не притязал на власть, будь то в Сиракузах или где-либо еще. Он отобрал эту власть, жестоко и бессовестно, как и все те, кого он низверг и впоследствии ликвидировал. Различие заключалось в том, как он поступил со свалившейся на него ношей. В истории его удивительного возвышения не найти и намека на то, что он руководствовался личными амбициями или корыстью. Стоило ему удостовериться, что его власти на острове ничто не угрожает, Тимолеонт провел ряд радикальных реформ. Со всеми мелкими тиранами было уже покончено; теперь он разрушил дворец-крепость Дионисия I на Ортигии, это печальное олицетворение тиранического режима; пригласил на остров законовевов из Коринфа, чтобы изменить «конституцию» Сиракуз (город остался олигархией, но был учрежден Совет шестисот, благодаря чему количество голосов в управлении значительно возросло); а также перевез на Сицилию существенное число чужеземцев-иммигрантов – Плутарх говорит о 60 000 человек, – не только из Италии, но со всей Великой Греции, щедро наделив их земельными участками и тем самым немало увеличив площадь сельскохозяйственных земель. Именно во многом благодаря Тимолеонту Сицилия впоследствии стала выращивать столько зерна и сделалась главной житницей Рима. А потом – и это, возможно, удивительнее всего – в 338 или 337 году Тимолеонт тихо вышел в отставку, сославшись на старость и на подступающую слепоту. После смерти его похоронили за общественный счет, а память чтили не только в монументе на агоре, но и в гимназии, известной как Тимолентий.

Двадцать лет после смерти Тимолеонта – это двадцать лет нового процветания, ставшего возможным в первую очередь из-за резкого роста сельскохозяйственного производства, им, собственно, и обеспеченного. Храмы, театры и общественные здания строились по всему острову, как, впрочем, и укрепления. Сицилия отнюдь не стала единой – и ей предстояло оставаться раздробленной еще длительное время. Постепенно остров вновь охватили раздоры; а Карфаген и Коринф в очередной раз напомнили о своем присутствии. Нельзя сказать, чтобы острову действительно требовался новый сильный лидер, – скорее, его появление было неизбежным. В общем и целом сцена была готова к выходу такого персонажа, и он оказался, по мнению некоторых, самым кровожадным тираном греческой Сицилии.

Сицилиец Агафокл стал царем Сиракуз, хотя вышел не только из простого, но из низкого и презренного звания. Он родился в семье горшечника и вел жизнь бесчестную, но смолodu отличался такой силой духа и телесной доблестью, что, вступив в войско, постепенно выслужился до претора Сиракуз. Утвердясь в этой должности, он задумал сделаться властителем Сиракуз и таким образом присвоить себе то, что было ему вверено по доброй воле...

Он созвал однажды утром народ и сенат Сиракуз, якобы для решения дел, касающихся республики; и когда все собрались, то солдаты его по условленному знаку перебили всех сенаторов и богатейших людей из народа. После такой расправы Агафокл стал властвовать, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны граждан. И хотя он был дважды разбит карфагенянами и даже осажден их войском, он не только не сдал город, но, оставив часть людей защищать его, с другой – вторгся в Африку; в короткое время освободил Сиракузы от осады и довел карфагенян до крайности, так что они были вынуждены заключить с ним договор, по которому ограничивались владениями в Африке и уступали Агафоклу Сицилию...

Нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство,

*жестокость и нечестивость: всем этим можно стяжать власть, но не славу. Так что, если судить о нем по той доблести, с какой он шел навстречу опасности, по той силе духа, с какой он переносил невзгоды, то едва ли он уступит любому прославленному военачальнику, но, памятуя его жестокость и бесчеловечность и все совершенные им преступления, мы не можем приравнять его к величайшим людям. Следовательно, нельзя приписать ни милости судьбы, ни доблести то, что было добыто без того и другого*²⁵.

Никколо Макиавелли, автор «Государя», откуда взяты эти строки, был человеком, которого не просто шокировать; но даже он соглашался с тем, что Агафокл зашел слишком далеко. Агафокл не скрывал того обстоятельства, что его отец был иммигрантом-гончаром и растил сына как преемника в своем ремесле. Тут нет ничего удивительного: в конце четвертого столетия до нашей эры восточная Сицилия являлась крупным производителем глиняной посуды, и многие из тех, кто был занят в этом производстве, вполне могли считаться художниками, а не ремесленниками. Но профессиональные гончары, сколь угодно выдающиеся, как правило, все-таки не становились военными командирами; можно предположить, что отец Агафокла отчасти напоминал Джозайю Веджвуда, то есть был успешным предпринимателем, руководившим «фабрикой», где применялся рабский труд. Родившийся в 361 году до нашей эры, Агафокл в возрасте двадцати восьми лет женился на богатой вдове и последующие пятнадцать лет вел жизнь, если воспользоваться позднейшим термином, кондотьера, солдата удачи; только в 317 году, в возрасте сорока четырех лет, он подошел с отрядом наемников к городским воротам Сиракуз. Его приход совпал с тщательно спланированным народным восстанием в городе; за время и после этого восстания, по словам Диодора, около 10 000 горожан убили или изгнали. Затем Агафокл созвал народное собрание – или то, что от него осталось, – которое надлежащим образом наделило его верховными полномочиями.

Тимолеонт был олигархом, Агафокл же – человеком из народа. Даже после массовых убийств в Сиракузах его, похоже, продолжали считать одним из своих; нам даже говорят, что он не нуждался в телохранителях, такова была его популярность в городе. В других поселениях Сицилии его ненавидели и боялись, а он постепенно распространял и укреплял свою власть над островом. Война с Карфагеном виделась неизбежной, и в 311 году Акрагант избежал гибели, только когда карфагенский полководец Гамилькара нанес сиракузянам серьезное поражение в битве у реки Гимера²⁶; реакция Агафокла оказалась неожиданной – и дерзкой. Оставив Сиракузы на своего брата Антантера, он 14 августа 310 года покинул гавань с шестьюдесятью кораблями, на борту которых было 14 000 воинов, и высадился на мысе Бон – это крайняя северо-восточная оконечность Туниса – шесть дней спустя. Он стал первым европейцем, который вторгся в Северную Африку.

Таким образом, сложилась любопытная ситуация. И Сиракузы, и Карфаген имели теперь вражескую армию у своих ворот. Гамилькару пришлось отослать значительную часть своих сил на защиту родного города, вследствие чего он очутился в уязвимом положении. Антантер внезапно напал на него и взял Гамилькара в плен; несчастного полководца пытали и умертвили, его отрубленную голову отправили Агафоклу в Африку. Сам же Агафокл, с другой стороны, добился некоторых успехов, опустошая и грабя богатые, практически беззащитные территории между мысом Бон и Карфагеном; однако он сознавал, что не сможет захватить крупный город с теми силами, которые были в его распоряжении, и потому всячески стремился пополнить войско.

²⁵ Перевод Г. Д. Муравьевой. – *Примеч. ред.*

²⁶ Не следует путать с поселением Гимера на северном побережье, где состоялось сражение в ходе предыдущего конфликта с Карфагеном в 480 году. Устье реки Гимера находится на юго-западном побережье близ Ликаты.

Александр Великий, который умер в возрасте тридцати трех лет всего тринадцатью годами ранее, оставил свою огромную империю на милость соратников-военачальников; один из них, по имени Офелл, сделался правителем Киренаики, области, что протянулась на тысячи миль вдоль побережья на востоке (на месте нынешней Ливии). Несмотря на разделявшее их расстояние, Агафокл связался с Офеллом и предложил объединить усилия и совместно объявить войну Карфагену. После победы, которая практически не вызывала сомнений, Офеллу должна была отойти вся Северная Африка, а Сицилия признавалась владением Сиракуз. Офелл охотно принял это предложение, собрал войско – 10 000 пехотинцев и неизвестное количество конницы и колесниц – и двинулся на Карфаген.

Любой, кто когда-либо путешествовал по суше из Бенгази в Тунис, знает, что, пока дорога не свернет на север вдоль тунисского побережья, взору предстают тысячи миль совершенно безликого пейзажа, скучнейшего во всем Средиземноморье. Когда Офелл наконец добрался до места встречи, его воины были физически истощены, а сам правитель, скорее всего, пребывал не в лучшем расположении духа. Но для Агафокла это не имело значения: тот почти сразу распорядился убить Офелла, по-видимому, рассчитывая присвоить прибывшее войско себе. Кампания началась достаточно хорошо, удалось захватить небольшую финикийскую колонию Утика и поселение Гиппон-Акра (современная Бизерта); но Карфаген, к ярости Агафокла, оставался неприступным, и полководец все еще обдумывал свои следующие шаги, когда, в начале 307 года, вспыхнуло общее восстание греческих полисов на Сицилии (во главе с Акрагантом). Это событие вынудило Агафокла срочно возвратиться в Сиракузы. Он подавил мятеж с уже привычной нам жестокостью и вновь вернулся в Африку – где наемники, которым давно не платили, были готовы взбунтоваться. Африканская авантюра на сем завершилась. Не было иного выхода, кроме как заключить мир с Карфагеном, – что Агафокл скрепя сердце и сделал в 306 году, а затем отправился на Сицилию, наводить порядок в собственном доме.

Два года спустя Агафокл совершил поступок, на который не отваживались предыдущие тираны, – он принял царский титул. Не приходится сомневаться в том, что для многих его зрелых годами подданных этот поступок показался святотатственным, – однако времена изменились. В новом эллинистическом мире, который возник после смерти Александра, по крайней мере двое его бывших военачальников, Птолемей в Египте и Селевк в Малой Азии и Месопотамии, провозгласили себя царями; если Агафокл собирался вести дела с этими монархами на равных, ему надлежало последовать их примеру.

Агафокл умер в 289 году до нашей эры. Кое-кто полагал, что кончина наступила по естественным причинам, но намного больше людей верило тому, что его будто бы отравил собственный внук Архагат, желавший сменить деда на троне. Это желание не сбылось, началась, как почти всегда случалось, полная анархия. Сицилию вновь принялись раздирать на части мелкие тираны – один из них, Финтий из Акраганта, разрушил Гелу в 282 году, полностью стер город с лица земли на добрые пятнадцать столетий²⁷. Затем он двинулся на Сиракузы, но потерпел поражение; сиракузяне неразумно устремились в погоню за ним в западной части острова, и карфагеняне, опасаясь утратить свои сицилийские территории, не преминули вмешаться. Словом, война возобновилась.

Теперь к ней присоединился новый захватчик – еще один авантюрист, возможно, но также человек, какого Сицилия еще не знала. Царь Пирр был чрезвычайно амбициозным правителем Эпира и уверял, что ведет свой род от Ахилла и Геракла. В 280 году до нашей эры он обратил свое внимание на Италию, большая часть которой уже попала под власть Рима. Но город Тарент, современный Таранто на подъеме итальянского «сапога», оказывал римлянам упорное сопротивление и обратился к Пирру за помощью. Лучшего предложения

²⁷ Город был восстановлен Фридрихом II в 1230 году под названием Терранова. Свое историческое название Гела (*ит.* Джела) вернула в 1927 году.

Пирру и не требовалось. Он выступил во главе 20-тысячного войска²⁸, встретил римлян у близлежащей Гераклеи и победил – но, что называется, едва-едва: его собственные потери были почти такими же, как потери врага. Плутарх рассказывает:

Говорят, что Пирр заметил какому-то человеку, радовавшемуся победе: «Если мы одержим еще одну победу над римлянами, то окончательно погибнем». Погибла большая часть войска, которое он привез с собой, и почти все его приближенные и полководцы... кроме того он видел, что пыл его местных союзников остыл, в то время как вражеский лагерь быстро пополняется людьми, словно они притекают из какого-то бьющего в Риме неиссякаемого источника, и что после всех поражений римляне не пали духом, но гнев лишь приумножил их упорство²⁹.

Лишившись возможности противостоять римлянам, Пирр согласился удовлетвориться менее грозным противником – и отправился на Сицилию. Его войско сократилось в численности до 10 000 человек, но он успешно высадился в Таормине – и обнаружил, что его встречают с распростертыми объятиями.

Почему сицилийцы сразу приняли Пирра, остается только догадываться. Да, это был новый человек, отличный от предыдущих правителей, обладавший несомненной харизмой; однако не может не изумлять та мгновенная популярность среди островитян, которая позволила ему утроить силы и увеличить флот до двухсот кораблей. С таким войском ему не составило труда разгромить крупный и недисциплинированный отряд италийских наемников (мамертинцев), а также изгнать карфагенян с острова – за Карфагеном осталась лишь твердыня в Лилибее (нынешняя Марсала). Он осаждал эту крепость на протяжении двух месяцев, а затем снял осаду, решив, что взять ее невозможно, – что соответствовало истине, поскольку Карфаген господствовал на море и беспрепятственно доставлял осажденным припасы. Золотые и серебряные монеты Пирра дают понять, что за этим исключением он был фактически повелителем всего острова; но очень скоро он заскучал и в 276 году вернулся на материк, чтобы потерпеть поражение от римлян при Беневенто в следующем году. Последовавшая триумфальная процессия в Риме ознаменовалась проходом плененных слонов Пирра – первых слонов в Италии³⁰.

В 272 году римляне захватили Тарент. Некогда хилая республика теперь сделалась владычицей всего Апеннинского полуострова и явно намеревалась стать величайшей силой цивилизованного мира. Нельзя сказать, что это событие подвело черту под историей греческой Сицилии; некий Гиерон – следует, полагаю, называть его Гиероном II – захватил власть в Сиракузах и сохранял ее, заодно с царским титулом, следующие пятьдесят четыре года (он умер в 215 году до нашей эры в возрасте девяноста двух лет). Лишь один этот факт свидетельствует о радикальном отличии этого тирана от его предшественников. Он правил исключительно восточной Сицилией, не предпринимая попыток расширить свои владения, и сосредоточился на обогащении своего царства (и своем собственном, конечно) за счет развития сельского хозяйства и экспорта продукции острова, в первую очередь в Египет, а также в Рим.

²⁸ По Плутарху, войско Пирра при отплытии из Эпира насчитывало 23 000 пехотинцев, 20 слонов, 2000 лучников и 500 пращников, а также конницу; буря рассеяла корабли, и на сушу высадились всего около 2000 человек. Позднее Пирр пополнил свое войско жителями Тарента и окрестностей. – *Примеч. ред.*

²⁹ Перевод С. А. Ошерова. Это описание Плутарха относится ко второму сражению Пирра с римлянами, близ Аскула (Асколи-Сатриано, нынешняя провинция Апулия), а вовсе не под Гераклеей (совр. Полигоро) в провинции Базиликата, расположенной западнее. – *Примеч. ред.*

³⁰ Очень хочется узнать, как и где Пирр приобрел своих слонов. Предположительно, его слоны и слоны Ганнибала были африканскими; но считается, что африканских слонов, в отличие от индийских, невозможно приручить. Неужели Пирр и Ганнибал знали что-то, неизвестное нам?

Этот Гиерон прославился и как строитель. Возможно, его наибольшее архитектурное достижение – огромный алтарь, более двухсот ярдов в длину, крупнейший в мире, посвященный Зевсу. Здесь обыкновенно приносили в жертву (совершали гекатомбы): сразу 450 животных, по уверению Фукидида, забивали в течение одного дня. Сегодня от алтаря сохранилось только основание, а все, что выше, было уничтожено в 1526 году испанцами, которым требовался камень для строительства новой гавани. До того времени алтарь, как сообщалось, возносился над землей на добрых пятьдесят футов; впрочем, и основание выглядит весьма внушительно.

Никто лучше Гиерона не понимал, пожалуй, всю деликатность положения, в котором очутилась Сицилия, будучи в ловушке между Карфагеном и Римом. Очевидно, что у него не оставалось иного выбора, кроме как принять одну или другую сторону; в 263 году до нашей эры он заключил договор с Римом и тем самым получил «римскую гарантию» своих полномочий. Этот договор Гиерон скрупулезно соблюдал остававшиеся сорок восемь лет своего правления, неуклонно наращивая экспорт зерна; и Сицилия мало-помалу становилась житницей Рима. Что касается самого Рима, теперь всего одно препятствие отделяло его от тотального господства в западном Средиземноморье, то есть на всей прежней территории Великой Греции. Это препятствие звалось Карфагеном и являлось, образно говоря, занозой в римской ноге на протяжении более ста лет, с 264-го по 146-й год; в этот период римлянам пришлось вести две войны, получивших наименование Пунических³¹, прежде чем они сумели устранить данную угрозу. Именно эти две войны вывели Рим на «авансцену» Средиземноморья и – поскольку вскоре стало ясно, что Карфаген никогда не одолеть сугубо на суше, – превратили республику в ведущую морскую державу.

В Первой Пунической войне, которая продолжалась до 241 года, победа осталась за Римом, пусть и дорогой ценой – римляне потеряли 500 кораблей и по меньшей мере 100 000 человек. Эта война не пощадила также западную и южную Сицилию, где велись кровопролитные схватки. (Владения Гиерона на востоке, безоговорочно признанные римскими, боевые действия не затронули, и они продолжали снабжать Рим зерном как ни в чем не бывало.) После осады Акраганта в 261 году римляне продали 25 000 жителей в рабство. Камарина, милях в пятидесяти дальше по побережью, лишилась почти стольких же горожан. В Панорме (Палермо) продали в рабство 13 000 человек, еще 14 000 горожан обрели свободу только после уплаты солидного выкупа. Карфагеняне тоже не церемонились: они полностью уничтожили Селинунт и переселили всех жителей Лилибеи – хотя сам этот стратегически бесценный мыс был захвачен Римом в 241 году, когда Карфаген обязался наконец вывести все свои войска с острова. Первая Пуническая война закончилась тем, что вся Сицилия, за исключением Сиракуз, оказалась в руках римлян.

Вторая Пуническая война – которая началась в 218 году до нашей эры – была даже важнее и протекала, скажем так, гораздо интереснее. Римляне снова победили, но прежде карфагенский полководец Ганнибал показал себя величайшим военачальником со времен Александра Македонского – пожалуй, одним из величайших в истории человечества. Ганнибал никогда не высаживался на Сицилии, однако он приобрел такое влияние в последние годы третьего столетия до нашей эры, что было бы несправедливо удостоить его лишь мимолетного упоминания. Традиция гласит, что его отец Гамилькар – который едва ли не в одиночку основал процветающую карфагенскую колонию в Испании, со столицей на месте современной Картахены – заставил сына поклясться в вечной ненависти к Риму. Ганнибал стремился, с того самого момента, как поднялся к вершинам власти в 221 году, отомстить за поражение своей страны двадцатилетней давности и был уверен в том, что новые испанские владения Карфагена, со всеми их огромными финансовыми и людскими ресурсами, позволят осуществить эту месть. Он покинул Испанию весной 218 года с войском

³¹ Это латинское слово происходит от того же корня, что и топоним «Финикия».

численностью около 40 000 человек и двинулся вдоль южного побережья Франции, далее вверх по долине Роны, а затем свернул на восток в направлении Безансона и альпийского перевала Мон-Женевр. Его пехоту составляли в основном иберские племена, которыми командовали карфагеняне, конница была набрана в Испании и Северной Африке и усилена тридцатью семью слонами. Знаменитый переход через Альпы состоялся в начале осени, за ним последовали, одно сразу за другим, два победных сражения; к концу года Ганнибал уже контролировал практически всю Северную Италию. Третья победа, в апреле 217 года, ознаменовалась разгромом римлян, угодивших в ловушку между Тразименским озером и окрестными холмами.

На Рим идти не имело смысла, поскольку город окружали могучие крепостные стены, а у Ганнибала не было осадных машин, способных разрушить эти преграды. Поэтому он двинулся на юг Апеннинского полуострова, в Апулию и Калабрию, где преимущественно греческое население не испытывало любви к римлянам и могло, как ему казалось, встать на его сторону. Но Ганнибала ожидало разочарование. Вместо стойких союзников, которых надеялся отыскать, он вскоре столкнулся с новым римским войском, гораздо более многочисленным и лучше оснащенным, нежели его собственное; 3 августа 216 года до нашей эры при Каннах у реки Офанто – примерно в десяти милях к юго-западу от современной Барлетты – состоялось генеральное сражение. Победа вновь осталась за Ганнибалом, причем, возможно, более славной победы он еще не одерживал; а для римлян битва оказалась самым сокрушительным поражением в истории республики. Благодаря превосходному командованию и тактическому гению Ганнибала римское войско было окружено и фактически истреблено. К концу дня более 50 000 римлян пали мертвыми, тогда как среди карфагенян было всего 5700 погибших.

Теперь у Рима не осталось воинов, способных сражаться, за исключением тех, кто охранял сам Вечный город; но Ганнибал был по-прежнему далек от исполнения своей мечты – уничтожения республики. Его главное оружие, великолепная испанская и североафриканская конница (слонов в ней почти не осталось – несчастные животные пали жертвами итальянских холодов и сырости), было бесполезным против крепостных стен. С другой стороны, Ганнибала вдохновляла надежда на то, что его брат – еще один Гасдрубал – может собрать дома новое войско, на сей раз со всеми необходимыми осадными машинами, и вскоре присоединится к нему. Поэтому он отвел своих воинов через горы к Капуе – на ту пору второму по величине городу Италии, выказавшему удивительное дружелюбие к завоевателям, – и стал дожидаться прибытия подкреплений.

Ждать пришлось очень долго, потому что Гасдрубал столкнулся с немалыми трудностями. Римляне, воспользовавшись отсутствием Ганнибала, всего через несколько месяцев после ухода Ганнибала из Испании вторглись на Иберийский полуостров; двумя легионами и 15 000 человек во вспомогательных силах командовал молодой полководец по имени Гней Корнелий Сципион, к которому вскоре присоединился его брат Публий. Прямым следствием этого вторжения стало длительное противостояние между римлянами и карфагенянами, которое завершилось утверждением римского присутствия в Испании (ему было суждено продлиться шесть столетий). После кончины обоих Сципионов в 211 году сменил родич, тоже Публий, который после недолгой осады захватил Картагену. С взятием столицы испанской колонии карфагеняне утратили боевой дух, и в 206 году последний из них покинул полуостров.

Будучи вынужден воевать с римлянами в Испании, Гасдрубал попросту не мог набрать войско для помощи своему брату – вплоть до 206 года, когда он понял, что побежден. В следующем году, впрочем, он все-таки выступил в поход, через южную Францию и через Альпы, не подозревая о грядущей катастрофе; на реке Метавр, недалеко от Анконы, его встретило римское войско, буквально растоптавшее карфагенян. Ганнибал узнал о случившемся, когда в его лагерь под Капуей доставили отрубленную голову брата. Он провел в Италии еще четыре года, хотя разумнее было бы вернуться домой, ибо по всему Средиземноморью молодой Публий Сципион уже перешел в наступление.

В 204 году Сципион высадился на побережье Северной Африки, в Утике, менее чем в двадцати милях к западу от Карфагена, разгромил 20-тысячные местные силы и занял плацдарм на побережье Тунисского залива, угрожая Карфагену. Весной 203 года Ганнибал, серьезно обеспокоенный ситуацией, поспешил в Карфаген и в следующем году вывел против римлян войско численностью 37 000 мужчин пехотинцев и восемьдесят слонов. Решающее сражение произошло у поселения Зама, где после долгой и упорной схватки Ганнибал потерпел единственное крупное поражение в своей необыкновенной карьере. Победа римлян была полной. Им досталась вся Испания: Карфаген официально отказался от Пиренейского полуострова. Сам Ганнибал, который чудом избежал смерти на поле боя, прожил до 183 года, когда он принял яд, чтобы избежать пленения ненавистным врагом. Что касается победителя Сципиона, того удостоили вполне заслуженного почетного прозвища Африканский. Именно он, а не кто-либо другой среди его соотечественников, сделал все для того, чтобы Рим, а не Карфаген, был властелином Средиземноморья в последующие столетия.

В ходе Второй Пунической войны принадлежавшая римлянам Сицилия служила критически важной преградой, отделявшей Ганнибала в Италии от источника подкреплений и снабжения в Карфагене. Также она представляла собой отличный «трамплин» для набегов на Африку (из Лилибеи) и на Италию (из Мессины). Пока был жив Гиерон, римляне не испытывали никаких сложностей, однако после его смерти в 215 году все изменилось. Внук и наследник старого тирана Иероним заключил договор с Карфагеном; пускай он почти сразу после этого был убит, Сиракузы продолжали держать сторону Карфагена. Римляне прислали войско под командованием полководца Марцелла, который осадил город; но два года осады не позволили ни захватить Сиракузы, ни даже прекратить снабжение города по морю карфагенскими судами. Причиной этих неудач был, похоже, один-единственный человек, математик и физик Архимед, который, храня большую часть жизни верность проримски настроенному Гиерону, ныне поставил свои таланты и навыки на службу Карфагену. Среди его многочисленных изобретений был «Архимедов коготь», своего рода рычаг с длинной переключной, на конце которой крепился громадный металлический крюк. Этот «коготь» опускали на вражеский корабль, а затем снова поднимали, выхватывая корабль из воды. Другое изобретение – о нем, правда, упоминает лишь римский писатель Лукиан, живший во втором веке нашей эры, – заключалось в применении хитроумной конструкции из бронзовых или медных пластин, предназначенной для фокусировки лучей солнца на вражеских кораблях³². Но даже Архимед не обладал способностью творить чудеса, и в конце концов, в 212 году до нашей эры, Сиракузы пали. Марцелл, как говорят, сразу же призвал к себе великого механика, но тот, когда за ним пришел посланец, попросил подождать, пока он решит очередную головоломку. Возможно, солдат не понял этой просьбы – и убил Архимеда на месте. Нам известно, что Сиракузы разграбили и что Архимеда не было среди уцелевших горожан.

Могила Архимеда, на которой, согласно его завещанию, установили небольших размеров сферу и цилиндр, оставалась в запустении и вскоре скрылась под расплывшимися по развалинам города растениями. Но сто тридцать семь лет спустя ее отыскали – и сделал это Марк Туллий Цицерон.

Когда я был квестором, я отыскал в Сиракузах его могилу, со всех сторон заросшую терновником, словно изгородью, потому что сиракузяне совсем забыли о ней, словно ее и нет... И вот, осматривая местность близ Акрагантских ворот, где очень много гробниц и могил, я заметил маленькую колонну, чуть-чуть возвышавшуюся из зарослей, на которой были очертания шара и цилиндра. Тотчас я сказал сиракузянам – со мной были первейшие граждане города, – что этого-то, видимо, я и ищу. Они послали косарей и расчистили

³² Недавние эксперименты доказали, что это вполне возможно.

*место. Когда доступ к нему открылся, мы подошли к основанию памятника. Там была и надпись, но концы ее строчек стерлись от времени почти наполовину. Вот до какой степени славнейший, а некогда и ученейший греческий город позабыл памятник умнейшему из своих граждан...*³³

Если Марцелл действительно вмешался, успешно или нет, в судьбу Архимеда, такие его действия были, мягко говоря, нехарактерными для победителей. Разграбление захваченного города считалось обычным делом и ожидалось; с другой стороны, Марцелл вывез из Сиракуз практически все, что имело хоть какую-то художественную ценность. Из храма вынесли статуи и бюсты, из общественных и частных зданий изъяли фрески. Именно тогда, по мнению Тита Ливия, глаза римлян узрели великолепие греческого искусства. Не исключено, что так все и было; но жители Сиракуз разгневались настолько, что в 210 году – когда, кстати, римский консул Марк Валериан поведал сенату, что «ни единого карфагенянина не осталось на Сицилии», – им удалось убедить Рим заменить Марцелла. Сенат, похоже, был рад прислушаться к этой мольбе: Марцелл в самом Риме вызывал не меньшую антипатию, чем на Сицилии. Ему отказали в триумфе, который по обычаю полагался бы полководцу, захватившему Сиракузы; пришлось удовольствоваться простой «овацией», что он посчитал за оскорбление. С его карьерой, словом, было покончено, и он это понимал.

Пунические войны стали нелегким испытанием. Несколько раз они ставили Римскую республику фактически на грань катастрофы и унесли жизни 200 000 или даже 300 000 римлян и их союзников. А за узкой полосой моря продолжал стоять Карфаген, город с населением в три четверти миллиона человек, оправлявшийся от недавнего поражения с почти пугающей скоростью: для всякого римлянина-патриота это было горькое напоминание, упрек и предупреждение. Терпеть присутствие столь сильного соперника не представлялось возможным. «Delenda est Carthage» – «Карфаген должен быть разрушен»; эти слова Катон Старший повторял в конце каждой своей речи в сенате, и в итоге они сделались лейтмотивом римских действий. Вопрос заключался лишь в том, как это осуществить. Наконец в 151 году до нашей эры нашелся предлог: карфагеняне готовились защищать свой город от бесчинств местного вождя, а Рим решил воспользоваться этой совершенно естественной реакцией как поводом к войне и в 149 году высадил войско в Северной Африке. На сей раз карфагеняне безоговорочно капитулировали – но потом услышали римские условия: их город будет полностью разрушен, жителям не позволят селиться ближе десяти миль от моря. Потрясенные, они решили сопротивляться. Результатом стала изматывающая двухлетняя осада, после которой, в 146 году, состоялось то самое разрушение, каковым грозили римляне; они не оставили от города и камня на камне. Катона послушались: Карфаген был разрушен.

А Сицилия, по всем признакам и во всей полноте, сделалась римской провинцией.

Глава 3 **Римляне, варвары, византийцы, арабы**

После бурной, наполненной событиями истории греческих тиранов Сицилии и Пунических войн история Сицилии под римским владычеством выглядит относительно спокойной. Не шло и речи о том, чтобы признать сицилийцев «союзниками» или «полугражданами», как римляне именовали в отдельных случаях те народы, которые они подчинили своему влиянию на материке. Важным отличием сицилийцев было то обстоятельство, что все они говорили по-гречески, а не на латыни; посему остров считался не просто римской провинцией, а иноземной провинцией, чьи жители признавались людьми,

³³ Сегодня на этом месте (установлено предположительно) разместился торговый центр «И папири».

так сказать, второго сорта, которые платили налоги и поступали так, как им велели. Налоги были обременительными, но все же не доводили до нищеты. Они опирались на принцип десятины: десятую часть ежегодного урожая зерна следовало отсылать непосредственно в Рим, как и часть от урожая плодов, овощей, оливок и вина. Разумеется, на островитян распространялись и многие другие требования, выдвигавшиеся при необходимости (или по произволу, объявлявшемуся необходимостью, – бывало и такое) республиканским правительством или местной администрацией; но в целом для большинства сицилийцев жизнь при римлянах была, что называется, достаточно сносной. Очевидным исключением видится, конечно, несправедная власть Гая Верреса, о котором, благодаря красноречию Цицерона, до недавних пор знал каждый школьник. Мы дойдем до этого в свое время, а пока стоит, пожалуй, отметить здесь, что Веррес правил островом в 73–71 годах до нашей эры, приблизительно через 140 лет после окончания Пунических войн. Возникает вопрос – что происходило на Сицилии в этот промежуток времени?

Ответить на заданный вопрос не так-то просто, ибо наши знания о Сицилии во втором столетии до нашей эры чрезвычайно скудные. Хронистов и историков на острове почти не было, а сочинения тех, кто все-таки вел записи, не слишком информативны; сам факт того, что они уделяли внимание преимущественно управлению и налогообложению, позволяет предположить, что на острове не случалось крупных, значимых политических событий. Наверняка можно утверждать одно: римляне обращались с Сицилией, не проявляя уважения. Чудовищный комплекс неполноценности, который становился очевидным всякий раз, когда они сталкивались с греческой культурой, порождал эксплуатацию поистине колоссальных масштабов. Лишь немногие греческие полисы сохранили хотя бы подобие независимости, большая часть острова была захвачена латифундиями, то есть громадными поместными владениями пребывавших в далеком Риме землевладельцев, и установился такой способ землепользования, который уничтожил сельское хозяйство Сицилии на следующие две тысячи лет. Личную свободу тоже фактически искоренили, обнаженные рабы сотнями трудились в полях, сея и собирая урожаи зерна для Рима.

Потому едва ли удивительно, что во второй половине столетия на острове произошли два массовых восстания рабов. Десятки тысяч мужчин, женщин и детей были проданы в рабство в ходе сицилийских войн третьего столетия, еще десятки тысяч пополнили ряды рабов на материке в следующем столетии. Эллинистический Восток находился в состоянии хаоса. «Справедливое» и мирное разделение территорий среди полководцев Александра Македонского осталось в прошлом; Малая Азия, Египет и Сирия были охвачены династическими войнами. Это означало множество пленных, жертв войн и политических дрязг, и значительная доля этих пленников, вместе с их семьями, доставалась работорговцам, после чего о них никто больше не слышал. Поскольку на Сицилии стабильно развивалось сельское хозяйство римского образца, на здоровых и крепких рабов здесь существовал устойчивый спрос.

Рабское население острова в итоге сделалось опасно многочисленным, однако до поры не доставляло властям особых забот и хлопот. Не будем забывать, что массовые бунты тогда случались крайне редко. Почти по определению рабы – заклеянные, подвергаемые телесным наказаниям, зачастую скованные друг с другом, – постоянно пребывали в угнетенном состоянии духа, а условия, в которых они содержались, практически исключали возможность переговоров между общинами и планирования восстаний. С другой стороны, следует помнить, что многие из тех, кто высаживался на Сицилии, были людьми образованными и большинство из них говорило по-гречески. Порой, ведомые горьким отчаянием, они брались за оружие.

Первое восстание началось, насколько можно судить³⁴, в 139 году до нашей эры во

³⁴ Эта оговорка действительно необходима, поскольку соответствующие книги «Истории» Диодора утрачены; мы вынуждены полагаться на отрывки из компендиума десятого столетия.

владениях некоего Дамофила Эннийского, который, как пишет Диодор, «старался превзойти персов роскошью и обилием блюд на своих пирах»; его рабы, должно быть, измученные бесчеловечным обращением, решили убить своего хозяина. Прежде чем выступить, они обратились за советом к рабу-сирийцу по имени Эвн, который, по общему мнению, владел магическим даром, – во всяком случае, обладал пророческими способностями. Благословят ли боги, спросили они, на подобное дело? Ответ Эвна оказался настолько категоричным, насколько любой из рабов мог пожелать. Эвн лично пришел в Энну в сопровождении около четырехсот братьев-рабов; убийства, насилие и грабежи длились несколько часов. Дамофил и его сварливая жена Мегаллида находились в это время на сельской вилле, но их быстро доставили в город; землевладельца убили сразу, а его жену отдали ее собственным рабыням, которые ее пытали, а затем сбросили с крыши. Эвна тем временем провозгласили царем, и он объявил царицей свою любовницу (и бывшую рабыню).

После этого восстание стало распространяться со скоростью лесного пожара. Некий Клеон, киликийский пастух из местности близ Агридженто, привел к Эвну 5000 соратников; вскоре рабы двинулись на Моргантину, а потом на Таормину. Теперь их численность достигала, вероятно, 100 000 человек, хотя и невозможно сказать наверняка. Еще одна загадка – почему римляне, не раз демонстрировавшие, сколь эффективно они умеют подавлять такие восстания, пусть и меньших масштабов, в Италии, на сей раз совершенно не спешили отправлять войска для восстановления порядка? Да, у них имелись иные заботы, дома и за рубежом, но, как представляется, все дело в том, что на протяжении истории Вечного города римляне постоянно недооценивали Сицилию; тот факт, что она не принадлежала Апеннинскому полуострову, географически являлась прибрежным островом, похоже, принижал ее значимость для Рима. Если бы римляне сразу правильно оценили размах и важность происходящего, если бы они направили на остров надлежащее число обученных солдат сразу по получении первых сообщений о восстании, Эвн и его последователи вряд ли бы добились хоть какого-то успеха. А так они продержались до 132 года, целых семь лет, когда восстание наконец удалось подавить. Пленников, захваченных в Таормине, подвергли пыткам; их тела, живые и мертвые, вывесили на зубцах крепостных стен цитадели. Вожака восставших, некоторое время скрывавшегося, в конце концов поймали и бросили в тюрьму, где он вскоре и умер. Впрочем, подавляющее большинство бунтовщиков отпустили. Они больше не представляли опасности – а вдобавок, если жизнь, как казалось, возвращалась на круги своя, рабы считались весьма ценным товаром.

В отличие от первого, второе восстание рабов было вызвано конкретной причиной, а не только общим недовольством. Оно началось в 104 году до нашей эры, когда Рим снова оказался под сильным давлением, на сей раз со стороны германских племен на севере. Чтобы поскорее покончить с этой угрозой, римляне попросили военной помощи у Никомеда III, царя Вифинии в Малой Азии³⁵. Никомед ответил, что у него, к сожалению, нет свободных молодых людей, из-за чрезмерной активности работорговцев, которые захватили немало его подданных и которым вообще-то покровительствуют римские власти. Тогда уstraшенный сенат распорядился, чтобы всех римских «союзников», угодивших в рабство, немедленно освободили. Не составит труда вообразить, с каким восторгом встретили это распоряжение на Сицилии. Огромные толпы рабов собрались перед дворцом наместника в Сиракузах, требуя незамедлительного освобождения. Наместник освободил около восьмисот человек, но потом сообразил, что, продолжая в том же духе, разрушит саму основу сицилийской экономики. Поэтому он приказал разогнать многочисленную толпу перед дворцом – мол, рабы должны вернуться в свои дома. Те, разумеется, отказались – и началось второе восстание рабов на Сицилии.

Поскольку сенатский указ – и отказ наместника его исполнить – затрагивал рабов по всей Сицилии, очень скоро к восстанию примкнул весь остров. Первым вожаком оказался

³⁵ Нельзя не задаться вопросом, разве не было союзников поближе, чтобы обратиться за помощью к ним?

очередной киликиец, некий Афелион, который собрал при себе около двухсот человек в местности между Сегестой и Лилибеей; но позднее его превзошел в тактике и хитрости человек по имени Сальвий, чье происхождение неизвестно – возможно, он вовсе не был рабом, – обладавший признанным полководческим талантом и лелеявший немалые политические амбиции. Для Сальвия просто возглавлять крупное восстание было недостаточно; он воцарился под греческим именем Трифон, после чего облачился в пурпурную тогу и построил себе обнесенный рвом дворец (от которого, увы, не осталось и следа). Отношения между ним и Афелионом были сложными – например, в какой-то момент первый вожак очутился фактически в заключении, – но когда Сальвия убили в бою, именно Афелион наследовал ему на троне.

Римляне усвоили недавний урок. На сей раз они действовали быстро и решительно, хотя поначалу и страдали от дурного командования; после прибытия на остров Манлия Аквилія в 100 году до нашей эры – он был вторым консулом в Риме в предыдущий год – восстание постепенно сошло на нет, ибо восставшие так и не сумели захватить ни одного важного города. Последние несколько сотен на свободе в итоге сдались, как сообщается, получив заверения, что им сохраняют жизнь. Как и следовало ожидать, римляне нарушили свое обещание: пленных отправили в Рим, где их приговорили к растерзанию дикими животными на арене цирка. Они совершили последний геройский поступок, не желая погибать на потеху толпы: эти люди покончили с собой, убили друг друга перед началом представления.

Большинство восставших погибло в ходе боев. Для остальных же никаких дальнейших наказаний не потребовалось; самого возвращения к рабскому труду было более чем достаточно. Лишь через четверть столетия после подавления второго восстания Сицилия получила нового наместника – Гая Лициния Верреса³⁶. С самого начала своей карьеры он тяготел к мошенничеству. В 80 году до нашей эры – едва избежав обвинения в растрате – он отправился в Киликию, где заодно со своим непосредственным начальником, наместником Долабеллой, начисто разграбил провинцию. Два года спустя их обоих вызвали в Рим, где Долабелла предстал перед судом. Его признали виновным, в основном благодаря показаниям Верреса, который тем самым обеспечил себе прощение; в 74 году он взятками получил должность претора – старшего чиновника – и целый год злоупотреблял своим высоким положением, а затем был назначен наместником Сицилии. На богатом и процветающем острове он стал фактически диктатором, сполна оценив спелый плод, упавший ему в руки.

Всего за три года Сицилия пострадала от действий Верреса куда сильнее, чем от Пунических войн и восстаний рабов, взятых вместе. Наместник вводил новые налоги, налагал арест и конфисковывал имущество, обольщал, творил насилие, пытал, мучил, бросал в тюрьму, грабил и разбойничал – выносил все ценное из храмов и частных домов, не делая различия между римскими гражданами и сицилийцами. Пришлось даже построить особый корабль, способный вместить все награбленное и перевезти обратно в Рим. Правление Верреса совпало с очередным восстанием рабов – это было знаменитое восстание Спартака в Италии. Сицилию это восстание напрямую не затронуло, однако Веррес не упустил шанса воспользоваться случаем: он выбирал какого-нибудь раба богатого землевладельца, обвинял того в подстрекательстве к мятежу или в желании присоединиться к Спартаку и приговаривал к распятию, одновременно давая знать владельцу раба, что определенный «выкуп» гарантирует освобождение этого человека. Еще одна хитрость состояла в том, что придумывался некий раб, которого обвиняли в непослушании, а затем во всеуслышание объявлялось, что тот или иной богач сознательно прячет этого раба. Разумеется, жертва шантажа могла избежать тюремного заключения посредством взятки.

Неудивительно, что сицилийцы возмущались, и их возмущение было столь громогласным, что в 70 году Верреса отозвали в Рим и отдали под суд. В качестве

³⁶ Среднее (родовое) имя Верреса устанавливается предположительно.

обвинителя сицилийцы наняли великого Марка Туллия Цицерона, который служил квестором³⁷ в западной части острова пятью годами ранее и поразил всех островитян своей честностью и порядочностью. Цицерон подошел к делу со всей серьезностью, провел на острове много недель, собирая доказательства и беседуя со свидетелями. Затем он возвратился в Рим и выиграл процесс, как говорится, в одни ворота. Его обвинительные речи стали широко известны; но из них очевидно, насколько принципиально римское правосудие отличалось от современных практик. Лишь первая речь Цицерона была относительно короткой, хотя сегодня и она показалась бы чрезмерно длинной. На произнесение второй ушло несколько часов, и нельзя не пожалеть бедных судей, которым пришлось все это внимательно слушать. Тем не менее Цицерон не скупился на суровые слова:

Некоторых [граждан] он отсылал к палачу, других он предавал смерти в тюрьме, третьих он распинал на кресте... Почитание богов и священные обряды, что совершались в каждом святилище и каждом храме, – все это им было поругано и осквернено...

Оскорбления, нанесенные почитанию бессмертных богов, должны быть искуплены; истязания римских граждан и кровь множества невинных людей взывают к отмщению и требуют наказания этого человека. Ибо, судьи, мы привели сегодня на ваш суд не просто вора, но открытого разбойника и грабителя; не просто распутника, но похитителя целомудрия; не просто кощунствующего человека, но явного врага всего святого и всей нашей веры; не просто убийцу, но наиболее варварского и дикого убийцу наших граждан и наших союзников. Нет и не может быть в нашей памяти, по моему глубочайшему убеждению, преступника более виновного.

По счастью, из семи подготовленных речей произнесены были всего две. Одной только первой речи, по сути, оказалось вполне достаточно для того, чтобы защитник Верреса Квинт Гортензий дал своему клиенту единственный совет: немедленно бежать. Через день или два, пока судебный процесс еще технически продолжался, Веррес уже был на пути к Массилии (современный Марсель). Там он прожил в изгнании около четверти века и больше никогда не возвращался в Рим.

Следующие несколько страниц могут показаться своего рода отступлением от темы книги, поскольку они относятся к римской истории (конкретнее, к самой известной ее главе), а не к истории Сицилии. Но, думается, стоит напомнить об этих политических коллизиях, поскольку они неразрывно связаны с последующими событиями, которые, в свою очередь, оказали прямое влияние на развитие Средиземноморья.

Все начинается с трех военных, которые совместно правили республиканским Римом. Это Гней Помпей Магн (более известный как просто Помпей или Помпей Великий), Марк Лициний Красс и Гай Юлий Цезарь. Помпей был истинным воином, причем весьма амбициозным; богат Красс славился полководческим талантом и мечтал о военных успехах, но предпочитал оставаться в Риме и заниматься интригами ради собственных политических и финансовых целей. Его крупнейшим военным достижением стало подавление восстания рабов под предводительством Спартака в 73 году до нашей эры. Когда он наконец победил Спартака в Апулии, то казнил вожака рабов на месте, а 6000 мятежников позднее распял на крестах вдоль Аппиевой дороги.

Юлию Цезарю в том году исполнилось двадцать семь лет. Он уже пользовался в Риме репутацией интеллектуала и умелого оратора, устроителя богатых празднеств и развлечений, вечно пребывавшего из-за этого в долгах, и отчаянного распутника, неразборчивого в связях (равно с мужчинами и с женщинами), однако сумевшего избраться верховным понтификом, то есть главой римского жречества. Коротко говоря, он был талантлив и ярок, но не вызывал

³⁷ Распорядителем государственной казны.

доверия. Когда в 59 году Цезаря выбрали консулом, он предложил Помпею и Крассу объединить усилия. Оба охотно согласились, и три года спустя троица встретилась в Лукке, чтобы поделить римский мир на три сферы влияния. Восток отошел Крассу, которому предстояло возглавить поход за Евфрат против парфянской империи в Персии; Запад достался Помпею, который нес пятилетнюю службу в Испании (в основном через подчиненных и помощников, дабы почаще бывать в Риме и руководить республикой); «центр» же отдали Цезарю, который вернется в Галлию, где воевал с окончания своего консульства ради расширения собственных владений.

Конечно, так не могло продолжаться долго. Красс был разгромлен парфянскими конными лучниками и позже погиб вместе с 5000 своих легионеров. Между тем Помпей и Цезарь все больше сознавали, что Рим недостаточно велик для них обоих. Помпей, впрочем, обладал заметным преимуществом: он находился в Риме, и когда Цезарю, который был в Равенне, донесли, что его соперник принял на себя командование всеми силами республики, Цезарь понял – жребий, цитируя его собственные слова, брошен. В ночь на 10 января 49 года единственный легион Цезаря пересек речушку Рубикон³⁸, что служила юго-восточной границей Цизальпинской Галлии. Так скрытая проба сил переросла в гражданскую войну.

Цезарь не столкнулся с серьезным сопротивлением. Город за городом распахивал перед ним ворота без осады; когда же приходилось сражаться, его закаленные в боях войска оказывались на голову выше любого противника. Вскоре Помпей был вынужден бежать в Далмацию. Цезарь не стал его преследовать; вместо того он двинулся по суше в Испанию, в оплот могущества своего соперника на западе, и пересек Пиренеи с войском численностью 40 000 человек. Против него были 70 000 воинов под командованием трех ведущих военачальников Помпея, но он хитроумными маневрами принудил их капитулировать.

Рассеяв своих врагов, Цезарь без труда переизбрался консулом в 48 году до нашей эры. После этого он пошел на Помпея, который успел перебраться в Грецию; именно там 9 августа, на раскаленной равнине Фарсала в Фессалии, два войска наконец сошлись. Цезарь – с помощью молодого трибуна Марка Антония, который командовал левым крылом, – в очередной раз одержал легкую победу. Помпей, по словам античных историков, бежал с поля боя одним из первых. Он поспешил к побережью, а оттуда отплыл в Египет, где и был вскоре убит. Цезарь стал единоличным властителем. Он заполнил сенат своими сторонниками; через них он контролировал государство, а через государство – весь цивилизованный мир. Культ его личности быстро развивался. Бюсты Цезаря ставились по всей Италии и за ее пределами; его образ появился даже на монетах – неслыханное новшество для республиканского Рима. Но ничто из этого не способствовало его популярности. Поскольку вся власть в настоящее время была сосредоточена в руках Цезаря, путь вверх оказался заблокирован для молодых амбициозных политиков, которые все больше и больше возмущались высокомерием Цезаря, его капризами и прихотями, а также, не в последнюю очередь, его колоссальным богатством. Еще они негодовали по поводу его частых отлучек из города ради военных кампаний, что, по их мнению, было бессмысленно и безответственно. Ведь ему все-таки пятьдесят шесть лет, он подвержен, как известно, эпилептическим припадкам, поэтому впредь войны, безусловно, следует оставить другим полководцам. Однако сам Цезарь не разделял эту точку зрения. В начале 44 года он объявил о новом походе на восток, дабы отомстить за гибель Красса и преподать урок парфянам. И добавил, что лично поведет войско, которое двинется из Рима 18 марта.

Для римских патрициев само правление диктатора было едва терпимым; а перспектива подчиняться следующие два года его помощникам выглядела и вовсе невыносимой. Так обрел форму патрицианский заговор. Его задумал и возглавил Гай Кассий Лонгин, первоначально сторонник Помпея, впоследствии помилованный Цезарем. К Кассию

³⁸ Невероятно, но факт: эту речку до сих пор удалось однозначно отождествить. Самым подходящим «кандидатом» кажется итальянская река Пишателло.

примкнули его зять Марк Юний Брут, которого Цезарь сделал наместником Цизальпинской Галлии, и еще около шестидесяти заговорщиков. К 15 марта все было готово.

В тот день, всего за трое суток до выступления на восток, Цезарь принял участие в заседании сената – в большом зале, примыкавшем к театру Помпея. Заговорщики удостоверились, что видного сподвижника Цезаря, Марка Антония, задержит разговором один из них. Как считается, Публий Каска первым напал на диктатора с кинжалом и поразил в горло; спустя несколько мгновений Цезаря окружили со всех сторон, и заговорщики неистово кололи поверженного, отталкивая друг друга и норовя каждый вонзить клинок как можно глубже. Жертва, конечно, защищалась, но у нее не было ни малейшего шанса спастись. Прикрыв окровавленную голову своей тогой, Цезарь упал к подножию установленной в сенате статуи Помпея.

Увидев, что он мертв, заговорщики внезапно ударились в панику. Они спешно покинули здание сената, оставив мертвое тело лежать под статуей. Через некоторое время появились трое рабов с носилками и унесли тело Цезаря к нему домой – как сообщается, одна из его рук всю дорогу волочилась по земле. Позже, когда тело осмотрели врачи, они насчитали двадцать три раны – лишь одна из которых, однако, оказалась, по их мнению, смертельной.

Ровно за шесть месяцев до смерти Юлий Цезарь официально усыновил своего внучатого племянника Гая Октавия. Хотя тому едва исполнилось девятнадцать, Октавиана – как его обыкновенно называли в доимперские годы – уже давно готовили к пребыванию, так сказать, на первых ролях. Тремя годами ранее он стал верховным понтификом; затем доблестно сражался вместе с легионами Цезаря в Испании. Таким образом, несмотря на свою молодость, после смерти дяди он вполне мог рассчитывать на власть; однако Марк Антоний, ближайший помощник Цезаря, опередил Октавиана – он не погнушался фальсифицировать кое-какие бумаги убитого диктатора и встал во главе государства. Октавиан, разумеется, этому воспротивился и, во многом благодаря усилиям Цицерона, который ненавидел автократов в целом и Антония в частности и выступил с рядом обличительных речей, сумел постепенно завоевать большинство в сенате. Рим вновь очутился на грани гражданской войны; но к ноябрю 43 года до нашей эры двое противников достигли шаткого компромисса и, пригласив еще одного из военачальников Цезаря, Марка Эмилия Лепида, учредили пятилетний триумвират³⁹. Они руководствовались двумя главными целями – прежде всего отомстить за Цезаря, а затем восстановить систему управления государством.

До сих пор в этой «битве титанов» реальные сражения велись в Трансальпийской и Цизальпинской Галлиях, в Испании и в Греции. Предприняли даже неудачный поход в Северную Африку, где союзник Помпея, нумидийский царь Юба, одержал крупную победу над полководцем Цезаря Курионом на реке Баградас. Сицилию, по счастью, эти боевые действия не затрагивали. Но наслаждаться «изоляцией» острову оставалось недолго. Человеком, которому выпало снова превратить Сицилию в поле брани, был Секст, младший сын Помпея Великого. Он присоединился к Помпею после поражения при Фарсале и бежал вместе с отцом в Египет, где своими глазами видел убийство Помпея в 48 году. После смерти отца он примкнул к противникам Цезаря, воевал в Северной Африке и – заодно с братом Гнеем – в Испании. Там Цезарь – совершив один из своих знаменитых переходов и преодолев расстояние в 1500 миль менее чем за месяц – разгромил братьев в 45 году до нашей эры в битве при Мунде. После этого сражения Гнея схватили и казнили, но Секст сохранил свободу. Он по-прежнему оставался в Испании, когда пришло известие о смерти Цезаря. В суматохе, которая поднялась, он, слабо представляя себе дальнейшие действия, собрал войско и небольшой флот и вскоре отплыл на Сицилию.

Мало кто сомневался в том, что правящий триумвират, твердо намеренный подавить

³⁹ Т. н. Второй триумвират – первый был заключен Цезарем, Помпеем и Крассом. – *Примеч. ред.*

всякую оппозицию, рано или поздно выступит против Секста. Но первой своей задачей триумвират видел преследование убийц Цезаря – Брута, Кассия и их сторонников. Поэтому Секст не спешил; он знал, что у него достаточно времени, чтобы подготовиться к схватке. Он высадился на северо-восточной оконечности острова, вскоре овладел Мессиной, после чего другие прибрежные города – в том числе Сиракузы – приняли его власть, как кажется, без сопротивления. К лету 44 года он распространил свое владычество на большую часть Сицилии; к тому времени численность его войска значительно возросла. К Сексту присоединились весьма уважаемые римляне из числа сенаторов и всадников, в том числе Тиберий Клавдий Нерон, его жена Ливия – которая позже развелась с мужем и вышла за Октавиана в 39 году – и их сын, будущий император Тиберий. Кроме того, к Сексту примкнули бывшие сторонники Помпея Великого, а также все те, кто попал в немилость у триумвирата, огромное количество беглых рабов и, что было неизбежно, всевозможные авантюристы, отнюдь не брезговавшие разбоем и пиратством. (Да, пиратство существовало уже тогда. Мало того, что Секст прекратил всякие поставки зерна в Рим; он также устроил морскую блокаду Южной Италии и разместил свои корабли в Адриатическом море, чтобы перерезать пути снабжения войска, которое преследовало Брута и Кассия на Балканах.)

В октябре 42 года до нашей эры, после «двойного» сражения при Филиппах (обе битвы состоялись в промежутке 20 дней), двое основных заговорщиков – Брут и Кассий – покончили с собой. Теперь у триумвиров появилась возможность обратить внимание на мятежника Секста, который сделался их главным врагом. Но фактически они не тревожили Секста; более того, их бездействие позволило сыну Помпея в 40 году оккупировать Сардинию. На следующий год, сознавая собственное могущество, он согласился заключить с триумвирами мирный договор – в Мисении на Неаполитанском заливе. Побудительной причиной для триумвирата была необходимость «освободить руки» для нового похода на парфян, на сей раз под командованием Антония; впрочем, истинной причиной послужило недовольство римского народа, ведь пятилетняя морская блокада обернулась для Вечного города голодом. Условия договора содержали практически все, что Секст мог бы пожелать. Триумвиры согласились признать его власть над Сицилией, Корсикой и Сардинией; взамен он обязался снять блокаду, возобновить регулярные поставки зерна и не принимать к себе беглых рабов.

Возможно, условия были слишком хороши, чтобы они исполнялись; так или иначе, мир не продлился долго. Вскоре вновь началась война, и в 38 году Октавиан попытался осуществить полномасштабное вторжение на Сицилию, но ему помешала непогода. В следующем году он повторил попытку, однако вновь не добился успеха. Теперь он потерпел поражение в морском сражении у Мессины и был вынужден уйти. Наконец в 36 году до нашей эры победа досталась римлянам. Ее творцом стал знаменитый римский флотоводец Марк Випсаний Агриппа, который привел к Сицилии сразу два флота – первый предоставил Октавиан, второй взяли у Антония, – а третий флот, набранный триумвиром Лепидом, отплыл из Северной Африки. Состоялось несколько отчаянных сражений; в августе Агриппа победил Секста возле Милаццо, в то время как Октавиан потерпел поражение – и был тяжело ранен – при Таормине. Решающая схватка произошла 3 сентября возле Навлоха. Корабли Агриппы были новее и крупнее кораблей Секста, а также несли секретное оружие – гарпаксы, то есть гарпуны: они выстреливались с катапульт, пробивали борта вражеских кораблей, а затем эти корабли подтаскивали ближе для abordage. К концу битвы из двухсот с лишним кораблей Секста боеспособными оставалось всего семнадцать. Сам Секст пустился в бег и укрылся в Малой Азии, но год спустя был схвачен в Милете. Там его и казнили, без суда. Поскольку он являлся римским гражданином, это было совершенно незаконно; с другой стороны, он сам преступал закон на протяжении большей части своей жизни. Рим, как говорится, устал терпеть.

Выступление африканского флота против Секста Помпея стало последним крупным свершением триумвира Лепида. По взаимному согласию он устранился от притязаний на

власть⁴⁰. Оставшиеся двое триумвиров поделили римский мир между собой: Антонию досталась восточная половина, а Октавиану – западная.

Маленький городок Тарс в Киликии сегодня, пожалуй, более всего известен как место рождения апостола Павла. Приблизительно за сорок лет до этого события там, однако, произошло кое-что еще, имевшее важнейшие последствия для мира, каким мы его знаем. Именно в Тарсе летом 41 года до нашей эры Марк Антоний впервые, что называется, положил глаз на египетскую царицу Клеопатру VII. Шестью годами ранее Юлий Цезарь сделал ее своей любовницей, а затем усадил на трон Египта вместе с человеком, который приходился ей младшим братом, – Птолемеем XIV. Вскоре, в соответствии с дикими кровосмесительными традициями династии Птолемеев, он также стал ее мужем; но даже это не побудило ее смягчиться, и в 44 году до нашей эры она приказала убить брата. Далее она правила самостоятельно, но ей требовался новый римлянин-защитник, и она прибыла в Тарс, рассчитывая обрести такового.

Вопреки утверждению Шекспира – и знаменитому замечанию Паскаля, что будь ее нос немного короче, история мира оказалась бы иной – Клеопатра, как представляется, была безусловно привлекательной женщиной, но не классическим образцом красоты. Плутарх в жизнеописании Антония признает, что «красота этой женщины была не тою, что зовется несравненною и поражает с первого взгляда, зато обращение ее отличалось неотразимою прелестью»; и «самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух»⁴¹. Как бы там ни было, ей не составило труда покорить Антония, как раньше Цезаря, и даже убедить его казнить ее сестру Арсиною, которую она не желала прощать за попытку установить собственную власть в Александрии. (Арсиноя последней из пяти братьев и сестер Клеопатры умерла насильственной смертью, причем по меньшей мере двое родичей погибли по настоянию царицы.) Антоний не стал отказываться, и в награду его пригласили перезимовать в Александрии; результатом этой зимовки стало рождение близнецов. После того влюбленные не виделись целых три года, но в 37 году Антоний предложил Клеопатре приехать к нему в его восточную столицу Антиохию, и там они стали жить вместе: в следующем году у них родился еще один сын.

В Риме Октавиан – на чьей сестре Октавии Антоний недавно женился – пришел, разумеется, в ярость, оскорбленный поведением зятя и все более очевидным влиянием на того Клеопатры; в 32 году, когда Антоний официально развелся с Октавией, ее брат объявил войну. Второго сентября 31 года до нашей эры два флота сошлись при мысе Акций, у северной оконечности острова Левкада. Октавиан одержал сокрушительную победу и преследовал побежденных вплоть до Александрии; но оставался еще почти год до финального акта этой драмы. Лишь 1 августа 30 года победитель вступил в покоренный город, где объявил, что Египет отныне становится римской провинцией и будет управляться под его личным контролем. Клеопатра забаррикадировалась в своей усыпальнице и велела слугам говорить, что она совершила самоубийство; услышав об этом, Антоний бросился на свой меч, но потом, узнав, что сообщение было ложным, велел отнести себя к возлюбленной. Плутарх сообщает, что они успели поговорить в последний раз, прежде чем Антоний умер.

Обстоятельства смерти Клеопатры менее конкретны. Весьма вероятно, что она отравилась, но как? Плутарх рассказывает историю об аспиде, на которую, похоже, опирался и Шекспир, но добавляет, что, «впрочем, истины не знает никто». Тем не менее аргументы в пользу «теории змеиного укуса» довольно весомы. Египетская кобра – воплощение Амона-Ра, бога солнца, – считалась царским символом со времен первых фараонов, которые носили ее образ (урей) на своих венцах; сложно вообразить себе более царственную манеру

⁴⁰ Известно, что Лепид пытался выступить против Октавиана, но его легионы перешли на сторону противника, а самого Лепида отправили в отставку. – *Примеч. ред.*

⁴¹ Перевод С. П. Маркиша. – *Примеч. ред.*

ухода из жизни. Кроме того, Светоний говорит, будто Октавиан велел сделать всеобщим достоянием тот факт, что, едва услышав о самоубийстве Клеопатры, он приказал отправить к ней жрецов-псиллов⁴², которым надлежало «высосать яд и заразу». Увы – если жрецы и пришли, оказалось уже слишком поздно.

Сражение при Акции принесло два важнейших результата. Прежде всего, его исход обеспечил сохранение политической власти за Италией и за западом в целом. В соответствии с соглашением, которое он заключил с Октавианом после битвы при Филиппах, преимущественно грекоговорящие территории восточного Средиземноморья признавались владениями Марка Антония; если бы Антоний победил, он почти наверняка продолжал бы оказывать им предпочтение любыми возможными способами. Однако при Октавиане Рим прочно утвердился в качестве «центра мира» и оставался таковым последующие три столетия, пока Константин Великий не покинул Вечный город в 330 году ради своей новой столицы – Константинополя.

Вторым результатом сражения при Акции стало превращение Октавиана, в возрасте тридцати двух лет, в наиболее могущественного человека современности и бесспорного властелина известного мира. Проблема для него состояла в том, как наилучшим образом укрепить свои позиции. Римская республика благополучно погибла, это было очевидно; однако установленная Юлием Цезарем автократия стала роковой для него самого, и внучатый племянник вовсе не собирался повторять ошибку дяди. Некоторое время старые республиканские устои сохранялись, по крайней мере внешне. Каждый год с 31-го по 23-й год до нашей эры Октавиан становился консулом – и использовал должность как конституционную опору своей власти; но принятие 16 января 27 года до нашей эры нового титула августа служит достаточно ярким свидетельством того, в каком направлении все развивалось.

Посему практически невозможно установить точную дату возникновения Римской империи. Это был постепенный процесс (возможно, к лучшему). В юности Август – как нам теперь следует именовать Октавиана – безусловно жаждал власти; стоило ему добиться желаемого, как он смягчился и сделался политиком и государственным деятелем. Другие его достижения оценить сложнее. Он реорганизовал управление и войско; разместил постоянные военно-морские базы по всему Средиземноморью, где теперь Рим господствовал безраздельно; с 200 года до нашей эры по 200 год нашей эры плотность коммерческого судоходства в бассейне существенно превосходила показатели последующей тысячи лет⁴³. Что важнее, он придал старой республике новую форму, которой требовало колоссальное расширение границ, и как-то примирил с этой формой все слои римского общества, сплотил их под стягами своего нового режима. О нем говорили, что он получил Рим глиняным, а оставил мраморным, но он сделал гораздо больше: он принял республику и преобразил ее в империю – в империю, неотъемлемой частью которой предстояло быть Сицилии.

Устранив помеху в лице Секста Помпея, Август наконец-то отомстил. Возможно, сказались ранения, которые он получил в морском сражении у Таормины; так или иначе, он явно намеревался заставить сицилийцев заплатить за их поддержку побежденного Секста. На остров наложили гигантский штраф; города, которые сопротивлялись Августу, получили достаточно поводов пожалеть о своем неразумии. Все население Таормины депортировали, например, 6000 рабов, чьи владельцы погибли или исчезли в ходе войны, посадили на кол.

Как всегда, Сицилия оправилась; но она уже мало напоминала себя прежнюю. Прежде

⁴² Считалось, что мужчины этого североафриканского племени обладают умением зачаровывать змей и исцелять змеиные укусы. – *Примеч. ред.*

⁴³ Не кажется удивительно, что наиболее распространенным латинским названием Средиземного моря было *Mare Nostrum*, «наше море». Никакая предыдущая держава не выдвигала подобных притязаний – и то же самое можно сказать обо всех последующих державах.

всего, теперь сделалось куда заметнее римское присутствие. Бесчисленные акры земли вокруг Катании были дарованы в знак признательности флотоводцу Агриппе, который более прочих был причастен к итоговому поражению Секста; после его смерти все эти земли вернулись императору. Других старших офицеров и ветеранов из легионов тоже вознаградили в соответствии с их званиями и заслугами; как правило, им выделялись земли к северу и востоку от горы Этна, «источника» прошлых смут. На верность этих людей можно было положиться; и они внесли несомненный вклад в медленную и неуклонную романизацию острова. По императорскому указу отныне все италийцы считались полноправными римскими гражданами – все, кроме сицилийцев. После официального визита императора на остров в 22 или в 21 году до нашей эры Август присвоил шести городам – Таормине (предположительно прощенной), Катании, Сиракузам, Тиндариде⁴⁴, Термини и Палермо – статус колоний, благодаря чему их жители стали считаться римлянами. (Тот факт, что подавляющее их большинство составляли греки, не знавшие ни слова по-латыни, наверняка порождал определенные проблемы; как эти проблемы решались, установить нет возможности.)

В развалинах древней Остии, служившей портом Рима, все еще можно полюбоваться крупной напольной мозаикой первого столетия нашей эры; изображены четыре основные провинции, поставлявшие Риму зерно. Сицилии составляют компанию Испания, Африка и Египет. Это наводит на очевидную мысль: остров больше не являлся единственным поставщиком зерна; существенный прогресс аграрной экономики Северной Африки, наряду с недавним покорением Августом Египта, исправил положение. Однако Сицилия почти наверняка оставалась основным источником зерна – и ближайшим среди всех, – что, по сути, гарантировало процветание (конечно, при сохранении политической стабильности).

Стабильность сохранялась на протяжении четырех столетий – во всяком случае, так может показаться. Но правда в том, что мы практически ничего не знаем о сицилийской истории на протяжении большей части первой половины тысячелетия христианской эры. Историки первого и второго веков, наподобие Тацита и Светония, едва достаивали остров упоминания. Похоже, на Сицилии какое-то время бесчинствовали разбойники (в 260-х годах), но помимо этого островитяне как будто вели себя на удивление спокойно. Остров процветал – насколько именно, можно судить по развалинам огромной виллы в Казале, в четырех милях от современного города Пьяцца-Армерина. Виллу построили в первой четверти четвертого столетия; мало что уцелело, конечно, однако сохранившиеся фрагменты поражают своим качеством; прежде всего это относится к великолепным напольным мозаикам, которые покрывают пространство площадью около 3500 квадратных метров. Владельца этой грандиозной собственности установить не удалось, но ясно, что он был чрезвычайно зажиточным и знатным человеком, который, возможно, возвел виллу в качестве охотничьего домика. В мозаиках налицо бесчисленное множество сцен охоты и рыболовства, изображений животных и морской флоры и фауны, танцев и пиршеств, а также выращивания виноградной лозы. Встречаются даже несколько сюжетов из греческой мифологии, в том числе Орфей с лютней, подвиги Геракла, Одиссей в пещере Полифема. Любой, кто бывал в музее Бардо в Тунисе, знает об изумительном богатстве и разнообразии напольных мозаик в римской Северной Африке. Мозаики с виллы Казале почти наверняка выполнены африканскими мастерами; поражает то обстоятельство, что на всем острове нет ничего, хотя бы отдаленно с ними схожего.

В эти первые столетия новой эры случайные гости, включая сюда императора Калигулу, прибывали из Рима насладиться красотами Сиракуз – которые, несмотря на множество разграблений, сохраняли свою репутацию очага культуры – или поглазеть на жуткую гору Этна; помимо Калигулы, единственными среди императоров побывали на

⁴⁴ Теперь небольшое поселение с зоной не слишком активных археологических раскопок на побережье между Патти и Милаццо.

Сицилии Адриан (который объехал всю империю) и Септимий Север, который в юности служил наместником острова. Даже историческое решение Константина Великого перенести в 330 году столицу империи в Константинополь, кажется, оставило сицилийцев равнодушными; когда в 395 году империя снова раскололась и в Италии правила, сменяя друг друга, череда марионеточных императоров – в основном из Равенны – островитяне, кажется, этого не заметили.

Другим величайшим свершением Константина стало принятие христианства в качестве государственной религии Римской империи. Это решение затронуло Сицилию, как и весь остальной мир, и новая религия распространялась все быстрее. Во времена Христа на Сицилии преобладала старая греческая вера, а также имелись святилища восточных божеств наподобие Кибелы и египетского Сераписа. В Таормине находился даже храм Исиды⁴⁵. Но с начала четвертого столетия христианство стало стремительно распространяться по всему острову, и ни один гость Сиракуз не упускал случая посетить огромные древние катакомбы святых Люсии и Иоанна, которые использовались с третьего по шестой век и уступали размерами разве что римским. Между тем приступили к превращению языческих сооружений в церкви – например, старый храм Афины в Сиракузах освятили задолго до 600 года; крепла и церковная организация. Епископ Хрест из Сиракуз присутствовал на Арльском соборе 314 года, епископ Пашасиний из Лилибеи был на Вселенском соборе в Халкидоне (451 г.). (Интересно отметить, что он произнес свою торжественную речь на латыни, однако на остальной период работы собора попросил себе переводчика на греческий.) В 447 году папа Лев направил письмо «епископам Сицилии», а ко времени Григория Великого – конец шестого века – на острове насчитывалось минимум двенадцать епископов, причем один окормлял паству на острове Липари.

Григорий явно питал интерес к Сицилии. Он основал не менее шести монастырей на острове, но письма показывают, что его серьезно беспокоило очевидное нежелание низшего духовенства соблюдать обет безбрачия. Это нежелание объясняется просто. Большинство сицилийцев до сих пор говорило по-гречески и, духовно подчиняясь папе и Риму, вероятно, хранило верность греческому ритуалу, по которому священники обязаны вступать в брак, в отличие от монахов и епископов, кому это запрещено. После византийского завоевания было вполне естественно, что греческое влияние на острове окрепло – хотя, как ни странно, сицилийцы продолжали строить почти все свои церкви по плану базилик, с нефами, проходами, лесенками в пресвитерии и с полукруглыми апсидами на востоке. Греческие крестовокупольные церкви были сравнительно редки.

Примерно в это же время отмечается, похоже, существенная иммиграция иудеев на остров. В конце шестого века столетия Григорий наставлял своего местного представителя, просил попытаться обратить этих евреев, предлагая им более низкую арендную плату и снижение налогов; с другой стороны, он сурово требовал от епископа Палермо восстановить синагоги, которые тот насильно превратил в христианские церкви, и вернуть иудеям всю их обстановку. Любопытно, что сицилийские евреи обходились без собственных кладбищ, наподобие тех, что регулярно устраивались в Риме. Они охотно делили кладбища с христианами, и нередко грубо вырезанная менора служила единственным опознавательным знаком на надгробной плите.

В пятом столетии нашей эры пришли варвары. Из их многочисленных племен и народностей нам важны всего три: готы, гунны и вандалы. Все они в разное время олицетворяли собой серьезную угрозу империи, хотя лишь одно племя выказало интерес к Сицилии. Эти племена и народности разительно отличались друг от друга. Готы к концу четвертого столетия сделались сравнительно цивилизованными, и большинство из них

⁴⁵ Позже превращена в христианскую церковь, посвященную почему-то святому Панкратию. (Священномученик Панкратий, ученик святого Петра, был первым епископом Таормины. – *Примеч. ред.*)

приняло христианство в арианской версии⁴⁶. Несмотря на это, западными готами, более известными как визиготы, по-прежнему управляли местные вожди, восточные готы, или остrogоты, уже создали крепкое центральноевропейское королевство. Гунны, с другой стороны, были дикарями: их недисциплинированная языческая орда, монгольская по своему происхождению, прокатилась по Европе, примчалась из степей Центральной Азии, сметая все на своем пути. Что касается вандалов – последнего из великих варварских народов, что отметили своим появлением злосчастный пятый век, – они почти не оказали прямого воздействия на Римскую империю, зато их влияние на Средиземноморье в целом оказалось сильнее влияния двух других варварских союзов, вместе взятых.

Первыми удар нанесли готы. Трижды, с 408-го по 410-й год, визиготский вождь Аларих осаждал Рим. Первая осада привела к голоду; римлянам пришлось заплатить огромный выкуп. Вторая завершилась тем, что они согласились свергнуть императора; третья же привела к разграблению Вечного города. Потом пришли гунны. Они впервые прорвались в Европу в 376 году; первый контакт с цивилизованным миром, однако, никак на них не сказался. Подавляющее большинство гуннов предпочитало жить и спать под открытым небом; они презирали сельское хозяйство и даже отвергали приготовленную пищу – хотя и любили размягчать сырое мясо, помещая куски между боками лошадей и собственными бедрами. Одевались они в рубахи из шкур полевых мышей, грубо сшитых вместе. Такие рубахи они носили постоянно, не снимая, пока одежда не рассыпалась от грязи и ветхости. Домом им служило седло; они редко спешили и даже ели и спали верхом. Их вождь Аттила был типичным представителем своего племени: невысокий, смуглокожий, курносый, с глубоко посаженными глазами-бусинками на голове, слишком крупной для такого тела, и с редкой спутанной бородой. Через несколько лет после возвышения к власти он стал известен по всей Европе как «бич Божий»: его боялись, пожалуй, больше, чем любого другого человека в истории, – возможно, за исключением Наполеона.

Лишь в 452 году он повел свою орду на Италию. Все крупные города области Венето были преданы огню; Павию и Милан безжалостно разграбили. Затем Аттила повернул на юг в направлении Рима – и вдруг остановился. Почему он так поступил, остается загадкой. Традиционно спасение приписывается папе Льву Великому, который будто бы двинулся на север, дабы встретиться с Атилой, и уговорил язычников не идти дальше⁴⁷; версия, прямо скажем, маловероятная. В любом случае, Рим не пострадал. Год спустя, в брачную ночь с очередной из его бесчисленных жен, Аттила скончался от внезапного кровоизлияния. Когда новость распространилась, вся Европа вздохнула с облегчением – но, как вскоре выяснилось, радость была преждевременной.

Следом явились вандалы, единственные варвары, дошедшие до моря. Эти германские племена, будучи фанатичными арианами, бежали на запад от гуннов примерно полувеком ранее и в 409 году, после вторжения и опустошения большей части Галлии, обосновались в Испании. Там они оставались до 428 года, когда их новый король Гейзерих повел своих подданных через Средиземное море в Северную Африку. Ровно одиннадцать лет спустя он захватил Карфаген⁴⁸, последнюю имперскую крепость на побережье, и превратил ее в своего рода пиратский оплот. Сицилия вдруг оказалась в серьезной опасности. Гейзерих устроил набеги на остров в 440 и в 456 году, но только в 468-м – когда ему было уже крепко

⁴⁶ Последователи Ария, пресвитера Александрии, верили, что Иисус Христос не является единосущим с Богом Отцом, но был сотворен Им для спасения мира. Следовательно, пусть и будучи совершенным человеком, Сын всегда должен подчиняться Отцу, а его природа скорее человеческая, нежели божественная.

⁴⁷ Эта сцена очень поэтично представлена в «Атиле» Верди, несмотря на то, что папа Лев выведен – по настоянию цензуры – безымянным «старым римлянином».

⁴⁸ После разрушения в 146 году до нашей эры Карфаген простоял покинутым более ста лет, пока в 29 году до нашей эры Август не сделал город столицей римской провинции Африка.

за семьдесят – полностью подчинил Сицилию своей власти. Впрочем, он владел островом лишь около восьми лет и сделал мало – как дурного, так и полезного.

Вот мы и подошли к 476 году. Западная Римская империя находилась на грани смерти, и именно на этот год пришелся ее последний вдох. Отречение последнего императора, жалкого юнца Ромула Августула – само двойное имя видится двойным преуменьшением, если вспомнить великих предшественников, от которых он эти имена унаследовал, – не должно показаться удивительным. Его сверж очередной варвар-германец по имени Одоакр, который отказался принять существовавшее разделение полномочий и признавал лишь византийского императора Зенона в Константинополе. От Зенона он просил титул патриция и в этом качестве правил Италией от имени императора. Одним из его первых шагов стал выкуп Сицилии у Гейзериха в обмен на ежегодную выплату дани.

Пятью годами ранее, в 471 году, семнадцатилетний юноша по имени Теодорих наследовал своему отцу в качестве верховного вождя остготов. Пускай он не получил фактически никакого формального образования за десять лет детства, проведенные заложником в Константинополе (рассказывали, что всю жизнь он писал свое имя по трафарету в золотой табличке), Теодорих приобрел инстинктивное понимание византийцев и их образа действий, что сослужило ему хорошую службу в последующие годы. Его главной целью после прихода к власти, как и для многих варварских вождей перед ним, было отыскать и обезопасить постоянный дом для своего народа. Исполнению этой мечты он посвятил большую часть следующих двадцати лет, сражаясь то за, то против империи, споря, торгуясь, угрожая и уговаривая, пока около 487 года они с Зеноном не достигли соглашения. Теодориху следовало повести свой народ в Италию, свергнуть Одоакра и править этой территорией как королевством остготов под эгидой империи. Посему в начале 488 года последовал «великий исход»: мужчины, женщины и дети, с лошадьми и вьючными животными, с крупным домашним скотом и овцами, тронулись в медленный путь по равнинам Центральной Европы в поисках более зеленых и мирных пастбищ.

Одоакр пытался сражаться, но его войско не могло устоять под натиском готов. Он отступил в Равенну, и Теодорих держал город в осаде до тех пор, пока местный епископ не добился перемирия. Было решено, что Италией станут править двое вождей, которые оба займут императорский дворец. Это решение казалось удивительно щедрым со стороны Теодориха; но вскоре стало ясно, что он не имел ни малейшего намерения сдержать слово. 15 марта 483 года он пригласил Одоакра с братом, сыном и старшими советниками на пир. На этом пиру, когда гость занял почетное место, Теодорих сделал шаг вперед и могучим ударом меча рассек тело Одоакра от ключицы до бедра. Других гостей прикончили окружившие их стражники. Желю Одоакра бросили в темницу, где она умерла от голода; сына, которого он передал остготам в качестве заложника, казнили. Наконец Теодорих отказался от шкур и мехов, традиционной одежды своего народа, и облачился – чего никогда не делал Одоакр – в императорский пурпур. Отныне он единолично правил в Италии.

После насильственного начала он правил спокойно и мирно следующие тридцать три года, и великолепный мавзолей, возведенный им для себя – по-прежнему стоящий на северо-восточной окраине Равенны, – прекрасно символизирует своей наполовину классической, наполовину варварской архитектурной мощью колосса, который лично объединил две цивилизации. Никакой другой германский правитель, чьи троны зиждились на развалинах Западной Римской империи, не обладал даже толикой навыков Теодориха в государственном управлении и его политического видения. Когда он умер 30 августа 526 года, Италия потеряла величайшего из своих средневековых правителей, с которым позднее сравнился разве что Карл Великий.

В 533 году император Юстиниан начал свой грандиозный поход за восстановление Западной империи. Ему было очевидно, что Римская империя без Рима – чистейший абсурд; на его счастье, у него был наиболее блестящий полководец во всей византийской истории, романизированный фракиец, как и сам император, по имени Велизарий. Этот Велизарий

высадился на Сицилии в 535 году, и его почти повсеместно встретили с восторгом. Исключением оказался Палермо, малый и совсем еще незначительный порт⁴⁹. Здесь местный управитель попытался оказать сопротивление, но Велизарий приказал своему флоту встать в гавани так близко к берегу, что мачты кораблей торчали над городскими стенами. Затем лодки, полные солдат, подняли на эти мачты, и византийцы принялись обстреливать защитников города.

Сицилия снова стала имперской провинцией, которой правили византийские наместники, обычно присылаемые из Константинополя. Но однажды ей едва не удалось сделаться чем-то большим. В середине седьмого столетия византийский император Константин II Бородатый, по понятным причинам озабоченный будущим своих западных провинций, которым угрожал натиск ислама, принял судьбоносное решение сместить баланс сил в империи в западном направлении и перенести свою столицу на запад. Рим виделся логичным выбором; но после удручающего впечатления от двенадцатидневного визита в 663 году – Константин первым из императоров за почти триста лет ступил на мостовую главного города империи – он отказался от этой идеи и предпочел поселиться в бесконечно более благоприятной греческой атмосфере Сиракуз.

Для сицилийцев следующие пять лет превратились в затянувшийся кошмар. Честь оказаться вдруг островом, где разместились столица Римской империи, совершенно нивелировалась зверствами римских сборщиков налогов – ведь ради того, чтобы выполнить их требования, как рассказывают, мужья продавались в рабство, жены вынужденно занимались проституцией, а дети росли без родителей. Невозможно установить наверняка, как долго эти бесчинства могли бы продолжаться, не обрети император неожиданную, насильственную и отчасти унижительную кончину. Насколько нам известно, не существовало никакого заранее составленного плана по его устранению – тем более никакого глубоко заговорного заговора; 15 сентября 668 года, нежась в ванне, он был убит одним из своих слуг, который – можно только предполагать, что им руководил приступ неконтролируемой ностальгии, – напал на Константа со спины и утопил в мыльной пене. К тому времени арабы в основном сосредоточили свои усилия на овладении Малой Азией и Константинополем, поэтому и преемник императора, Константин IV, не имел иного выбора, кроме как вернуться на Босфор. Сицилию вновь оставили в покое.

Этот мир сохранялся в целом на всем протяжении восьмого столетия, в ходе которого Сицилия, подобно соседней Калабрии, стала прибежищем для беженцев, спасавшихся от разгула иконоборцев в империи⁵⁰; но в девятом столетии все изменилось. Арабы ждали достаточно долго. Они уже захватили все побережье Северной Африки и начинали беспокоить остров случайными набегами. В 827 году им представилась возможность полностью оккупировать Сицилию. Византийский наместник Евфимий был недавно освобожден от занимаемой должности и отозван в Константинополь – когда вскрылись его «недостойные забавы» с местной монахиней. Но он не уехал, а восстал и провозгласил себя императором, после чего обратился за помощью к арабам. Те направили на остров свое войско, утвердились, не обращая внимания на Евфимия, который вскоре был убит, и спустя три года взяли штурмом Палермо и сделали город своей столицей. Далее их продвижение замедлилось. Мессина пала в 843 году; Сиракузы выдержали долгую и страшную осаду, защитники даже начали в итоге поедать человеческие тела. Город сдался лишь в 878 году. После этого византийцы как будто признали свое поражение. Несколько изолированных

⁴⁹ Несмотря на превосходное географическое расположение, Палермо сделался важным городом только при арабах. Это объясняет, почему в городе не найти практически никаких следов античности – ни храмов, ни театра, ни даже руин, особенно если сравнивать с другими поселениями на острове.

⁵⁰ В 726 году император Лев III издал указ об уничтожении всех икон на том основании, что их почитание является идолопоклонством. Это напугало население, в особенности монастыри, и многие бежали, забирая с собой столько икон, сколько могли унести. Указ действовал, не считая коротких «пауз», до 842 года.

крепостей в восточной части острова продержались дольше остальных. Последняя из них, Рометта, сдалась в середине десятого века. Но в тот июньский день, когда знамя Пророка взвилось над Сиракузами, Сицилия оказалась частью мусульманского мира.

Когда завоевательные войны завершились и вновь воцарился мир, жизнь для большинства греческих христианских общин мало изменилась. Несмотря на определенную дискриминацию по отношению к гражданам «второго сорта», они, как правило, сохраняли свободу вероисповедания, выплачивая ежегодную дань, которую многие находили предпочтительной в сравнении с тяжестью налоговой нагрузки и обязательной военной службы в Римской империи. Сарацины, как часто бывало на протяжении всей их истории, выказывали известную веротерпимость, что позволило сохранять церкви, монастыри и преемственность долгой традиции эллинистической учености. В прочих отношениях остров также выиграл от прихода завоевателей. Арабы принесли с собой совершенно новую систему земледелия, основанную на таких инновациях, как террасирование и применение сифонных акведуков для орошения. Они познакомили островитян с хлопком и папирусом, дынями и фисташками, цитрусовыми и финиками и высадили достаточное количество сахарного тростника, чтобы обеспечить всего через несколько лет немалый экспорт. При византийцах Сицилия никогда не играла значимой роли в европейской торговле, но при сарацинах остров быстро сделался одним из главных торговых центров Средиземноморья – христианские, мусульманские и иудейские купцы стекались на базары Палермо.

Но все же, хотя арабские завоеватели принесли Сицилии множество благ, среди них отсутствовало основное – стабильность. По мере того как узы лояльности, которые связывали эмира Палермо и соратников с североафриканским халифатом, ослабевали, сами эмиры начинали забывать о единстве: они все чаще враждовали друг с другом, и поэтому остров снова оказался ареной борьбы противоборствующих группировок. Именно этот устойчивый политический упадок гарантировал грекам успешное возвращение на Сицилию – вместе с их союзниками-норманнами.

Глава 4

Норманны

К началу одиннадцатого столетия норманны практически завершили процесс, в ходе которого они, всего за сто лет, превратились из сборища едва грамотных языческих варваров в цивилизованное и полунезависимое христианское общество. Это было потрясающее достижение. Еще были живы мужчины, чьи отцы помнили светловолосого викинга Роллона, который водил свои драккары вверх по Сене и который в 911 году получил в управление большую часть современной восточной Нормандии от короля франков Карла Простоватого. Уже в следующем году значительное число его подданных, во главе с самим Ролло, крестилось в христианство. Через два поколения христианство восторжествовало по всей Европе. И то же самое относится к языку – еще до окончания десятого столетия древнескандинавский полностью вымер, оставив лишь бледный след^[51].

Хитроумные, умевшие приспособливаться и сполна наделенные неисчерпаемой энергией своих предков-викингов, эти ранние авантюристы-норманны прекрасно подходили для той роли, какую им предстояло сыграть в европейской истории. Кроме того, они обладали еще одним качеством, без которого их великое южное королевство никогда бы не возникло: они чрезвычайно активно плодились, что выливалось в постоянный взрывной прирост населения и в увеличение числа дерзких юнцов (младших сыновей), отправлявшихся на юг в поисках жизненного пространства (Lebensraum). А какой повод лучше для подобного странствия, чем паломничество? Вряд ли кого-то могло удивить на заре второго тысячелетия нашей эры, когда мир все-таки не погиб, вопреки многочисленным пророчествам, и когда волна облегчения захлестнула Европу, что привычные паломнические маршруты должны

буквально кишеть странниками и что целые партии паломников состояли исключительно из норманнов.

Некоторые паломники направлялись в Рим, другие – к громадной церкви Святого Иакова в Компостеле; но наиболее притягательным, разумеется, был Иерусалим, который для всех норманнов имел дополнительное очарование: паломничество туда означало, что по дороге или на обратном пути (а то и дважды) можно побывать в пещере архангела Михаила, который считался покровителем великой святыни Мон-Сен-Мишель и потому был особенно дорог среди святых нормандскому сердцу. Суда, направлявшиеся в Палестину, обычно отплывали из Бриндизи или из Бари, а от любого из этих портов было совсем недалеко (вдоль по Адриатическому побережью) до святыни глубоко под скалами полуострова Монте-Гаргано. За много веков до рождения Христа это место уже признавали священным; оно обладало тысячелетней историей святости к тому моменту, когда в 493 году архангел явился местным крестьянам. Вот таким образом Монте-Сант-Анджело, как ее называли в народе, сделалась одним из главных центров паломничества в Европе. Именно там летом 1016 года группа норманнских паломников встретила диковинно одетого незнакомца, который назвался лангобардским вельможей Мелусом. Его народ, сказал он, пятьсот лет провел на юге Италии, но значительная территория, которая когда-то принадлежала лангобардам, ныне оккупирована византийцами. Всю свою жизнь он посвятил независимости лангобардов, каковую – при помощи пары сотен рослых молодых норманнов вроде них самих – вполне можно обрести. Против объединенных сил норманнов и лангобардов греки наверняка не выстоят; а лангобарды, естественно, не забудут своих союзников.

Конечно, его предложение приняли; и разве могло быть иначе? Здесь перед норманнами открывались широчайшие возможности – богатая и плодородная земля, куда этих молодых людей приглашали, почти умоляли прийти, сулила поистине бесконечные перспективы доказать свою значимость и найти достаток. Паломники объяснили Мелусу, что они пришли к Апулию безоружными и потому вряд ли смогут немедленно выполнить его просьбу. Сначала нужно вернуться в Нормандию, но только затем, чтобы провести соответствующие приготовления и привлечь к кампании товарищей по оружию. В следующем году они непременно вернутся, в большом числе, присоединятся к своим новым друзьям-лангобардам, и великое приключение начнется.

Южная Италия представляла собой котел, который не переставал кипеть. Окруженная и непрерывно подвергавшаяся нападениям со стороны двух империй и трех религий – ибо мусульмане постоянно устраивали набеги с Сицилии, – эта область объединяла несчетное множество независимых, полунезависимых и мятежных городов, и сильная рука и острый меч всегда находили себе тут применение. Поскольку же норманны считали себя наемниками и всегда брали то, что казалось им ценным и достойным, а византийский наместник с первого взгляда узнавал опытных бойцов, он, должно быть, не слишком удивился, когда, пять лет спустя, хорошо снаряженный отряд норманнов отправился в Апулию – защищать законные владения Византии от продолжающихся подлых нападений разбойников-лангобардов.

Так получилось, что примерно через сорок лет после памятной беседы в пещере архангела Михаила норманны сделали наиболее могущественной силой на юге Италии, в немалой степени благодаря семье некоего норманнского барона, проживавшей на полуострове Котантен; барона звали Танкред д'Отвиль. Сам Танкред прославился исключительно своей упорной плодовитостью. Две жены, одна после другой, родили ему по меньшей мере трех дочерей и как минимум дюжину сыновей, из которых пятеро отправились в Италию, а трое стали признанными вожаками. Один из них, Роберт Гвискар («Хитрец»), заслужил стоять в одном ряду с такими военными гениями, как Юлий Цезарь и Наполеон.

У первого поколения норманнских иммигрантов Сицилия, пожалуй, не вызывала ни малейшего интереса, поскольку имелось чересчур много возможностей, что называется, под рукой. Однако в 1035 году гражданская война, призрак которой витал над островом уже несколько лет, вдруг стала реальностью. Эмир Палермо аль-Акхал столкнулся с войском мятежников, которое возглавлял его брат Абу Хафса и которое было усилено 6000 воинами из Африки под командованием Абдуллы, сына Зифрида, халифа Кайруана. Отчаявшись, эмир обратился за помощью к императору Михаилу IV в Константинополе. Михаил не захотел упускать такой шанс. Постоянные набеги арабских пиратов, что базировались на Сицилии, на Восточное Средиземноморье наносили изрядный урон византийской экономике. Страдали не только прибрежные города; константинопольские купцы жаловались, что пираты повсюду: цены на импорт опасно выросли, внешняя торговля испытывала трудности. Была и еще одна причина вмешаться. Для всех греков Сицилия являлась частью Византии по «праву рождения»; остров до сих пор мог похвастаться немалой долей грекоязычного населения. То обстоятельство, что Сицилией по-прежнему владели язычники, уязвляло имперскую безопасность и национальную гордость. Арабы должны уйти.

Прежде чем император успел собрать значительные силы, пришла весть, что эмир аль-Акхал убит; но восстание быстро распространялось по Сицилии, и мусульмане, все больше и больше погрязавшие в междоусобицах, вряд ли смогут, как виделось, оказать серьезное сопротивление хорошо спланированному византийскому нападению. Поэтому приготовления продолжались, и в начале лета 1038 года корабли отплыли из Константинополя. Командовать экспедицией поручили величайшему среди тогдашних византийских полководцев Георгию Маниаку. По своему характеру и по внешнему облику он казался сверхчеловеком. Византийский хронист Михаил Пселл писал:

Я сам видел этого человека и дивился на него... Чтобы смотреть на него, людям приходилось закидывать головы, словно они глядели на вершину холма или высокую гору; его манеры не были мягкими или приятными, но напоминали о буре; его голос звучал как гром; а его руки, казалось, подходили для того, чтобы рушить стены или разбивать бронзовые двери. Он мог прыгать, как лев, и его хмурый взгляд был ужасен^[52].

Экспедиция отправилась на Сицилию не сразу, но сначала двинулась в Салерно, чтобы пополнить свои ряды воинами лангобардского вельможи Гаймара. Тот был рад помочь: постоянный приток изнывавших от скуки норманнских авантюристов, хищных и совершенно беспринципных, нарывавшихся на неприятности и вынужденных, что называется, жить с земли, доставлял ему немалые хлопоты. Триста самых молодых и крепких норманнов присоединились к войску и вместе с италийцами и лангобардами взойшли на византийские корабли. Среди них, разумеется, были и Отвили.

Приблизительно в конце лета 1038 года Георгий Маниак высадился на сицилийскую землю. Поначалу он сметал все на своем пути. Мессина пала почти мгновенно, за ней последовала Рометта, ключевая крепость, которая господствовала над северной прибрежной дорогой в Палермо. О следующих двух годах хронисты молчат; но представляется очевидным, что Сиракузы пали в 1040 году после тяжелой осады. Норманны безусловно сыграли свою роль: Гильом, старший из братьев Отвилей, лично ссадил с коня эмира и оставил того лежать мертвым на земле, тем самым заслужив прозвище Браш-де-Фер, «Железная рука». Но главным творцом византийского успеха был, конечно же, Маниак, сумевший правильно организовать разведку и отдававший своевременные и необходимые полководческие распоряжения. Потому весьма трагично, что именно тогда его отозвали в Константинополь.

Впрочем, виноват прежде всего он сам. Маниак никогда не скрывал своего презрения к Стефану, командиру флота и бывшему конопатчику кораблей, который, благодаря удачному браку много лет назад, проснулся однажды утром зятем императора. Многие споры между ними были по преимуществу односторонними – флотоводец откровенно боялся Маниака,

намного превосходившего его ростом; через несколько дней после взятия Сиракуз Маниак вышел из себя, схватил Стефана за грудки и потряс так, что у того застучали зубы. Это была роковая ошибка. Стефан спешно известил своего шурина-императора, обвинив товарища по оружию в государственной измене. Маниака отозвали в Константинополь и без церемоний бросили в тюрьму. Его преемник, евнух по имени Василий, оказался таким же недееспособным, как Стефан; греки утратили боевой дух и начали отступать. Но норманны отказались признавать поражение. Возник спор из-за добычи, которой, по утверждению Отвилей и их товарищей (вероятно, справедливому), норманнам досталось меньше, чем полагалось. В итоге норманны покинули византийское войско и немедленно вернулись на материк.

Там их могущество продолжало расти; и неудивительно, учитывая обстоятельства, что к середине столетия оно вызвало серьезную обеспокоенность папства. Норманны теперь стояли фактически на пороге Рима; вряд ли что-то могло помешать им войти в сам Вечный город. Папа Лев IX решил опередить события. Он собрал войско и выступил против норманнов. Две силы сошлись 17 июня 1053 года близ Чивитате, на берегах реки Форторе; папское войско было разгромлено. Норманны выказывали плененному папе всяческое уважение и доставили его в Беневенто, где и продержали почти год, пока определялись, так сказать, контуры будущего. Подробности пленения нас не касаются; достаточно будет отметить, что шесть лет спустя в городке Мельфи новый папа Николай II короновал Роберта Гвискара как правителя Апулии, Калабрии – и Сицилии.

На каком именно основании папа римский столь благосклонно пожаловал норманнского правителя территориями, которые никогда ранее не подчинялись этому правителю или его предшественникам, – вопрос спорный. Если в отношении Апулии и Калабрии еще можно усмотреть некую «обоснованность», то в отношении Сицилии папа Николай фактически творил произвол, поскольку остров никогда не входил в сферу папского контроля. Вряд ли, однако, подобные соображения смущали норманнов. Это третье владение, по сути, было со стороны папы открытым приглашением Роберту. Сицилия, зеленая и плодородная, лежала буквально на расстоянии вытянутой руки от материка и виделась очевидной целью, ее присвоение казалось логичным завершением того великого «броска на юг», который привел норманнов на Апеннинский полуостров. Она также представляла собой логово сарацинских пиратов, многие годы остававшихся угрозой для итальянских прибрежных городов на юге и западе. Словом, пока Сицилия была в руках язычников, правитель Калабрии и Апулии попросту не мог обеспечить безопасность своих материковых владений.

Местному населению потомство старого Танкреда д'Отвиля, должно быть, казалось почти неисчислимым. Как минимум уже семеро его сыновей оставили свой след в истории Италии; между тем славный род не выказывал ни малейших признаков истощения, и на исторической сцене появился восьмой сын – Рогер (или Рожер). Самому молодому из Отвилей в ту пору едва исполнилось двадцать шесть лет, однако он успел прославиться и воинской доблестью, и талантами государственного деятеля. Его брат Роберт быстро оценил достоинства своего родича. Будучи в Италии новичком, Рогер еще не приобрел каких-либо территориальных владений, а потому идеально подходил на роль второго по старшинству в предстоящей сицилийской экспедиции.

В начале весны 1060-го Роберт и Рогер совместно принудили к капитуляции византийский гарнизон в Реджо, калабрийском городе, с которого хорошо просматривалась Сицилия на другом берегу Мессинского пролива. Теперь единственным итальянским городом в руках греков оставался Бари, слишком далеко расположенный на Адриатике, чтобы причинять беспокойство. Препятствия отсутствовали, папа дал свое благословение, Западная и Восточная империи не имели сил вмешаться. Даже ситуация на самой Сицилии как будто благоприятствовала вторжению: во многих районах острова население было христианским – пусть и православным – и потому наверняка встретило бы захватчиков как освободителей.

Что касается мусульман, те по праву считались отважными воинами, но они сильнее прежнего погрязли во внутренних междоусобицах. Все выглядело так, словно норманнское завоевание Сицилии будет быстрым и решительным.

На практике же понадобился тридцать один год – заметное отличие от завоевания норманнами Англии, случившегося шестью годами позже: в Англии на подавление сопротивления саксов ушло всего несколько месяцев. Затяжное покорение острова не следует приписывать исключительно доблести сарацин; скорее, во всем виноваты мятежные бароны Апулии, которые отвлекали Роберта и заставляли того расходовать на себя силы и ресурсы, в которых он отчаянно нуждался на Сицилии. При этом, как ни парадоксально, именно апулийские хлопоты превратили Сицилию впоследствии в блестящее, великолепно организованное королевство. Роберту приходилось уделять все больше и больше внимания событиям на материке, поэтому он все охотнее передоверял сицилийскую кампанию своему брату, и в конце концов Рогер потребовал официально признать его статус. В итоге произошло разделение владений Роберта, которое позволило Рогеру наконец-то избавиться от забот об Апулии и целиком сосредоточиться на управлении отвоеванным у сарацин островом.

Десятого января 1072 года братья официально вступили в Палермо. Но покорение острова оставалось по-прежнему мечтой, далекой от исполнения. Независимые эмираты в Сиракузах и Трапани продолжали войну, однако, впрочем, окончательное их «усмирение» отныне представлялось лишь вопросом времени. Роберт Гвискар, будучи герцогом Сицилийским, утвердил свой сюзеренитет над островом, но события на материке не позволяли ему задерживаться на Сицилии; посему он оставил вместо себя Рогера, наделив того титулом великого графа. Сицилию ожидали грандиозные преобразования. С первой половины девятого столетия она пребывала (почти полностью) в руках мусульман, служила таким форпостом ислама, откуда налетчики, пираты и искатели приключений оказывали неустанное давление на южные оплоты христианского мира. На протяжении 250 лет, вместе и по отдельности, обе великие империи тщетно стремились покончить с этой угрозой; Роберту и Рогеру с горсткой (в сравнении с имперскими силами) последователей удалось уложиться в десятилетие. Кроме того, завоевание норманнами Сицилии, заодно с совпавшим по времени началом Реконкисты в Испании, стало первым шагом в великом христианском походе против мусульман, захвативших ранее территории Южного Средиземноморья; позднее на этом основании возникнет колоссальная, хоть и в конечном счете безуспешная, эпопея Крестовых походов.

Роберт Гвискар больше не возвращался на Сицилию. Рогер, со своей стороны, был вполне доволен тем, что правит островом самостоятельно. Он воспринимал остров совершенно иначе, чем его брат. Для Роберта Сицилия была только новым ярким бриллиантом в короне, территориальным расширением владений на Апеннинском полуострове, зачем-то отделенным от прочих полоской морской воды. Но для Рогера этот узкий пролив, защищавший остров от вечных склок Южной Италии, сулил возможности, выходявшие далеко за пределы всего, что мог предложить материк. Первой задачей было утвердить и укрепить норманнское правление; имея под своим началом лишь несколько сотен воинов, он понимал, что может добиться этого, только убедив мусульман добровольно принять новые порядки. Следовательно, ему были необходимы, прежде всего, терпение и сочувствие. Мечети – исключая бывшие христианские церкви, которые освятили заново, – оставили открытыми, и правоверным нисколько не возбранялось в них молиться. Соблюдение исламских законов по-прежнему гарантировалось местными судами. Арабский объявили государственным языком на равных основаниях с латынью, греческим и норманнским французским. Что касается управления на местах, многие провинциальные эмиры сохранили свои посты. Нигде норманны не демонстрировали той жестокости, которая была столь характерна для завоевания ими Англии. И потому на большей части острова угрюмое недовольство завоеванных постепенно сходило на нет, а Рогер мало-помалу заручался

доверием новых подданных; многие из тех, кто бежал в Африку или в Испанию, вернулись через год или два на Сицилию и возобновили свои прежние занятия.

Зато новые подданные-христиане доставляли великому графу куда больше проблем. Энтузиазм, с которым сицилийские греки приветствовали своих освободителей, быстро выветривался. Да, франкские рыцари могли нашивать крест Христов на свои знамена, однако большинство из них оказалось намного менее цивилизованными, чем оккупанты-мусульмане. Вдобавок на Сицилию хлынули латинянские священники и монахи, вызывавшие отвращение и отторжение у православных. Эти новоприбывшие отстаивали презренную латинянскую литургию. Они утверждали, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, а не от одного Отца. Они крестились четырьмя пальцами слева направо, а не справа налево. Хуже всего, они присвоили себе некоторые греческие церкви, которые приспособили для собственных нужд.

Греки уже получили формальные гарантии того, что их язык, культура и традиции не понесут урона, однако этого было явно недостаточно. Рогер осознал, что теперь надлежит оказать им материальную помощь в виде восстановления их церкви. Он предоставил православной общине средства на постройку храмов и монастырей, а вскоре лично заложил первый камень в основание новой базилики^[53] – первой из четырнадцати, что ему предстояло построить или реконструировать до конца жизни. Так, с самых первых дней в Палермо, великий граф начал закладывать основы мультинационального и многоязычного государства, в котором норманны, греки и арабы, при крепком централизованном управлении, будут следовать собственным культурным традициям свободы и согласия. На это неизбежно требовалось время. Очаги сопротивления сохранялись. Понадобилось добрых семь лет после падения Палермо, чтобы часть Сицилии к северу от линии Агридженто – Катания признала норманнов в качестве сюзеренов – и даже тогда могучая крепость Энна продолжала держаться.

А еще оставались Сиракузы. 25 мая 1085 года, в ходе морского сражения у входа в гавань – именно там корабли сиракузян уничтожили афинский флот почти пятнадцатью веками ранее – местный эмир попытался взять на абордаж флагман Рогера. Раненный в бою, эмир прыгнул за борт и утонул под тяжестью своих доспехов. Но город не захотел сдаваться и противостоял норманнам целых пять месяцев (так совпало, что за этот период Роберт Гвискар умер от тифа у берегов Кефалонии, ведя корабли к Константинополю). Лишь к октябрю сопротивление сарацин удалось наконец сломить. В июле 1086 года пал Агридженто, после четырех месяцев осады, и осталась только Энна.

Несколько недель спустя Рогер явился под стенами крепости и пригласил правителя Энны эмира Ибн Хамуда на переговоры. Как он и ожидал, Рогер обнаружил, что эмир готов капитулировать, но не знает, как это осуществить, не потеряв лица. Великий граф к тому времени уже слишком долго прожил среди мусульман, чтобы отмахнуться от подобного вопроса, и решение вскоре было найдено. Через несколько дней эмир покинул крепость во главе своих войск и повел отряд в узкое ущелье; стоило арабам втянуться в этот проход, как их окружили гораздо более многочисленные норманнские силы, и окруженным пришлось сдаться. Как ни удивительно, никто не погиб. Победители затем направились к самой крепости, и Энна, лишившаяся эмира и его войска, поспешила уступить. Предположительно в благодарность Рогеру Ибн Хамуд позже окрестился и поселился в Калабрии, в поместье, выделенном Рогером, где и провел последние годы жизни, счастливо и в манере, к которой привык, как и подобало аристократу, будь тот мусульманином или христианином.

Таким вот образом Рогер Сицилийский стал в последнее десятилетие одиннадцатого века величайшим правителем юга, куда более могущественным, чем любой правитель материковой части Италии, включая папу. О его личности и частной жизни мы знаем возмутительно мало – кроме того, пожалуй, что он обладал в полной мере плодородием Отвилей. Сохранившиеся сведения говорят о по крайней мере тринадцати детях; более

вероятно, что их было семнадцать, от различных матерей, на трех из которых Рогер последовательно женился; но этот список вряд ли можно признать исчерпывающим. Как бы то ни было, когда он умер 22 июня 1101 года, у него насчитывалось всего двое законных наследников мужского пола – оба от его третьей жены, Аделаиды Савонской, и родились, когда отцу было уже за шестьдесят. Старший из наследников, Симон, умер через три месяца после отца, в возрасте двенадцати лет; в итоге молодой Рогер, которому тогда было семь или восемь лет, наследовал отцу в качестве великого графа Сицилии. Семь лет спустя (за этот срок его мать показала себя чрезвычайно умелой правительницей-регентом) он вступил в полномочия.

К тому времени остров уже нисколько не напоминал ту тихую заводь, которой был полвека назад. Экономика переживала взрывной рост. Пролив, впервые за многие столетия, оказался безопасным для христианского судоходства; Мессина и Сиракузы процветали; купцы со всех уголков Средиземноморья заполняли улицы и базары Палермо. Внезапно Сицилия сделалась во всех отношениях центральным островом Средиземного моря. Рогер был верен в том, что и его политическое влияние должно увеличиться пропорционально; что он сам, подобно Роберту Гвискару, должен занять достойное место среди князей Европы – а также правителей Африки и Азии.

В 1128 году он реализовал первую часть своего великого замысла – присоединил два норманнских герцогства на Апеннинском полуострове, с согласия и благословения папы Гонория II в Беневенто. Теперь наконец, как и в дни Гвискара, Апулия, Калабрия и Сицилия объединились под властью одного правителя. А самому правителю едва исполнилось тридцать два. Второй шаг, однако, представлялся более сложным, ведь Рогеру отчаянно требовалась королевская корона. Это желание не имело ничего общего с личным тщеславием: Рогер стремился объединить все владения норманнов на юге в одну державу. Далее сохранять раздельные идентичности трех норманнских государств означало поощрять раскол и распад; а если эти провинции станут единым государством, данное государство с полным основанием может притязать на статус королевства. Более того, если он не станет королем, как ему вести на равных переговоры с другими правителями Европы и Востока? Внутренние обстоятельства тоже сподвигали на шаги в этом направлении. Рогеру был нужен титул, который поставит его выше старших вассалов, князей Капуи и Бари, титул, который обеспечит верность подданных более крепкую, нежели та, на какую вправе претендовать обычный герцог. При том папа остается и всегда будет высшим сюзереном, и Рогер прекрасно понимал, что не может присвоить себе корону без папского благословения.

Он никогда, возможно, не добился бы своей цели, не случись того, что, должно быть, показалось ему знаком небес. Речь об оспаривании папского престола. К началу февраля 1130 года стало ясно, что Гонорий II умирает. Его очевидным преемником был кардинал Пьетро Пьерлеони, иудей по происхождению, обладавший, впрочем, безукоризненным профессиональным опытом: он много лет подвизался монахом в Клуни, прежде чем сделаться папским легатом во Франции и в Англии (в последнюю, ко двору короля Генриха I, он прибыл с вызвавшей изумление своим великолепием свитой). Но у кардинала, естественно, имелись и враги, во главе с канцлером курии, кардиналом Аймери, который, нарушая все приличия и правила, ибо тело Гонория еще не остыло, заманил другого кардинала, некоего Грегорио Папарески, в Латеранский собор и там провозгласил его папой Иннокентием II. Почти одновременно около двух десятков кардиналов объявили эту процедуру неканонической (каковой она, разумеется, и была) и приветствовали кардинала Пьерлеони как верховного понтифика под именем Анаклета II. На рассвете дня святого Валентина в 1130 году Рим остался без папы, но к полудню их было уже двое.

В Вечном городе популярность Анаклета была подавляющей; к апрелю Иннокентию пришлось бежать из Рима. В Северной Европе, однако, именно Иннокентий пользовался крепкой поддержкой, тем более что за ним стоял могучий союзник, выдающийся духовный лидер двенадцатого столетия святой Бернар Клервоский. Имея такую опору, Иннокентий

вполне мог позволить себе выжидать, в отличие от Анаклета, который выбрал единственно возможный курс: подобно ряду других пребывавших в отчаянии пап в прошлом, он обратился к норманнам. В сентябре он встретился с Рогером в Авеллино, где стороны переговоров быстро пришли к согласию. Герцог пообещал Анаклету свою полную поддержку, а взамен потребовал королевскую корону. Для Анаклета преимущества этого решения были очевидными. Если, что выглядело вполне вероятным, герцог окажется его единственным союзником, явно желательно максимально укрепить герцогские позиции. 27 сентября 1130 года в Беневенто Анаклет опубликовал буллу о предоставлении Рогеру и его наследникам королевской короны Сицилии, Калабрии и Апулии.

Так король Рожер II Сицилийский – короля Рожера I не было – принял королевский венец на Рождество 1130 года в соборе Палермо. Сицилия вступила в свой золотой век.

Новое государство, третье по величине королевство Европы, не могло и желать лучшего правителя. Рожденный на юге матерью-итальянкой, получивший образование в наполненной подготовкой к государственным заботам юности у греческих и арабских наставников, Рожер вырос в космополитической атмосфере терпимости и взаимного уважения, созданной его отцом, и на уровне инстинкта, если угодно, понимал сложную систему сдержек и противовесов, от которой зависела внутренняя стабильность страны. В нем было мало черт норманнского воина. Он не обладал ни одним из тех воинственных качеств, которые принесли славу его отцу и дядьям и всего за одно поколение прославили захудалый норманнский баронский род по всему континенту. Зато лишь один среди всех братьев Отвилей, отец Рожера, стал настоящим государственным деятелем. Другие так и остались бойцами и людьми действия до конца своих дней. Рожер II отличался от них. Несмотря на то (или, быть может, именно поэтому), что он провел большую часть первого десятилетия в статусе короля, мужественно сражаясь на материке, и сполна хлебнул разочарований, предательств и поражений, он ненавидел войну и старался избегать ее, если это представлялось возможным. По внешнему виду южанин, по темпераменту житель Востока, он унаследовал от своих предков-норманнов только неутомимую активность и амбиции, к которым присовокупил дар дипломата, выпестованный им самим; вот эти качества, а отнюдь не доблесть на поле боя, позволили ему объединить юг в составе одного королевства.

Норманнские бароны в Апулии и Калабрии постоянно доставляли Рожеру и его преемникам проблемы. Они принадлежали к «продуктам» старой феодальной системы и не видели ни малейших оснований подчиняться выскочкам-Отвилям. Двор в любом случае находился далеко, и потому бароны во многом вели себя, как им заблагорассудится. Рожер ненавидел их, прежде всего за то, сколько сил и средств уходит на поддержание хотя бы подобия порядка. На Сицилии все было намного проще. По контрасту, остров не знал феодализма, жизнь определялась необходимостью проявлять религиозную и этническую терпимость и уважение. Каждый народ получал от правителя задачи в соответствии со своими сильными и слабыми сторонами. Достаточно быстро установилась традиция, согласно которой флотом всегда командовал грек, поскольку греки считались умелыми мореходами^[54]. А вот государственными финансами управляли арабы, очевидно превосходившие прочих в математике.

Что более всего удивительно, эти политические принципы нашли свое отражение в искусстве и архитектуре так называемого норманнского периода. Пожалуй, самые характерные и легко опознаваемые признаки такого «смешения» – явно мавританские по стилистике оранжевые с багрянцем купола, венчающие несколько храмов, в особенности купола соборов Сан-Джованни дельи Эремити (Святого Иоанна-отшельника) и Святого Катоальдо в Палермо. Если проехать в восточном направлении вдоль северного побережья острова до Чефалу, там обнаружится изысканный собор, строительство которого Рожер начал в 1131 году; работы длились семнадцать лет. Там, высоко над восточной апсидой, красуется огромная мозаика Христа Пантократора, то есть Вседержителя; для многих из нас

это наиболее возвышенное изображение Искупителя во всем христианском искусстве. Стиль мозаики безоговорочно византийский; подобное чудо были способны сотворить только выдающиеся греческие мастера, наверняка приглашенные Рожером из Константинополя.

Прекрасные греческие мозаики также открываются зрителю в церкви Мартораны (Санта-Мария-дель-Аммиральо) в Палермо. Этот храм возвел величайший сицилийский флотоводец Георгий Антиохийский, освятивший церковь в 1143 году. Увы, храм лишился своего первоначального облика: главную апсиду, со всеми мозаиками, снесли в 1683 году и заменили фресками на *capellone*^[55], уродство которой не смогли скрыть все усилия реставраторов девятнадцатого столетия; еще в семнадцатом веке зачем-то перестроили западную часть церкви. В остальном, однако, старая церковь Георгия уцелела и сохранила свой план; во многом она до сих пор выглядит так, как выглядела в день первого освящения. Мозаики дышат тихой красотой, лучшие среди них – сцены Благовещения, Рождества, введения в храм и Успения Богородицы.

Вверху несложно различить узкий деревянный фриз, который тянется вдоль основания купола под ногами поющих славу Господу архангелов. После столетий пребывания во мраке этот фриз был заново открыт в ходе реставрационных работ в конце девятнадцатого века; на нем обнаружился фрагмент надписи – старого византийского гимна Богородицы. Поскольку Марторана – греческая церковь, в этом нет ничего удивительного, но дело в том, что надпись – на арабском языке. Возможно, Георгий Антиохийский по каким-то причинам особенно высоко ценил этот гимн и повелел запечатлеть его на языке, на котором услышал данные слова впервые, в своем сирийском отрочестве?

В Марторане есть два портрета, оба написаны с живых людей. Первый, на смотрящей на запад стены на северной стороне нефа, около входа, изображает основателя храма, Георгия Антиохийского. Состояние портрета оставляет желать лучшего. Флотоводец, человек восточного облика и старше своих лет, простерся ниц перед Богородицей. Голова Георгия сохранилась с древности, притягивающая взгляд фигура Богородицы почти не пострадала от времени, но вот тело флотоводца имеет отчетливые следы повреждений, а неумелая реставрация придала Георгию подобие черепахи. Куда лучше смотрится изображение на южной стене, где взору предстает сам король Рожер, символически венчаемый на правление Христом. Он стоит, слегка подавшись вперед, этакая сугубо византийская фигура в длинной накидке и столе; корона и драгоценные подвески заставляют вспомнить константинопольские реликвии; даже руки Рожер поднимает от локтей, как принято у молящихся греков. Над головой короля большие черные буквы на золотом фоне объявляют его РОГЕРИОС РНΞ, то есть «королем Рожером», *Rogeros Rex*. Это бескомпромиссное использование греческого алфавита ради отображения латинского словосочетания менее любопытно, чем может показаться; во времена Рожера обычно по-гречески короля называли базилевсом, но это слово настолько прочно ассоциировалось с византийским императором, что его употребление было попросту немыслимо в данном контексте. Но все же простая транслитерация оказывает воздействие на зрителя, особенно когда замечаешь арабскую надпись на соседней колонне; она словно передает самый дух норманнской Сицилии.

Это тоже прижизненный портрет, единственное сохранившееся изображение короля, которое мы можем смело признать подлинным. На нас смотрит смуглокожий мужчина на пороге среднего возраста, с густой бородой и длинными волосами, что волной ниспадают ему на плечи. Само лицо можно назвать греческим – или итальянским; впрочем, в чертах проглядывает и нечто семитическое. Вряд ли можно отыскать изображение, менее соответствующее традиционному представлению о норманнских воинах. Конечно, всегда опасно «вычитывать» слишком многое из портретов; но даже в столь «духовных» и формализованных картинах наподобие мозаик из Мартораны обнаруживаются некие малые подробности, некие вдохновляющие «штришки», бесконечно крохотные детали, которые словно оживляют короля Рожера. Мы, безусловно, видим перед собой южанина и уроженца Востока, правителя тонкого ума и безграничной изворотливости; государственного

деятеля, для которого дипломатия, сколь угодно затейливая, является более естественным оружием, чем меч, и для которого золото, пускай развращающее, более эффективная валюта, чем кровь. Еще перед нами покровитель наук, любитель искусств, а также интеллектual, не чуждый глубоких размышлений о науке управления, правящий умом, а не сердцем; идеалист, лишенный фантазий; деспот, от природы справедливый и милосердный, узнавший, к своему великому сожалению, что даже милосердие порой следует смягчать во имя правосудия.

Можно было бы далее упомянуть бесчисленное множество других памятников эпохи Рожера, но все-таки эта книга – история, а не путеводитель. Придется ограничиться теми, которые имеют историческую значимость, и среди них особняком стоит Палатинская капелла. Когда Роберт Гвискар и его брат пробивались с боями к арабскому Палермо, они разместили свою «штаб-квартиру» в старой сарацинской крепости, которую отремонтировали и укрепили и которая стала со временем не только резиденцией правительства, но и королевским дворцом. Уже в 1129 году, еще до того, как сделаться королем, Рожер приступил к строительству личной часовни на верхнем уровне – с видом на внутренний двор. Работа шла медленно, но в Вербное воскресенье 28 апреля 1140 года часовню освятили во имя святого Петра и формально предоставили ей привилегии, соответствующие палатинскому статусу^[56].

Именно в этом здании гораздо более явно, чем где-либо еще на Сицилии, мы наблюдаем визуальное воплощение политического чуда норманнской Сицилии – мнящееся совершенно естественным слияние всего лучшего в латинской, византийской и исламской традициях в невероятно гармоничном шедевре. Формой капелла представляет собой западную базилику, с центральным нефом и двумя боковыми проходами, разделенными рядами античных гранитных колонн, причем каждая богато украшена позолоченными коринфскими капителями; взор притягивают пять ступеней, которые ведут к хору. Тоже западный, однако побуждающий вспомнить юг пол обильно инкрустирован с яркими мозаиками в стиле Космати^[57], как и ступени, балюстрада и нижние фрагменты стен, не говоря уже об огромном амвоне (золото, малахит и порфир), по бокам которого высятся гигантские пасхальные подсвечники, настоящий бестиарий из белого мрамора пятнадцати футов высотой.

Но если поднять голову и взглянуть на мозаику, благодаря которой вся часовня будто купается в золоте, мы снова окажемся лицом к лицу с Византией. Некоторые мозаичные изображения, увы, погибли; другие были радикально – и в некоторых случаях, как в нижней части центральной апсиды и в двух боковых апсидах – непоправимо реконструированы. Но изображение Пантократора – благословляющее с купола, в окружении ангелов, словно окутывающих Христа своими крыльями, и четырех евангелистов, склонившихся над Священным Писанием, – настолько однозначно византийское, что им гордилась бы любая церковь в Константинополе. Над хором множество греческих надписей, сообщающих о дате изготовления мозаик; напротив, Богородица в северном трансепте, сцены из Ветхого Завета в нефе и сцены из жизни святых Петра и Павла в боковых проходах были, вероятно, добавлены при Вильгельме I, примерно двадцать лет спустя после смерти отца нового короля. Латинские надписи и явное предпочтение, отдаваемое латинским святым, показывают, что Вильгельм привлекал местных художников, предположительно – итальянских учеников первоначальных греческих мастеров. Другие итальянцы, конца тринадцатого столетия, несут ответственность за Христа на троне на западной стене и за фигуры святых Григория и Сильвестра на арке пресбитерия; эти изображения бесцеремонно добавили в анжуйский период вместо раннего портрета самого Рожера.

Одного этого почти антифонного «взаимодействия» латинского и византийского стилей в столь изысканном «обрамлении» было бы вполне достаточно, чтобы обеспечить Палатинской капелле особое место среди культовых сооружений мира; однако Рожер на том не остановился. Две великих культурных традиции его королевства получили отражение в

ослепительной красоты творении, но как быть с третьей? Речь о сарацинах, наиболее многочисленной группе населения среди островных подданных, группе, чья лояльность была непоколебима – в резком контрасте с верностью соотечественников-норманнов – более полувека, чья управленческая эффективность в значительной степени гарантировала процветание королевства и чьи мастера и ремесленники прославились на трех континентах? Посему часовню дополнительно украсили, образно выражаясь, пламенеющим венцом, несомненно, самым неожиданным завершением для любой христианской церкви на земле – сталактитовым потолком из дерева в классическом исламском стиле; такие потолки не редкость для мечетей Каира и Дамаска. В часовне потолок затейливо украшен самой ранней из сохранившихся до наших дней «коллекцией» арабских картин, причем картин содержательных.

Наконец, бродя по этому изумительному зданию, нельзя не вспомнить о дате его постройки. Середина двенадцатого столетия – ровно сто лет после Великого Раскола между восточной и западной церквями, которые везде и всюду продолжали враждовать. Это вдобавок эпоха Крестовых походов: пока арабские мастера короля Рожера создавали великолепный потолок часовни, христиане и мусульмане убивали друг друга по всему Леванту. Но здесь, на острове в центре Средиземного моря, три великие цивилизации сошлись вместе и трудились в гармонии и согласии, как никогда ранее – и никогда после. Норманнская Сицилия – это урок для всех нас.

Что касается двора короля Рожера, тот был безусловно самым блестящим двором двенадцатого столетия в Европе. Сам король славился своей поистине неутолимой интеллектуальной любознательностью и уважением к знанию, столь уникальным среди его собратьев-правителей. К 1140-м годам он пригласил в Палермо многих выдающихся ученых и исследователей, врачей и философов, географов и математиков Европы и арабского мира; с годами король проводил все больше и больше времени в их компании, причем ему не составляло труда обосновать собственное мнение в обсуждениях, будь то на французском, латинском, греческом или арабском языках.

В математике, как и в области политики, глубина его учености не поддается описанию. Нет никаких пределов и его познаниям в науках, ибо он изучил их глубоко и проникся их мудростью. Он совершил дерзкие открытия и придумал изумительные изобретения, каких прежде не совершал и не придумывал ни один принц.

Эти слова принадлежат Абу Абдуллаху Мухаммаду ал-Идриси, близкому другу Рожера и человеку, который среди всех придворных ученых более всего восхищал правителя. Ал-Идриси прибыл в Палермо в 1139 году и провел на Сицилии большую часть своей жизни, на протяжении пятнадцати лет возглавлял «королевскую комиссию» для сбора географических сведений по всему миру, дабы сопоставить эти сведения, изложить их в упорядоченной форме и таким образом в конечном счете составить компендиум, который будет содержать «сумму» всех современных знаний о физическом мире. Сицилия, лежавшая на пересечении трех континентов, остров, порты которого кишели купцами, космополитическая не менее любого другого уголка Европы, виделась идеальным местом для подобного труда, за эти пятнадцать лет едва ли какому кораблю удавалось зайти в Палермо или Мессину, в Катанию или Сиракузы без того, чтобы капитана и команду не расспросили обо всех регионах, где им довелось побывать, о физических особенностях, климате и местном населении.

Результаты этой работы, завершенной в январе 1154 года, приблизительно за месяц до кончины короля, сложно переоценить. Во-первых, была построена огромная планисфера из серебра весом не менее 450 римских фунтов^[58] (на нее нанесли «расположение семи климатов с указанным местоположением областей, стран, морских побережий, равно ближних и дальних, заливов, морей и водотоков; расположение пустынь и возделанных

земель и соответствующих расстояний между ними по обычным торговым путям, в милях или в иных известных мерах; а также назначение портов». Увы, планисфера была уничтожена в ходе беспорядков при следующем короле, всего через несколько лет после ее создания.

Зато второй – возможно, наиболее ценный – плод трудов ал-Идриси дошел до нас во всей своей полноте^[59]. Это книга, надлежащим образом именуемая «Отрада страстно желающего пересечь мир», но обычно коротко называемая просто «Книгой Рожера»; это величайшее географическое сочинение Средневековья. На самой первой странице мы читаем:

Земля кругла, как шар, и воды прилипают к ней и удерживаются на ней благодаря естественному равновесию, которое не подвержено изменениям.

Как и можно ожидать, «Книга Рожера» содержит в себе твердо установленные топографические факты – многие из них удивительно точны для исследования, проведенного за три с половиной столетия до Колумба, – и откровенные «байки путешественников»; впрочем, и последние заставляют предполагать, что они подвергались суровой критической оценке. Об Англии мы читаем:

Англия лежит в Океане Тьмы. Это остров немалых размеров, форма которого походит на голову страуса, и там есть богатые города, высокие горы, крупные реки и равнины. Эта земля весьма плодородна; ее жители смелы, охочи до дел и предприимчивы, но все они изнемогают под гнетом вечной зимы.

Хотя придворный круг ученых Рожера отнюдь не полностью состоял из мусульман наподобие ал-Идриси, правоверные, по всей видимости, образовывали самую многочисленную группу; а среди европейцев было наверняка немало тех, кого привлекал в Палермо именно этот «привкус» арабского знания и арабской культуры. В отличие от христианства, ислам никогда не проводил различия между священным и мирским знанием. В Средневековье, когда римская церковь опасалась и даже активно препятствовала светским исследованиям, ученые мусульмане вспоминали, как сам Пророк заповедал им: «Того, кто вступил на путь поиска знаний, Аллах наставляет на путь, ведущий в рай». Мусульманская цивилизация, что давно признавал даже Запад, намного опережала в развитии христианскую Европу. Особенно это касалось математики и физических наук, где арабский стал ведущим языком.

Тем не менее это был дьявольски трудный язык для изучения, и в Северной Европе, во всяком случае, умелых учителей явно не доставало. Поэтому на протяжении минимум полувека люди наподобие Аделарда Батского – пионера арабистики в Англии и величайшего светоча английской науки в ряду между Робертом Гроссетестом^[60] и Роджером Бэконом – отправлялись в Испанию и на Сицилию, чтобы раскрыть, как они надеялись, секреты мусульманского мира. Многие выбирали мусульманскую Испанию, но для других Сицилия обладала одним неоспоримым преимуществом: в культурном отношении она все еще оставалась в существенной степени частью арабского мира, а также поддерживала постоянный контакт с греческим востоком. В библиотеках Палермо, не говоря уже о базилианских монастырях на острове и в Калабрии, ученые могли отыскать греческие оригиналы произведений, известных в Испании только в отрывках или в переводах сомнительной точности. Сегодня мы склонны забывать, что до тринадцатого (или даже до четырнадцатого) столетия Западная Европа пребывала практически в полном неведении о греческом мире; Сицилия короля Рожера сделалась главным из «эллинских» исследований за пределами самой Византии. Но в Византии арабская культура была неизвестна, и византийцы арабам не доверяли. Лишь на Сицилии обе цивилизации оказывались доступными для изучения, как говорится, из первых рук.

О смерти короля Рожера известно мало – только день, когда все случилось, 26 февраля 1154 года. Что касается причин, Гуго Фальканд, величайший из хронистов норманнской Сицилии, чья история начинается со следующего короля, говорит только об «изнеможении от непосильных трудов и преждевременного наступления старости вследствие пристрастия к удовольствиям плоти, каковых он не чурался, забывая следить за собственным здоровьем». Несмотря на изложенное подданным желание быть похороненным в Чефалу, огромную гробницу из порфира установили в соборе Палермо. Ее открывали неоднократно, чтобы продемонстрировать тело усопшего короля, – в королевской мантии и столе; на голове у него была диадема с жемчужными подвесками, как на портрете в церкви Марторана. Таков был последний жест Рожера в сторону Византии, империи, которую он ненавидел, но концепцию монархии которой принял как свою собственную.

Когда он умер, ему было всего пятьдесят восемь. Проживи он еще пятнадцать лет, его страна, возможно, обрела бы ту национальную идентичность, которую он столь упорно пытался создать, и вся история Южной Европы, возможно, оказалась бы иной. Несколько лет после кончины Рожера норманнская Сицилия продолжала распространять свое влияние и авторитет от Лондона до Константинополя, а культурный блеск двора в Палермо оставался незамутненным и не имел аналогов в Европе. Но внутренняя «ткань» государства уже начинала распадаться, и в правление Вильгельма Злого королевство, сохраняя видимость былого великолетия, стало медленно клониться к упадку.

Глава 5

Гибель королевства

Новый король Вильгельм (Гильом) Злой в целом не заслуживал такого прозвища. По правде говоря, он удостоился его почти через двести лет после смерти – главным образом, вследствие двух бед, с которыми так и не сумел справиться. Первой бедой был его отец, Рожер II, который всегда затмевал собой сына; второй оказался ведущий хронист времен Вильгельма, Гуго Фальканд, ненавидевший короля и поливавший его грязью при каждом удобном случае. Внешность Вильгельма также была против него. К сожалению, портретов не сохранилось, однако в исторических хрониках король описывается как человек огромного роста, «чья густая черная борода придавала ему дикие и страшные черты и вселяла страх в сердца многих людей». Подобный облик в сочетании с поистине геркулесовской физической силой – он разгибал две сложенных вместе подковы голыми руками – отнюдь не способствовал популярности Вильгельма.

Между ним и тронном стояло трое старших братьев, и его никогда не готовили к будущему величию; а когда преждевременная смерть братьев обрушила на его плечи это бремя в возрасте тридцати лет, Вильгельма фактически застали врасплох. Ленивый любитель удовольствий, он посвящал большую часть своего времени тем занятиям, которым Рожер предавался лишь в редкие часы отдыха, – обсуждению искусств и наук с интеллектуалами, которые его окружали, и флирту с женщинами в дворцах, что облегали Палермо, будто ожерелье. Женившись в ранней юности на Маргарите, дочери короля Гарсии IV Рамиреса Наваррского, он после восшествия на престол не выказывал видимого интереса ни к супруге, ни к четырем сыновьям, которых та ему родила. Даже больше, чем отец, он был человеком Востока, вел жизнь, напоминавшую, скорее, уклад восточного султана, а не европейского короля; в его личности очевидна та же самая комбинация чувственности и фатализма, какая характерна для столь многих восточных правителей. Он никогда не принимал решения, если мог избежать этой необходимости, никогда не брался за проблему, если имелся хотя бы малейший шанс, что та, при достатке времени, уладится сама собой. Впрочем, начиная все-таки действовать, он добивался поставленных целей со свирепой, даже демонической страстностью.

На протяжении десяти лет до его коронации страна наслаждалась внутренним спокойствием; однако многие норманнские бароны, особенно в Апулии, еще продолжали сопротивляться королевской власти. Другие, решившие связать свою судьбу с королем, тянулись в столицу в надежде получить власть или какую-либо привилегию, но неизменно разочаровывались. Недоверие Рожера к соотечественникам сохранялось до последних дней жизни монарха. Высокомерные, малограмотные, корыстолюбивые, говорившие исключительно на собственном языке, они категорически не годились для ответственных должностей в централизованном государстве; вдобавок положение вассалов не предусматривало получения крупных земельных наделов на острове. Потому они были вынуждены наблюдать, как греки, итальянцы и сарацины – часто незнатного происхождения, представители народов, которые норманны презирали, – достигают самых важных высот и отличий; разумеется, это не могло не вызывать недовольства. Рожер, после многих лет борьбы, в конечном счете добился от норманнов сдержанного уважения; но теперь, когда его железная хватка разжалась, угроза внутренних неприятностей сделалась вполне реальной.

И беда не заставила себя ждать. Бароны нашли себе нового вожака. Роберт из Лорителло приходился королю двоюродным братом и был, так сказать, образцом недовольного аристократа; когда в 1155 году к нему прибыл эмиссар из Константинополя, некий Михаил Палеолог, с предложением объединить усилия и прогнать короля Вильгельма из Апулии – а лучше из всей Южной Италии, – он сразу согласился. Первой целью заговорщиков стал Бари; маленький сицилийский гарнизон сражался мужественно, однако вскоре воинам пришлось сдаться. Весть о падении города усугубилась потоком слухов о смерти Вильгельма (король действительно тяжело заболел); в итоге ослабел боевой дух прибрежных городов, и те капитулировали один за другим. В сентябре в действие вступило королевское войско из 2000 рыцарей и значительного контингента пехоты; состоялось генеральное сражение, которое завершилось поражением «роялистов». К началу зимних дождей вся Апулия очутилась на грани распада.

Папой на ту пору был Адриан IV, урожденный Николас Брейксспир, единственный англичанин, когда-либо занимавший престол святого Петра. Он не испытывал никакой любви к грекам, но все же предпочитал их сицилийцам; поэтому, получив письмо от Палеолога с предложением пойти против Вильгельма и передать Византии за 5000 золотых три прибрежных города в Апулии, папа охотно согласился. Ведь открылась возможность, подобной которой могло больше не представиться. Адриана также воодушевлял энтузиазм, с которым многие изгнанные ранее апулийские вассалы, узрев шанс восстановить былые права, вызвались признать папу своим законным сюзереном в обмен на поддержку Святого престола.

К началу 1156 года вся Кампания и большая часть северной Апулии находилась в руках византийцев и папистов; Михаил Палеолог, устранив несколько малых очагов сопротивления, мог бы поздравить себя с успехом, значительно превосходившим тот, на который он смел надеяться. Всего за полгода ему удалось восстановить византийскую власть на Апеннинском полуострове и почти полностью вернуть ситуацию полуторавековой давности, до наступления норманнов на византийскую^[61] Ломбардию и оккупации этой области. На материке враги сицилийского короля подчинялись указаниям из Византии везде, кроме Калабрии, а последняя хранила верность Вильгельму лишь потому, что еще не подверглась нападению. В любом случае, казалось, очень скоро весь юг Италии признает господство Константинополя. Вильгельм Сицилийский будет разгромлен, а его одиозное королевство уничтожено.

Однако самоуверенность чревата катастрофой. С приходом весны Вильгельм оправился от своей болезни и внезапно осознал серьезность ситуации. Он был, как напоминает нам Фальканд, «человеком, который крайне неохотно покидал свой дворец; но когда обстоятельства к тому вынуждали, он, невзирая на собственное нежелание действовать в прошлом, бросался грудью на опасности, не столько мужественно, сколько из упрямства,

даже из безрассудства». Нельзя не отметить в очередной раз пристрастность хрониста, но при этом в его словах угадывается подобие восхищения. Итак, Вильгельм отдал распоряжения. Войску и флоту надлежало собраться в Мессине; предполагалась совместная операция, в ходе которой греков и их союзников рассчитывали атаковать одновременно с суши и с моря. В последние дни апреля войско переправилось на материк и двинулось на север через Калабрию, а флот пересек пролив и повернул на северо-восток, в сторону Бриндизи.

Когда до византийского «штаба» дошла весть о том, что сицилийцы во главе со своим королем наступают «грозным числом и силой», союзники греков начали разбегаться. Наемники, как это обычно бывало, использовали момент, чтобы потребовать радикального увеличения платы; получив отказ, они массово дезертировали. Роберт из Лорителло бежал, примеру вожака последовали его люди и большинство соотечественников. Сицилийский флот прибыл первым; затем, день или два спустя, подошло и войско. Последовала короткая и кровопролитная схватка; греков разбили наголову. Сицилийские корабли лишили врага всякой возможности бежать морем. В тот день, 28 мая 1156 года, все достижения византийцев в Италии за целый минувший год пошли прахом, словно их никогда и не случилось.

Вильгельм относился к пленным византийцам в соответствии с общепризнанными канонами рыцарского поведения, но вот к собственным мятежным подданным снисхождения не проявлял. Этот урок он усвоил от своего отца. Измена, особенно в Апулии, где ее впитывали буквально с молоком матери, была единственным преступлением, которое ни при каких условиях не заслуживало прощения. Из тех мятежников, которые попали ему в руки, наиболее удачливых заключили в тюрьму, а остальных казнили – кого повесили, кого ослепили, кого бросили в море с привязанным к ногам грузом. Из Бриндизи король двинулся к Бари. Менее чем за год до этого жители города добровольно примкнули к византийцам; теперь им предстояло заплатить за нарушение верности. Горожане простерлись перед королем, умоляя о пощаде, однако Вильгельм указал на груды камней на месте, где еще недавно высилась цитадель. «Вы не пощадили мой дом, – сказал он, – и я не стану щадить вас». Он дал им ровно двое суток на то, чтобы спасти свое имущество; на третий день Бари был разрушен. Уцелели только собор, большая церковь Святого Николая и несколько малых религиозных сооружений.

Лишь единственный человек теперь противостоял надвигающейся буре. Все союзники папы Адриана исчезли: Михаил Палеолог погиб, его войско было уничтожено; норманнские бароны либо сидели в темницах, либо ударились в бег. Сам Адриан слишком хорошо осознавал, что, если он хочет спастись от катастрофы, ему следует заключить соглашение с королем Сицилии. Двое правителей встретились в папском городе Беневенто и 18 июня 1156 года договорились о мире. В обмен на ежегодную дань папа согласился признать власть Вильгельма не только над Сицилией, Апулией, Калабрией и бывшим княжеством Капуя (заодно с Неаполем, Салерно, Амальфи и всеми окрестностями); теперь эта власть официально распространялась на весь северный Абруцци и на марки^[62]. Вильгельм, который вел переговоры с позиции силы, добился большего, чем выпадало его отцу и деду. Ныне он сделался одним из наиболее могущественных правителей Европы.

Однако всего за три года, что отделяли договор в Беневенто от смерти папы Адриана 1 сентября 1159 года, в судьбах трех главных героев этой истории произошли важные изменения. Положение изменилось принципиальным образом. Папство, будто бы поставленное на колени в Беневенто, заново открыло для себя (хотя минувшие сто лет должны были бы сделать это очевидным), что его единственная надежда на выживание в качестве весомой политической силы заключается в тесном союзе с соседом – норманнской Сицилией. Германский император Фридрих Барбаросса, пораженный и восхищенный быстротой и размахом побед Вильгельма над византийцами в Апулии, взирал на Сицилию с неприкрытой ненавистью, но не мог не отдавать должного победителю и потому принял

решение отложить на неопределенный срок карательную экспедицию на юг, которую уже давно планировал. Вместо этого Фридрих пошел походом против ломбардских городов и поселений Северной Италии, которая, формально относясь к имперским владениям, недавно продемонстрировала совершенно неприемлемое для императора стремление к республиканизму и независимости. Результатом похода стал невероятный парадокс: города Ломбардии начали воспринимать сицилийскую монархию – намного более абсолютистскую, чем любая другая монархия Западной Европы – как стойкого защитника своих республиканских идеалов и славить ее короля как поборника гражданских свобод (хотя еще не успела осесть пыль над руинами Бари). В конце концов они праздновали победу: 29 мая 1176 года немецкие рыцари Фридриха были разбиты при Леньяно силами Ломбардской лиги. С притязаниями императора на Ломбардию было покончено. В следующем году в Венеции Фридрих публично поцеловал ноги папе Александру у входа в собор Святого Марка, а шесть лет спустя в Констанце перемирие превратилось в мирный договор. Имперский протекторат технически сохранялся, но города Ломбардии (и до некоторой степени Тосканы) обрели известную самостоятельность в управлении.

Вильгельм вернулся на Сицилию в ореоле славы, его международная репутация была высока, как никогда; но вот последние годы его правления оказались несчастливими. Его «эмира эмиров» – таков был титул главного министра королевства – некоего Майона из Бари убили в 1160 году; в следующем году произошел дворцовый переворот, в ходе которого погиб юный сын и наследник короля, Рожер, а самому Вильгельму удалось спастись. Мятежи охватили большую часть Сицилии и распространились на Апулию и Калабрию; король, как всегда, лично возглавляя войско, отлавливал мятежников и карал их с отвратительной жестокостью. Хуже всего было то, что по возвращении на Сицилию в 1162 году он обнаружил, что христиане и мусульмане готовы грызть друг друга глотки; межконфессиональная гармония, которую с таким трудом строили оба Рожера, исчезла навсегда.

Четыре года спустя, 7 мая 1166 года, Вильгельм скончался в возрасте сорока шести лет. Он не был хорошим королем. Разумеется, наследовать Рожеру II было не так-то просто, и потому, пожалуй, неудивительно, что Вильгельм пытался спрятать вполне естественную неуверенность в собственных силах за грозным внешним видом и восполнить ошибки и промахи в управлении нарочитой демонстрацией безразличия и жестокости. Впрочем, в одном отношении он преуспел: как воин он намного превосходил своего отца – и хорошо это понимал. Будучи осажден в собственном дворце, оставленный друзьями и советниками, он показал себя именно тем, кем столь часто бывал – нерешительным и напуганным человеком; но едва он оказывался в поле, с войском за спиной, то сразу преображался. Когда разразился кризис, мужество и воинское мастерство короля спасли королевство.

Описанный контраст был для него весьма типичным. На протяжении всей своей жизни он оставался не уверенным в себе и часто менял решения; сегодня такого человека принято называть биполярным. Длительные периоды глубочайшей летаргии сменялись у него периодами неистовой, почти истерической активности. Он мог быть чрезвычайно жестоким, а в следующее мгновение проявлял почти невероятное милосердие. Не имея внутри себя какого-либо реального равновесия, он оказался не в состоянии поддерживать все эти тонкие политические балансы, на которых зиждилась безопасность королевства, – балансы между правителем и подданными, между аристократами и купечеством, между христианами и мусульманами.

И все же – был ли Вильгельм Злым? Представляется, что прозвище чересчур сурово по отношению к нему. Его никак не назовешь злым. Это был, как видится, глубоко несчастный человек, который видел в каждом новом дворце, который построил, и в каждом новом удовольствии, которым наслаждался, лишь очередное временное избавление от беспокойства духа. Возможно, прозвище «Печальный» подошло бы ему куда лучше. Увы, историю не перепишешь.

С юридической точки зрения проблем с наследованием не было никаких. Умиравший король ясно дал понять, что хочет передать корону своему уцелевшему сыну, тоже Вильгельму; поскольку же мальчику было всего двенадцать лет, его матери, королеве Маргарите, предстояло исполнять обязанности регента. Все казалось понятным и простым.

В день, назначенный для коронации, юный Вильгельм моментально завоевал сердца подданных. В отличие от своего отца, он был невероятно хорош собой. Когда в соборе Палермо на его голову возложили корону Сицилии и когда позже он ехал верхом по улицам в направлении королевского дворца, золотой венец сверкал на длинных золотистых волосах, унаследованных от предков-викингов, и подданные, как сообщается, «не могли сдержать свою радость». Тем не менее королева Маргарита сознавала, что ей придется немало постараться, чтобы сохранить свое положение. С одной стороны, ее нынешние советники все были людьми предыдущего режима. И все отличались богатством и могуществом. Пост главного министра занимал евнух-мусульманин по имени Господин («каид») Петр. Типичный клерк, государственный служащий, а не государственный деятель, он умело занимался делами, а его преданность королю и королевской семье не вызывала сомнений, как и лояльность великого протонотария^[63] Маттео д'Аджелло. Еще был двоюродный брат королевы, Гилберт из Гравины, вспыльчивый интриган, который ненавидел Петра и постоянно донимал Маргариту требованиями назначить его на место евнуха. Наконец, нельзя не упомянуть двух глубоко неприятных королеве англичан. Первый – это Ричард Палмер, епископ Сиракуз, самый даровитый из всех советников, но повсеместно нелюбимый за свое высокомерие и надменность; второй – его заклятый враг, различные «орфографические» маски которого (достаточно назвать лишь две – Офамил и Оффамильо) представляют собой не более чем отчаянные попытки сицилийцев передать фонетически обыкновенное английское имя Уолтер с Мельницы (of the Mill). Прибывший на Сицилию в качестве наставника королевских детей, он со временем стал каноником Палатинской капеллы – и в этой должности проявил себя еще более беспринципным и амбициозным, чем Палмер. Вскоре ему суждено было занять высшие политические и церковные должности на острове, достроить собор и стать единственным англичанином в истории, который имел право подписываться как «эмир и архиепископ».

Ни один из этих людей, очевидно, не являлся приемлемым в качестве главного советника королевы. Все они были эгоистами, руководствовались исключительно собственными целями, а не благом королевства; держались с Маргаритой весьма покровительственно, норовили запугать королеву или интригами склонить на свою сторону. Маргарите же требовался соотечественник, человек, думавший схожим образом и говоривший на ее языке; выбор в конце концов пал на молодого кузена по линии матери-норманнки – по имени Стефан дю Перш. Когда он высадился в Палермо на исходе лета 1166 года, для него это была лишь остановка на пути в Святую землю; но Маргарите не составило труда убедить кузена (посулами власти, почестей и богатства) отложить паломничество на неопределенный срок и разделить с нею бремя правления королевством. С самого начала Стефан показал себя способным и энергичным; что было важно – а на Сицилии такое почти не встречалось, – его как будто не интересовали мирские блага. Маргарита пришла в восторг. Спустя всего два месяца после прибытия на остров Стефан сделался канцлером.

Весть об этом назначении, как и следовало ожидать, вызвала бурю протестов. Стефан прибыл на остров в сопровождении тридцати семи спутников; в последующие месяцы многие другие приятели из Франции присоединились к нему; очень скоро королевский двор и ряд государственных служб Сицилии, что называется, офранцузились. При всем том Стефан был идеалистом и искренне хотел сделать Сицилию лучше, а потому проталкивал реформы, которые считал необходимыми, не обращая внимания на общественное мнение и собственную непопулярность. Поэтому приходится признать, что королева Маргарита была права, привлекая чужака к управлению королевством. Реформы давно назрели; в преобладающей атмосфере раздоров и недоверия для любого сицилийца было практически

невозможно (будь он островитянином по рождению или по практике усыновления) их осуществить. Стефан, беспристрастный и чужой для всех, единственный мог это сделать – и преуспел, поскольку ему хватило мужества и душевных сил. Но неизбежно, сколько бы пользы он ни принес широким массам, его должны были возненавидеть практически все люди, приближенные к власти. Эта ненависть обострилась еще сильнее осенью 1167 года, когда королева, сохранив за ним пост канцлера, велела поспешно рукоположить Стефана в священство, а затем настояла на том, чтобы всегда готовые услужить правителю каноники собора Палермо избрали Стефана новым архиепископом.

Это был настолько очевидно неразумный шаг, что поневоле задаешься вопросом, зачем Стефан согласился – особенно если учесть, что к тому времени по Палермо расползлись новые слухи: мол, отношения между ним и Маргаритой выходят далеко за пределы отношений, обычных для королевы и ее канцлера, не говоря уже об архиепископах. Имелись ли основания для этих слухов, установить невозможно. Фальканд говорит, что королева «будто пожирала канцлера своим взглядом». Маргарите еще не исполнилось сорока, она была, как сообщается, привлекательной женщиной, которую почему-то фактически игнорировал покойный супруг; было бы, пожалуй, удивительно, не возникни у нее некое чувство к молодому и красивому мужчине знатного происхождения, наделенному умом и талантом, а также одному из немногих людей на Сицилии, кому она могла доверять. Даже если никакой привязанности на самом деле не было, сплетни по этому поводу возникли бы в любом случае.

Осенью 1167 года двор переехал на зиму в Мессину, где Стефан, руководствуясь, как всегда, благими побуждениями, предпринял сознательную попытку сблизиться с местным населением (правда, сколько ни старался, он не мог заручиться их расположением надолго). За какой-то месяц высокомерие и своеволие его французского окружения превратило французов в мишень насмешек и ненависти среди преимущественно греческого населения города. Двор вернулся в столицу в марте, но в Мессине недовольство продолжало зреть, и именно там на Пасху 1168 года началось настоящее восстание. К концу апреля в городе не осталось в живых ни единого француза. Этим дело не закончилось; гонцы прибывали в Палермо с сообщениями, которые день ото дня делались все мрачнее. Повстанцы захватили Рометту, важный город на дороге Палермо – Мессина; их отряды двигались вниз по побережью к Таормине; в Чефалу епископ открыто поддержал мятежников. И те повернули к Палермо.

При первых признаках мятежа к Стефану присоединились его сторонники, и все они укрылись во дворце архиепископа. Здание было плохо приспособлено к осаде; однако у него имелось преимущество – узкий подземный коридор связывал дворец с собором, и Стефан с компанией спрятался на колокольне. Винтовая лестница была узкой, что облегчало оборону; они взяли с собой достаточно провизии, чтобы отсидеться несколько дней; здесь, по крайней мере, они в безопасности, пускай в целом перспективы выглядят неутешительными. Они и не догадывались, что спасение близко. К тому времени во главе мятежа встал протонотарий Маттео д'Аджелло, который все больше тревожился. Он думал, что Стефану и его сторонникам удастся продержаться неделю, а то и дольше, а между тем рвение народных масс наверняка иссякнет. Не стоило забывать и о короле, который, несмотря на юность, демонстрировал истинно королевский дух. Так, он потребовал, чтобы его выпустили из дворца – встретиться лицом к лицу с подданными, призвать их сложить оружие и вернуться в свои дома; Маттео пока отговаривался, не понимал, что рано или поздно придется уступить. Популярность юноши в городе была чрезвычайно велика; если станет известно, на чьей стороне симпатии короля, всякая поддержка восстания быстро оскудеет.

Поэтому Маттео и его соратники решили предложить канцлеру мир. Стефана и всех тех его соотечественников, кто пожелает сопровождать канцлера, предполагалось отправить в Палестину; остальным позволят беспрепятственно вернуться во Францию. Что касается тех сицилийцев, которые поддерживали Стефана, им гарантировали отсутствие преследований и

конфискаций имущества. Стефан принял эти условия; нужно признать, что они были исключительно щадящими – во всяком случае, так казалось. Но испытания еще не закончились. Первая галера, предоставленная в его распоряжение, текла, словно решето; когда он достиг Ликаты, на полпути вдоль юго-западного побережья, стало понятно, что плыть дальше невозможно. Лишь на другом судне, купленном за собственные средства у каких-то генуэзских купцов, которых встретил в гавани, он наконец достиг Святой земли.

За два года после расставания с Францией Стефан дю Перш приобрел немалый жизненный опыт. Он достиг весьма высокого положения, светского и церковного, в одном из трех величайших королевств Европы; из мирянина сделался архиепископом; завоевал уважение некоторых и отвращение многих – и добился, быть может, любви королевы. Он многое узнал – о власти и злоупотреблении властью; об искусстве управления, о верности, дружбе и страхе. Но о Сицилии он не узнал ничего. Он не сумел понять, что сила острова (и залог его выживания) состоит в поддержании единства; не усвоил того, что, поскольку Сицилия по своей природе неоднородна и склонна к разъединению, это единство необходимо навязывать сверху. Вследствие такого непонимания он потерпел неудачу; и тот факт, что в конце концов он случайно и невольно объединил своих врагов против себя, никоим образом не смягчает его провал.

С отплытием Стефана и его соотечественников королева Маргарита, должно быть, впала в отчаяние. Она сделала ставку на этих французов – и проиграла. Ее сыну Вильгельму было всего пятнадцать, до окончания регентства оставалось еще три года; но репутация королевы, политическая и моральная, была разрушена. Последняя печальная защитница отмирающего порядка, эта «испанка» больше не вызывала ни страха, ни негодования; ее попросту игнорировали. Она же упорно продолжала демонстрировать свою полнейшую непригодность к управлению страной. Согласись она сотрудничать с самозванным и самоназначенным советом, который ныне управлял королевством, Маргарита могла бы восстановить толику утраченного влияния; вместо этого она пыталась препятствовать совету на каждом шагу. Отплытие Стефана, например, освободило место архиепископа; соборные каноники поддержали кандидатуру Уолтера с Мельницы. Для Маргариты это вовсе не было крахом всех надежд; в конце концов, этот человек несколько лет был наставником ее сына. Но он не был Стефаном и потому она возражала, публично заявляла, что ее кузен по-прежнему остается законным архиепископом, и даже отослала обращение к папе (убедительно подкрепив мольбу семью сотнями унций золота), призывая понтифика не утверждать назначение Уолтера. Учитывая все это, трудно отделаться от подозрений, что отношения между королевой и ее бывшим канцлером не сводились к рабочим контактам и семейным узам.

Так или иначе, хлопотала она напрасно. 28 сентября 1168 года, в присутствии короля и двора, Уолтера с Мельницы ввели в собор Палермо. Это событие, похоже, окончательно сломило Маргариту, и когда ее сын наконец достиг совершеннолетия, она скрылась (полагаю, с немалым облегчением) в неизвестность. Она дожила до 1183 года и скончалась в возрасте пятидесяти пяти лет; со Стефаном дю Першем они больше не виделись.

Облегчение, с каким королева Маргарита избавилась от бремени государственных обязанностей, в полной мере разделяли ее подданные. Хотя регентство Маргариты продолжалось всего пять лет, им этот срок, вероятно, показался целой жизнью; потому они с признательностью и надеждой смотрели на высокого светловолосого юношу, который летом 1171 года официально взял правление на Сицилии в свои руки.

Нельзя сказать, что они хорошо его знали. Привлекательный облик, конечно, был известен повсеместно; с годами Вильгельм ничуть не утратил привлекательности, и мальчик, который выглядел ангелом в день своей коронации, сейчас, в возрасте восемнадцати лет, напоминал людям молодого бога. О нем говорили, что он прилежен в учении, читает и изъясняется на всех языках своего королевства, включая арабский; что он мягок и кроток, не наследовал ни

мрачной задумчивости, ни внезапных взрывов гнева, столь характерных для его отца. Искусство управления государством и политическую рассудительность еще предстояло оценить, но это было скорее преимущество, чем что-либо другое; поскольку его до сих пор не допускали до общественных дел, он был заведомо непричастен ко всем тем бедствиям, что навлекла на королевство его мать.

Ему повезло в том, что наступил новый период мира, безопасности и процветания, с которым позднее стали отождествлять его правление. Его заслуги в этом не было; хотя он никогда не выводил войско на поле брани, Вильгельма отличала трагическая склонность к зарубежным военным авантюрам, и в конечном счете он оказался более воинственным, чем отец или дед. Но эти авантюры, сколь угодно дорогостоящие с точки зрения потерь и средств, едва ли сказались на повседневной жизни королевства. Словом, Вильгельму благополучно приписали новое процветание Сицилии; впоследствии люди вспоминали эти годы как «бабье лето» (таковым оно и оказалось) Сицилийского королевства, как эпоху правления последнего законного норманнского короля, такого красивого, который умер совсем молодым и удостоился от благодарного народа прозвища Вильгельм Добрый.

Ничто не может быть более убедительным доказательством этого изменения настроений, нежели тот факт, что первые пять лет после совершеннолетия Вильгельма прошли для сицилийской дипломатии прежде всего под знаком поисков достойной невесты для короля; и не было правителя в Европе, который не мечтал бы сделать молодого норманна своим зятем. Сначала взоры обратились, естественно, к византийскому императору Мануилу Комнину; поскольку за его дочерью, вероятно, дали бы в приданое всю Восточную империю, королева Маргарита и ее советники вполне могли бы принять такое предложение. Но они не спешили выбирать, а между тем появился новый претендент: около 1168 года король Генрих II Английский предложил норманнам свою третью, младшую дочь Джоанну.

Связи между двумя королевствами существовали со времен Рожера. Английские ученые, церковники и управленцы продолжали прибывать на Сицилию, и к 1160-м годам в обеих странах осталось мало значимых норманнских семейств, которые не имели родственных связей с семьями в другой стране. Сам король Генрих, французские владения которого занимали куда большую территорию, чем владения его современника Людовика VII, был, вне всякого сомнения, наиболее могущественным государем Европы. Вдобавок, пусть Джоанна едва вышла из младенчества – она родилась в 1165 году, – Генрих, похоже, искренне желал этого брака.

Но затем, 29 декабря 1170 года, случилось убийство архиепископа Томаса Бекета. Пелена тьмы нависла над Англией. Континентальные подданные Генриха подпали под интердикт^[64], самому королю запретили входить в любую церковь, пока папа римский не сочтет возможным его помиловать. Вся Европа пришла в ужас; а сицилийцам маленькая Джоанна вдруг показалась не слишком завидной невестой. Переговоры резко прервали, и вновь, образно выражаясь, началась охота на ферзя.

В марте 1171 года император Мануил во второй раз предложил в жены Вильгельму свою дочь Марию. Она больше не обладала притягательностью пятилетней давности: в этом промежутке ее мачеха родила сына, и права наследования византийского престола снова изменились. Однако она оставалась дочерью императора, ее приданое наверняка будет достойно статуса, а брак, если повезет, положит предел беспрестанным попыткам ее отца вмешаться во внутренние дела Италии. Предложение было принято, и решили, что Мария должна приплыть в Апулию весной следующего года.

В назначенный день Вильгельм, его брат Генрих, принц Капуанский, Маттео д'Аджелло и Уолтер с Мельницы прибыли в Таранто, чтобы встретить королевскую невесту. Но та все не появлялась. Прождав неделю, Вильгельм решил совершить короткое паломничество в храм Архангела Михаила на Монте-Гаргано; по возвращении выяснилось, что новостей по-прежнему нет. Стало ясно, что греки обманули, что девушка не приплывет. Почему

Мануил изменил свое решение в последний миг? Насколько нам известно, император не подумал извиниться и ничего не объяснил, посему его мотивы остаются загадкой. Но такой поступок заставил Вильгельма затаить в сердце недоверие к Константинополю, и это недоверие преследовало его до конца дней – и дорого обошлось как Сицилии, так и Византии в последующие годы.

Что удивительно, не кто иной, как папа Александр III предложил возобновить брачные переговоры между Англией и Сицилией по поводу союза Вильгельма и Джоанны; на Пасху 1176 года трое специально отобранных сицилийских послов предстали перед королем Англии в Лондоне. Генрих встретил их радушно; однако до официального обручения следовало уладить препятствие, чреватое возможными осложнениями: Вильгельм – вполне разумно – дал понять, что, прежде чем связывать себя формальными обязательствами, желает удостовериться в физической привлекательности своей невесты. Поэтому послы отправились в Винчестер, где Джоанна жила со своей матерью Алиенорой, пленницей короля Англии из-за участия в мятеже ее сыновей три года назад; они хотели «увидеть воочию», говорит хронист, «насколько девочка красива обликом». Поездка оказалась удачной. «Когда они узрели ее красоту, то обрадовались сверх всякой меры».

Хотя Джоанне было всего десять лет, Генрих счел, что его дочь должна путешествовать соответственно ее статусу и поводу. Он приказал приготовить семь кораблей, чтобы переправить девочку и ее свиту через Ла-Манш. 26 августа в сопровождении дяди, единокровного брата короля Генриха Гамелина Плантагенета^[65], архиепископов Кентерберийского и Руанского и епископа Эвре она отплыла из Саутгемптона. Старший брат Генрих проводил Джоанну до Пуатье, где другой брат, Ричард, обеспечил безопасный проезд через собственное герцогство Аквитания до порта Сен-Жиль. Там Джоанну приветствовали от имени Вильгельма Ричард Палмер и архиепископ Капуи. Двадцать пять сицилийских кораблей ожидали в гавани; но уже началась вторая неделя ноября, зимние штормы свирепствовали в море, поэтому было решено не отходить далеко и плыть вдоль побережья, держась как можно ближе к берегу. Даже такое плавание, похоже, доставило немало неудобств; шесть недель спустя флот не добрался дальше Неаполя, а бедная Джоанна так сильно страдала от морской болезни, что сопровождающие договорились остаться на Рождество в Неаполе, чтобы девочка восстановила силы (и чтобы к ней, возможно, вернулась поблекшая красота). Оттуда путешествие продолжилось по суше.

Джоанна достигла Палермо вечером 2 февраля 1177 года. Вильгельм встречал свою нареченную у городских ворот. Невесту усадили верхом на одного из королевских скакунов и препроводили во дворец, подготовленный для нее, по улицам, освещенным столь ярко, что, по словам хрониста, «казалось, будто весь город объят пламенем». Одиннадцать дней спустя, накануне дня святого Валентина, Вильгельм и Джоанна сочетались браком, увенчанные гирляндами цветов, и сразу после церемонии Джоанна, длинные волосы которой струились по плечам, опустилась на колени в Палатинской капелле, где соотечественник, Уолтер с Мельницы, ныне архиепископ Палермо, помазал и короновал ее как Иоанну, королеву Сицилии.

К моменту коронации новобрачной едва исполнилось одиннадцать лет, тогда как ее мужу было уже двадцать три. Тем не менее, несмотря на разницу в возрасте, этот брак был, насколько мы можем судить, идеально счастливым. Никаких языковых проблем не возникало: Джоанна, родившаяся во Франции и получившая образование в основном в аббатстве Фонтевро, была по воспитанию куда больше француженкой, чем англичанкой, а норманнский французский оставался повседневным языком сицилийского двора. Новые подданные тоже приветствовали королеву, как когда-то ее мужа, и приняли ее в свои сердца.

Murriali, cita senza cunfortu, o chiavi o mina ventu o sona mortu^[66]. Так гласит старинная сицилийская пословица; сегодня, нужно уточнить, гораздо меньше людей воспринимают Монреале подобным образом. Как город – а ныне это фактически пригород Палермо –

Монреале, безусловно, не лишен недостатков; однако там есть собственный собор, и этот собор восполняет все недостатки. Именно благодаря собору, а не благодаря внешней привлекательности или браку с английской принцессой Вильгельма Доброго помнят по сей день. Собор начали строить в 1174 году, ежегодно расходуя колоссальные суммы на сооружение, которое следует признать (по любым меркам) наиболее выдающимся памятником на Сицилии. Причем строился собор не сугубо во славу Божию; для строительства были и политические причины. С того самого момента, когда молодой король получил реальную власть, он относился с подозрением – и Маттео д'Аджелло постоянно укреплял его опасения – к растущему влиянию Уолтера с Мельницы. В качестве архиепископа Палермо Уолтер сумел объединить почти всех могучих баронов и прелатов в реакционную феодальную «партию», которая, если бы она продолжала действовать бесконтрольно, сулила беды для королевства. Даже в церковных делах он придерживался опасного курса. Потрясения периода регентства позволили сицилийской церкви утвердить свою самостоятельность: это касалось не только папы (тут уже все привыкли), но и от короны, и Уолтер прилагал все усилия к тому, чтобы так оставалось и далее. Его власть на острове уступала лишь власти короля, и Вильгельм понимал, что должен вмешаться, пока не стало слишком поздно.

Что он мог сделать? Единственным выходом виделось создание нового архиепископства, как можно ближе к Палермо; предполагалось, что новый пастырь будет равен статусом Уолтеру и окажется связующим звеном между короной и Святым престолом. Проблема заключалась в том, что архиепископов обычно избирали из церковного клира, а последний пребывал под контролем Уолтера. Поэтому Вильгельм внес уточнения в первоначальный план. Решили создать новое бенедиктинское аббатство, где будет соблюдаться во всей строгости кляунийский устав^[67]; настоятель этого аббатства автоматически удостоится архиепископского сана и может быть посвящен любым другим прелатом по собственному усмотрению – при одобрении короля. Уолтер был в ярости, но он никак не мог воспрепятствовать. Ему пришлось бессильно смотреть, как ряд церквей и приходов изымают из его архиепархии и передают архиепископу Монреале; весной 1176 года он скрежетал зубами в ярости, наблюдая, как сотня монахов из большого аббатства Ла Кава прибывают в Палермо и заселяются в новое аббатство.

Аббатство в Монреале никого не оставит равнодушным, хотя бы полтора акрами своих великолепных мозаик, созданных всего за пять или шесть лет, между 1183 годом и концом десятилетия. Возможно, ему недостает изысканного совершенства Палатинской капеллы, византийской таинственности Мартораны или того очевидного волшебства, каким буквально сочтется храм Пантократора в Чефалу. Оно производит впечатление своими размерами и пышностью. Это впечатление, как и сам собор, грандиозно. Бродя по обширному зданию, невольно начинаешь предполагать, что на его стенах и потолке представлены все без исключения библейские сюжеты. Впрочем, это предположение не очень далеко от истины; но одну мозаику – не слишком содержательную на первый взгляд – ни за что нельзя пропустить. Посмотрите на вторую фигуру справа от центрального восточного окна. Опознать ее не составит труда: в соответствии с канонам того времени, имя начертано вдоль нимба: «Томас Кантур»^[68]. Отражено ли в мозаике хоть какое-то сходство с мучеником-архиепископом, для нас не имеет ни малейшего значения^[69]; важно то, что перед нами самое раннее изображение святого Томаса Бекета, созданное через несколько лет после его смерти. Не подлежит сомнению, что своим «присутствием» в соборе он обязан королеве Иоанне, которая тем самым искупала действия своего отца.

Что касается монастыря, здесь обнаруживается единственное проявление сарацинского влияния в Монреале: изящные арабские арки, ровным счетом сто четыре, опираются на пары стройных колонн, из которых одни украшены резьбой, другие же инкрустированы в том же косматеско, что характеризует внутреннюю отделку храма. В юго-западном углу выделено место для фонтана, тоже арабского, но по форме уникального для острова. Капители колонн,

каждая из которых воплощает в себе торжество дизайна и изобретательности, олицетворяют триумф романских камнерезов, чье мастерство не находило соперников на юге. На одной из капителей – восьмой по западной стороне – показано, как король Вильгельм дарует свой новый собор Богородице. Так было возведено последнее, самое крупное религиозное сооружение норманнской Сицилии.

Обласканное солнцем королевство, процветающее и мирное; молодость, привлекательность, безграничное богатство; любовь подданных и красавица жена – со всем этим Вильгельм II, должно быть, казался современникам человеком, на которого снизошло благорасположение небес. В какой-то степени так все и было. Но небеса лишили его трех даров: во-первых, долгой жизни; во-вторых, сына и наследника; в-третьих, толики политической мудрости. Если бы ему достался хоть один дар из перечисленных, его королевство могло бы избежать той печальной судьбы, которая была уготована Сицилии. Но поскольку королю не досталось ничего, Сицилия была обречена.

Где-то среди зимы 1183—84 года в Палермо прибыли посланники императора Фридриха Барбароссы с предложением сочетать браком сына и наследника Барбароссы, Генриха, и сицилийскую принцессу Констанцию. Кажется поистине невероятным, чтобы Вильгельм и его советники могли усомниться в пользе подобного брака. Но Констанция, посмертная дочь Рожера II (она была всего на год моложе своего племянника-короля), являлась действующей наследницей престола. Если она выйдет замуж за Генриха, а Вильгельм останется бездетным, Сицилия окажется в руках императора и ее обособленное существование завершится. Правда, у Иоанны было впереди много времени, чтобы родить супругу сына. В 1184 году ей исполнилось восемнадцать, а ее мужу – тридцать. Однако жизнь в двенадцатом столетии была гораздо более беспокойной, чем сегодня, уровень детской смертности держался высоко, посему заключить подобный брак прежде, чем утвердится должным образом линия наследования, означало поддаться преступному легкомыслию.

Немногих сицилийцев прельщала перспектива пожертвовать независимостью ради далекой и (в их глазах) варварской империи, которая вдобавок всегда считалась традиционным врагом. Но Уолтер с Мельницы придерживался противоположной точки зрения. Его мотивы не вполне ясны. Возможно, будучи англичанином, он считал имперское господство меньшим злом, чем гражданская война, которая представлялась ему, похоже, единственной альтернативой. Но насколько это соответствовало истине? Ведь Констанция могла выйти замуж за кого угодно, править от собственного имени, а затем передать корону и всю полноту власти законному наследнику. Каковы бы ни были мотивы архиепископа, необходимо учитывать и побуждения самого Вильгельма, который в итоге принял решение, что лично ему на ближайшие несколько лет необходимо заручиться поддержкой Западной империи; именно по этой единственной причине он летом 1184 года, к ужасу подавляющего большинства своих подданных, дал согласие на помолвку Констанции. Все дело в том, что он готовился к походу против Византии.

Предлог для кампании можно назвать умеренно приемлемым. Император Мануил I умер в 1180 году, оставив единственного законного наследника, мальчика одиннадцати лет, имевшего отталкивающую внешность. Вдова Мануила, ослепительная красавица Мария Антиохийская, правила в качестве регента; но вследствие ее откровенных прозападных симпатий недовольство в столице неуклонно росло, и два года спустя престол был захвачен кузеном императора, Андроником Комнином. Поначалу его встретили тепло, что вряд ли удивительно, поскольку он был, безусловно, наиболее гламурным императором во всей византийской истории. В возрасте шестидесяти четырех лет он выглядел сорокалетним. Выше шести футов ростом, настоящий атлет, он обладал несомненным обаянием, интеллектом, умением вести беседу, остроумием, элегантностью и подобающими манерами; в сочетании со славой и почти легендарными подвигами в постели и боевом поле все это обеспечило ему стойкую репутацию донжуана.

Когда Андроник въезжал в Константинополь, люди выбегали из домов, чтобы его приветствовать. Еще до того, как он пересек пролив, в столице вспыхнуло восстание, в ходе которого выплеснулась вся накопившаяся злоба на латинян за последние два непростых года. Последовала жуткая резня, массовое истребление практически всех латинян в городе – не щадили ни женщин, ни детей, ни больных, и весь квартал, где они жили, разграбили и предали огню. И стало ясно, что триумф Андроника обнажил новую черту характера – злобу и поистине звериную жестокость, о которой мало кто даже подозревал. Он перво-наперво избавился от всех, кто стоял между ним и тронem; вдовствующую императрицу Марию задушили, а ее сына удавили тетивой.

Очень скоро исчезли последние остатки былой популярности Андроника; он показал себя настоящим чудовищем. В воздухе, как говорится, снова запахло возмущением и бунтом. Заговорщиков, пойманных слугами императора, пытали до смерти, и нередко Андроник лично участвовал в пытках; но многие другие бежали на запад, где не забыли массовые убийства 1182 года и где беглецы могли рассчитывать на радушный прием. Ходили слухи, что молодой человек, притязавший на титул законного императора, был принят Вильгельмом в Палермо. Мы знаем наверняка, что один из племянников покойного Мануила действительно укрывался на Сицилии и был принят при дворе, поскольку известно, что он умолял короля предпринять поход на Константинополь и свергнуть узурпатора.

Но для Вильгельма это был только повод. Хотя сам он никому в том не признавался, его конечной целью была корона Византийской империи на собственном челе; он был полон решимости явиться с силой, достойной завоевать такой приз: на суше и на море он намеревался выставить войско сильнее всякого, когда-либо отплывавшего от сицилийских берегов. И подкрепил решимость делом. К моменту отплытия флот, которым командовал двоюродный брат короля Танкред из Лечче, насчитывал, как сообщается, от двух до трех сотен кораблей; на борту находилось около 80 000 человек, в том числе 5000 рыцарей и специальный отряд конных лучников. Флот отплыл из Мессины 11 июня 1185 года и направился напрямик к Дураццо^[70], крупнейшему имперскому порту на Адриатике. Отсюда старинная римская дорога Виа Эгнация вела на восток через Македонию и Фракию – до самого Константинополя. К 6 августа все сухопутные войска под командованием некоего Болдуина, о котором практически ничего не известно, встали лагерем близ Фессалоников; девять дней спустя флот, обойдя Пелопоннес, тоже занял назначенную позицию, и осада началась.

Даже будь город надлежащим образом подготовлен и защищен, маловероятно, чтобы Фессалоники могли продержаться достаточно долго против столь многочисленного и хорошо снаряженного войска, какое выставили сицилийцы. Гарнизон сопротивлялся отважно и упорно, однако вскоре оборона стала ослабевать. 24 августа сицилийские войска ворвались во второй по величине город Византии и устроили оргию жестокости и насилия, которую можно сравнить разве что с бесчинствами Феодосия Великого, истребившего 7000 граждан на ипподроме восемь столетий назад^[71]. Восстановить порядок удалось через неделю, но ситуация в городе оставалась взрывоопасной, и наверняка греки и сицилийцы облегченно вздохнули, когда войска выстроилось в походный строй и двинулось на восток.

К тому времени Андроник отправил не менее пяти воинских соединений с приказом блокировать продвижение сицилийцев. Если бы эти соединения находились под общим командованием опытного полководца, у них, возможно, был бы шанс, а так – все пять отступили в горы к северу от дороги и с безопасного расстояния наблюдали за врагом, очевидно потрясенные его численностью и воинским искусством. Авангард сицилийцев поэтому беспрепятственно дошел до Мосинополя^[72], почти на полпути к столице, а затем случилось событие, которое полностью изменило ситуацию, – к несчастью для Сицилии, самым неблагоприятным образом. Жители столицы восстали и убили Андроника Комнина.

Еще один двоюродный брат покойного императора Мануила, некий Исаак Ангел, с понятным нежеланием в итоге принял византийскую корону. Империя пребывала в отчаянном положении: передовые силы захватчиков находились менее чем в двухстах милях от Константинополя, их флот вошел в Мраморное море и ожидал подхода войска. Сразу по вступлении на престол Исаак предложил сицилийцам заключить мир; получив отказ, он сделал то, что должно было быть сделано многие месяцы назад – назначил командиром византийских сил талантливейшего из своих полководцев, Алексея Бранаса, и отправил тому практически все подкрепления, какие империя смогла наскрести. Эффект этого шага оказался мгновенным: греки внезапно воодушевились. Они заметили, что враг преисполнился самоуверенности, утратил бдительность и ослабил дисциплину. Тщательно выбрав время и место, Бранас напал на сицилийцев, разгромил их наголову и преследовал на всем пути до главного лагеря в Амфиполе.

Теперь Болдуин согласился обсудить условия мира. Зима приближалась, осенние дожди во Фракии были обильными и студеными. Для войска, которое предполагало встретить Рождество в Константинополе, поражение при Мосинополе оказалось, вероятно, деморализующим, хотя его стратегическое значение было невелико; однако греки не стали испытывать судьбу. Опасаясь, что противник использует мирные переговоры в своих интересах, чтобы затем застать их врасплох, они решили ударить первыми. Уже сицилийцев застигли врасплох, и они обратились в бегство. Часть зарубили на бегу, многие другие утонули при попытках переправиться через реку Стримон, чей уровень значительно поднялся из-за дождей, а остальные, в том числе сам Болдуин, угодили в плен. Из тех, кому удалось спастись, немало количество достигло Фессалоник, где они погрузились на корабли и двинулись обратно на Сицилию. Поскольку, однако, большая часть сицилийского флота еще ожидала у Константинополя, большинству беглецов в Фессалониках повезло меньше. Местные жители восстали, устроили масштабную и кровавую месть за все унижения, какие им пришлось вынести тремя месяцами ранее. Из огромного войска, столь горделиво покинувшего остров летом, лишь бледная тень плелась назад по обледеневшим горным перевалам в Дураццо. Невредимым возвратился разве что флот.

Последнее оказалось очень кстати. Два года спустя тот же флот получил приказ плыть в Палестину. Вильгельм наконец согласился забыть о своих разногласиях с Византией; появились более важные дела – в пятницу, 2 октября 1187 года, мусульманские войска под командой Саладина заняли Иерусалим. Само будущее христианства в Святой земле повисло на волоске.

История безнадежно неудачного Третьего крестового похода, к счастью, остается за пределами нашего исследования; достаточно будет сказать, что сицилийский флот под командованием блестящего молодого флотоводца Маргарита из Бриндизи действовал весьма эффективно и сохранил Триполи и Тир (хотя бы временно) для христиан. Маргарит – «новый Нептун» – быстро прославился по всему христианскому миру; он мог бы стать еще более известным и расширить сферу своего влияния, сумеи сицилийцы набрать то могучее войско, которое грезилось их королю. Но всякие надежды на триумф в Крестовом походе внезапно рухнули, когда 18 ноября 1189 года Вильгельм Добрый умер в Палермо в возрасте тридцати шести лет.

Среди всех правителей династии Отвилей на Сицилии Вильгельм – самый, если можно так выразиться, неуловимый. Мы ничего не знаем о его смерти, за исключением того, что он умер в своей постели; о жизни короля, такой короткий, известно немногим больше. Довольно затруднительно усвоить – и приходится постоянно себе напоминать, – что он правил Сицилией восемнадцать лет и занимал престол почти четверть столетия; мы замечаем лишь мимолетную яркую (если такое возможно) тень, что проносится по нескольким страницам истории – и исчезает. При всем этом его оплакивали горько, как очень и очень немногих европейских государей, причем далеко за пределами собственных владений. Его

правление несколько не укрепило королевство; напротив, оно ознаменовалось возвращением к безответственной внешней политике, какую только способно проводить государство: захват земель ради них самих, без учета политических последствий. Нельзя сказать, кстати, что он преуспел хотя бы в этом. Можно было бы проявить немного больше сочувствия, возглавляя король свои войска лично; но он никогда на это не отваживался. Наконец, именно на нем лежит ответственность за наиболее катастрофическое событие всей сицилийской истории – речь о его согласии на брак принцессы Констанции. Он знал, что, если умрет бездетным, трон королевства достанется тетке, и сам был женат достаточно долго, чтобы понять, что Иоанна вряд ли родит ему сына. Правда, он всегда мог избавиться от англичанки и взять другую жену, но кто мог гарантировать, что второй брак будет более «плодоносным», нежели первый? Между тем Констанция олицетворяла королевство; отдав ее Генриху Гогенштауфену, Вильгельм подписал смертный приговор норманнской Сицилии.

Гибель растянулась во времени. После упорной борьбы с соперником корону возложил на себя кузен Вильгельма, Танкред из Лечче. Незаконный внук Рожера II, Танкред, по словам современника-хрониста, был «*semi-vir, embryo infelix*» (потомком лишь отчасти мужского пола) и *detestabile monstrum*, то есть презренным чудовищем; однако он твердо намеревался не допустить, если это будет в человеческих силах, попадания острова в руки Генриха. Он сражался мужественно и упорно – против империи прежде всего, а также против соотечественников-сицилийцев, равно христиан и мусульман, слишком эгоистичных или слишком близоруких, чтобы оценить масштабы постигшего остров кризиса. Проживи Танкред дольше, он мог бы добиться своего; но в начале 1194 года он умер. Его сын Гильом был совсем еще ребенком; вдова, королева Сибилла, стала регентом, но она, как никто другой, понимала, что теперь выстоять невозможно.

Генрих – ныне император Генрих VI, поскольку его отец Фридрих Барбаросса утонул на пути в Палестину ради Третьего крестового похода – потерпел неудачу в первой попытке достичь Сицилии в 1191 году. Он столкнулся с неожиданным сопротивлением в Неаполе и по-прежнему осаждал этот город, когда единственный безотказный и надежный союзник островитян, южное лето, принесло в его лагерь малярию и дизентерию, что обернулось массовым дезертирством. Генриху пришлось брести обратно через Альпы, с остатками войска позади. Но три года спустя он вернулся и на Рождество 1194 года увенчал себя короной Сицилии в соборе Палермо. Королева Сибилла и ее дети занимали почетные места на коронации, но всего четыре дня спустя их обвинили в соучастии в заговоре с целью убийства короля и поместили под стражу в Германии. Королева закончила свои дни в эльзасском монастыре; судьба маленького Гильома остается загадкой. Одна версия гласит, что его ослепили и кастрировали в немецкой тюрьме; другая (она не обязательно противоречит первой) – что его освободили и поместили в монастырь. Так или иначе, долго он не прожил. На рубеже столетий, едва выйдя из детства, мальчик умер.

А что же Констанция? Ведь она, в конце концов, была законной правительницей Сицилии; Генрих же всего-навсего приходился ей супругом. Почему, как наверняка задавались вопросом многие ее подданные, она не стояла бок о бок со своим мужем, почему он в одиночку преклонял колени у алтаря на коронации? Тому была причина, и вполне уважительная. В возрасте сорока лет, после почти девяти лет брака, Констанция ждала ребенка. Она вовсе не отказалась от возвращения на Сицилию по такому поводу, но путешествовала медленнее, в собственном режиме, тронулась в путь через месяц или два после отбытия мужа и неспешно двинулась вниз по Апеннинскому полуострову. Такое перемещение для женщины ее лет в подобном положении было нелегким испытанием. Дни и недели езды по разбитым дорогам Ломбардии и Марке сделали свое дело; когда Констанция добралась до городка Йези близ Анконы, то ощутила предродовые схватки.

С самого начала своей беременности Констанция была одержима одной мыслью. Она знала, что ее собственные враги и враги Генриха по обе стороны Альп сделают все возможное, чтобы дискредитировать младенца, ссылаясь на ее возраст и долгие годы бесплодия, – что

они станут утверждать, будто ребенок, которого ей предстояло родить, на самом деле чужой. Поэтому она решила, что ни у кого не должно остаться даже намек на подозрение. На рыночной площади Йези по настоянию королевы установили просторный шатер, куда разрешалось зайти любой матроне из числа горожанок, желающей оказаться свидетельницей родов. В день святого Стефана, 26 декабря, Констанция родила своего единственного сына. Через день или два она показалась народу на той же площади, гордо продемонстрировав младенца, сосущего ее грудь. Если коротко, дух Отвилей был все-таки еще жив.

В следующем столетии этот дух воспарит снова, выше и увереннее, чем когда бы то ни было, когда этот младенец – Фридрих – возмужает. Хотя история помнит его преимущественно как императора Запада, сам он никогда не забывал, что также является королем Сицилии, внуком не только Барбароссы, но и Рожера II. Верность деду он доказывал пышностью своего двора, львами, леопардами и павлинами, итальянскими и арабскими поэтами, чье творчество ценил, приверженностью классической архитектуре и своими апулийскими охотничьими домиками, а прежде всего – ненасытным художественным и интеллектуальным любопытством, которое принесло ему прозвище *Stupor Mundi*, «Чудо света».

Глава 6

Stupor Mundi

Король Генрих Сицилийский правил недолго, и это, пожалуй, было к лучшему. Он воспринимал свое новое владение как «придаток» к остальному и относился к острову соответственно, грабя его без намека на милосердие; потребовались сто пятьдесят мулов, как сообщалось, чтобы доставить награбленные сокровища через Альпы^[73]. Очень скоро, разумеется, местное население взбунтовалось, однако с королевским войском им было не справиться, и в итоге бунтовщиков покарали с отвратительной жестокостью. Рассказывали, что сторонников Танкреда поджаривали заживо или кастрировали; одного из членов семейства Отвилей «увенчали» раскаленной докрасна короной, которую вдобавок прибили к черепу. Террор еще продолжался, когда Генрих умер в 1197 году в возрасте тридцати двух лет, – вероятно, от малярии, подхваченной на охоте (конечно, тут же поползла глухая молва об отравлении). Тело короля доставили в собор Палермо, гробница сохранилась до наших дней.

Его сыну Фридриху было три года. Следуя уже сложившейся традиции, решили, что мать мальчика будет регентом при юном короле; но Констанция скончалась всего через год после смерти супруга, выбрав папу Иннокентия III опекуном Фридриха. Это был не слишком удачный выбор – хотя трудно представить, кого другого она могла бы выбрать, – поскольку Иннокентий, один из величайших пап в истории, находился чересчур далеко и был чересчур занят для того, чтобы по-настоящему заботиться о мальчике. Несколько лет Сицилией правили германские бароны из числа приближенных Генриха. Им приходилось непросто – немецкий относился к тем немногим западноевропейским языкам, на которых не говорили на Сицилии, а они сами не трудились изучать иные языки, – и довольно быстро бароны выставили себя некомпетентными невеждами. Весь остров охватила анархия. К тому времени расовое равенство, отличительная особенность правления короля Рожера, давно исчезло; теперь уже мусульмане восстали против христиан, когда-то своих братьев. В Агридженто, если ограничиться одним примером, они превратили собор в казармы и целый год держали в плену местного епископа.

Ничто из этого, однако, не сказывалось на атмосфере при дворе в Палермо, где Фридрих провел свое детство и где он получил образование, столь отличное от того, какое обычно получали немецкие принцы, сколь вообще возможно вообразить. Его личным наставником был, вероятно, Майкл Скот (Михаэль Шотландец), переводчик Аристотеля и Аверроэса, который, как известно, несколько лет провел в Палермо и стал впоследствии близким другом

Фридриха. Когда мальчик подрос, выяснилось, что нет такого предмета и такой темы, которые бы его не интересовали. Он проводил долгие часы не только за учебой, но и за спорами о законах и религии, философии и математике. Кроме того, он нередко сбегал в один из королевских парков или загородных дворцов, чтобы вживую изучать птиц и животных (это увлечение сделалось его пожизненной страстью). Много лет спустя он написал книгу о соколиной охоте «De Arte Venandi cum Avibus»^[74], которая стала классикой подобной литературы, и выказал знание и понимание живой природы, поистине удивительное для тринадцатого столетия. Внешность короля была непримечательной – малый рост, крепкое телосложение, цвет лица почти того же оттенка, что рыжие волосы, прищуренные близорукие глаза, – но его ум и обаяние очаровывали всех вокруг.

Физическая энергия в нем не уступала интеллектуальной. В 1208 году, когда Фридриху было тринадцать лет, современник писал:

Он никогда не бывает праздным, но весь день занят то одним, то другим делом, причем таким образом, чтобы сила его возрастала в результате его деятельности; он укрепляет свое проворное тело всеми видами упражнений и дел, какие можно делать руками. Он либо упражняется с оружием, либо носит его, вынудив свой короткий меч, в умении обращаться с которым он достиг большого мастерства; он защищает от атак играючи. Он метко стреляет из лука и часто тренируется в стрельбе. Он любит быстрых чистокровных лошадей, и я думаю, что никто лучше его не знает, как надеть на них уздечку и как затем пустить их галопом...

Притом ему присущи королевское величие и величественные черты и мина, которым сопутствуют добрый и любезный вид, ясное чело, светящиеся глаза и выразительное лицо, пламенный дух и живой острый ум. Тем не менее действия его иногда странны и вульгарны, хотя причиной этому не натура, но общение с компанией грубых людей... Однако доблесть его превышает ту, которой обладают люди в его возрасте, и хотя он еще не взрослый, но весьма сведущ в познаниях и обладает даром мудрости, который обычно приходит лишь по прошествии лет. Что же до него, то его возраст не имеет значения; также нет нужды дожидаться, пока он достигнет зрелости, ибо он, подобно мужу, исполнен знаний и, подобно правителю, величия^[75].

Почему же, при всех этих замечательных качествах, Фридрих не смог заслужить любви своих подданных? Преимущественно потому, что те никогда его по-настоящему не понимали. Идеальный император виделся им таким новым Карлом Великим – могучий отец и защитник безупречной морали. А Фридрих обожал шокировать и пугать; в нем всегда ощущался налет самовлюбленности и снисходительного эксгибиционизма, и он проявлял удивительное равнодушие к чувствам и восприимчивости других. Порою он бывал слишком жестоким, со своими двумя женами обращался постыдным образом, а безудержное распутство оттолкнуло от него многих, чьи поддержка и дружба могли представлять ценность.

Фридрих достиг совершеннолетия в свой четырнадцатый день рождения, 26 декабря 1208 года, и спустя девять месяцев женился на Констанции, дочери Альфонсо II Арагонского, – на десять лет старше себя и уже овдовевшей. Таков был выбор папы Иннокентия, и, как представляется, по крайней мере в первые дни брака Фридрих отнюдь не разделял папский энтузиазм; но Констанция привела ему пятьсот рыцарей с оружием, а с учетом того, что во всем королевстве продолжались беспорядки, он нуждался во всей помощи, какую мог получить. Кроме того, королева, которую сопровождали фрейлины и трубадуры, привнесла утонченность, каковой до сих пор не хватало Палермо. Для Фридриха, охотно увлекавшегося всякими новинками, вдруг открылся целый неизведанный мир – мир куртуазной любви. Сам королевский брак оставался политическим шагом, Констанцию большей части игнорировали, хотя она должным образом родила супругу сына Генриха год или два спустя;

но этот брак позволил сгладить ненужные шероховатости: задолго до того, как ему исполнилось двадцать, Фридрих уже приобрел ту социальную изворотливость и тот очаровательный лоск, какими он будет славиться до конца своих дней.

В начале июня 1212 года в Палермо прибыло посольство с новостями из-за Альп. Западная Европа на собственном опыте опять осознала опасности выборной монархии: после смерти Генриха VI Германия оказалась расколота гражданской войной между претендентами на титул императора. Одного из них, Оттона из династии Вельфов, герцога Брауншвейгского, папа Иннокентий объявил императором в 1209 году, а через два года Оттон завладел так называемым Реньо, то есть материковой частью королевства Фридриха. Увы, он зашел слишком далеко: вторжение в папскую провинцию Тоскана обернулось мгновенным отлучением от церкви, а в сентябре 1211 года в Нюрнберге состоялся совет ведущих немецких князей, на котором было решено сместить Оттона. Именно эти князья отправили послов к Фридриху с предложением занять опустевший трон.

Это приглашение, как и следовало ожидать, породило суматоху при сицилийском дворе. Главные советники Фридриха настоятельно рекомендовали отказаться; к тому же призывала и супруга короля. Если не считать покойного отца, он никак не был связан с Германией; более того, его нога никогда не ступала на германские земли. Дела в собственном королевстве обстояли не лучшим образом, и минул едва ли год с тех пор, как герцог Оттон угрожал переправиться через Мессинский пролив. Возможно ли в такой момент покидать Сицилию по меньшей мере на несколько месяцев ради почестей, которые вполне могут оказаться иллюзорными? С другой стороны, отказ – и король это понимал – будет воспринят немецкими князьями как преднамеренное оскорбление и наверняка укрепит позиции основного соперника Фридриха. В Италии и в Германии Оттон продолжал пользоваться поддержкой и даже не помышлял о том, чтобы поставить крест на своих долгосрочных амбициях; он был вполне способен предпринять новый поход на Сицилию – и не принадлежал к числу тех, кто совершает одну и ту же ошибку дважды. Зато появилась возможность нанести ему сокрушительный удар, и этим нужно воспользоваться.

Папа Иннокентий, после некоторых колебаний, дал свое согласие. Избрание Фридриха сулило утверждение императорской власти к северу и югу от Папской области; однако чтобы подчеркнуть независимость – по крайней мере в теории – Сицилийского королевства империи, папа настоял на отрешении Фридриха от островного престола, который должен был перейти его новорожденному сыну (королева Констанция становилась регентом). Когда все эти формальности были урегулированы, Фридрих не стал медлить. В конце февраля он с несколькими доверенными спутниками отплыл из Мессины. Причем отправился не напрямую в Германию, а в Рим, где, на Пасху 1212 года, встал на колени перед папой и совершил феодальный ритуал принесения оммажа – технически от имени своего сына – от лица Сицилийского королевства.

Из Рима он отплыл на генуэзской галере, так или иначе ускользнув от флота, который пизанцы, верные сторонники герцога Оттона, направили на перехват. Генуэзцы, в отличие от своих соперников-пизанцев, всей душой поддерживали империю, а ведущий род города, семейство Дориа, даже предоставил свой дворец в распоряжение будущего императора до тех пор, пока альпийские перевалы снова не откроются по весне и не позволят ему завершить свое путешествие. Впрочем, нельзя утверждать, что Фридрих отныне был в безопасности. Равнины Ломбардии патрулировались враждебно настроенными миланцами, и одна из таких «разбойничьих шаяк» застала врасплох императорский кортеж, когда тот покидал Павию. Фридриху изрядно повезло: он успел вскочить на коня и, без седла преодолев вброд реку Ламбро, добраться до дружественной Кремоны. Каким маршрутом он в итоге пересек Альпы, остается лишь гадать, но к началу осени будущий император благополучно достиг Германии, а 9 декабря 1212 года немецкий архиепископ надел на него германскую корону в Майнце. Два с половиной года спустя, 25 июля 1215 года, он воссел на престол Карла

Великого и в Аахенском соборе был коронован королем римлян (традиционный титул императора Священной Римской империи). Теперь от полноты власти его отделяла только еще одна коронация, на сей раз – папская в Риме. Между тем почти ровно год назад, 27 июля 1214 года, король Франции Филипп II Август победил объединенное войско Оттона Брауншвейгского и короля Иоанна Английского при Буvene, близ Лилля, тем самым лишив Оттона всяких надежд на противостояние Фридриху. С того дня превосходство Фридриха стало неоспоримым, и потому он публично объявил о своем намерении отправиться в Крестовый поход.

В жизни Фридриха мало событий, столь же непонятных для нас сегодня. Он никогда не был особенно набожным; кроме того, он воспитывался среди мусульманских ученых, чье вероисповедание привык уважать и на чьем языке говорил бегло. На самом деле, есть достаточно оснований полагать, что он вскоре пожалел о своем заявлении, – во всяком случае, император не выказывал особого рвения в исполнении обещания. Он задержался в Германии еще на четыре года, в основном обеспечивая престолонаследие империи для своего сына Генриха, который в 1217 году прибыл с Сицилии в Германию вместе с матерью. Лишь в конце лета 1220 года родители Генриха пересекли Альпы в обратном направлении, оставив восьмилетнего мальчика заботам опекунов. Далее последовал торжественный марш через Италию, в ходе которого Фридрих раздавал королевские субсидии и прочие дары со своей обычной щедростью. В середине ноября они с Констанцией прибыли в Рим, и 22-й папа Гонорий возложил императорскую корону на его голову.

Сразу же после этой третьей коронации он вернулся на Сицилию. Годы, проведенные в Германии, принесли ему важнейший светский титул в мире, но они также убедили Фридриха в том, что в сердце он остается человеком юга и сицилийцем. В Германии ему было хорошо, но он никогда по-настоящему не любил эту страну и не чувствовал себя там как дома. Из тридцати восьми лет на императорском троне он всего девять провел к северу от Альп; на протяжении своего правления он прилагал все усилия – пусть и без заметного успеха, – чтобы переместить «центр притяжения» империи в Италию, и именно в Италии происходили основные события имперской жизни тех лет. Фридрих приступил к исполнению своего замысла в том же 1220 году, еще до того, как пересек Мессинский пролив, в первом крупном городе у северных границ – в Капуе.

Насчет обстановки в собственном королевстве он не питал иллюзий: с кончины Вильгельма II в 1189 году государство пребывало в состоянии хаоса. Террор в годы правления отца Фридриха только усилил недовольство и непокорность подданных; а отсутствие полноценного правителя – его мать, назначенная регентом, едва сохраняла контроль – и затянувшаяся «отлучка» в Германию обернулись тем, что государство оставалось целым почти исключительно по названию. Иными словами, перво-наперво следовало восстановить порядок; и Фридрих приступил к решению этой задачи посредством так называемых «капуанских ассиз», то есть ряда законов, которые заложили основы для возрождения Сицилийского королевства. По существу, эти законы предусматривали новую централизацию власти, возвращение к статус-кво, существовавшему на момент смерти короля Вильгельма. Особенную суровость проявили к аристократам: в будущем владельцам наделов запрещалось жениться (а его детям – наследовать надел) без согласия сюзерена. Все замки, возведенные на территории королевства после правления Вильгельма, были конфискованы короной.

Капуанский опыт воспроизвели в последующие месяцы в Мессине, Катании и Палермо. Обнародовались и другие законы, регулировалась даже частная жизнь. Азартные игры запретили; подданным полагалось возвращаться домой до того, как в третий раз прозвонит вечерний колокол; евреям предписали носить особое платье, но сами евреи находились под королевской защитой (им, и только им разрешалось выдавать кредиты – с доходом не выше десяти процентов). Проститутки выселили за пределы городских стен. Затем император перебрался в Сиракузы, где произошло серьезное столкновение с генуэзцами. Генуя всегда

была другом, но еще в 1204 году генуэзские купцы практически завладели городом и распространили оттуда свое влияние по всему острову. Одной из главных причин упадка сицилийской торговли в предыдущие тридцать лет было то обстоятельство, что она в значительной степени перешла в руки иностранцев; не было ни малейших шансов возродить процветание острова, пока дела обстояли подобным образом. Поэтому, несмотря на помощь, полученную от генуэзцев в ходе путешествия в Германию, Фридрих начал действовать с характерной решительностью. Он фактически вышвырнул «чужаков» с острова: все торговые уступки, предоставленные ранее Генуе, причем не только в Сиракузах, но и в Палермо, Мессине, Трапани и других торговых центрах Сицилии, были единовременно отменены, а все генуэзские склады вместе с содержимым попросту конфисковали.

Помимо Генуи, был еще один, куда более могущественный противник – мусульмане западной Сицилии. Три четверти века назад, в правление короля Рожера, арабская община являлась неотъемлемой частью королевства. Арабы составляли штат казначейства и большинство врачей и других людей науки, которые прославили норманнскую Сицилию как оплот учености. Но те времена давно миновали. Уже в правление Вильгельма Доброго большую часть территории полуавтономной арабской области передали аббатству Монреале; ныне же, после окончательного краха власти норманнов, арабы вдруг обнаружили, что их перестали ценить и уважать. Им приходилось постоянно отступать, осваивать дикую природу гористого запада острова, где арабские разбойники и пираты терроризировали местных христиан. Первый поход Фридриха против них закончился безрезультатно; лишь в 1222 году его войска захватили сарацинскую крепость Йато и пленили вожака мусульман Ибн Аббада, который вскоре окончил свои дни на эшафоте.

Но даже казнь Ибн Аббада не означала окончательного решения проблемы. Понадобилось еще несколько лет (1222–1226 годы) и еще более суровые меры со стороны Фридриха. Император уже имел опыт переселения народов: так, он заново заселил Мальту и переселил значительное число лангобардов и греков в пустующие области Сицилии. Теперь же он вывез целиком мятежное мусульманское население западного региона – около 15 000—20 000 человек – и переселил их на другой конец королевства, в город Лючера в северной части Апулии, где со временем сложилась сильная мусульманская община, а практически все местные христианские церкви были перестроены в мечети. Следует подчеркнуть, что этот город не являлся ни в каком смысле «исправительной колонией». Его граждане пользовались всеми свободами, никто не мешал им исповедовать их религию; сам Фридрих, которого, что называется, с колыбели воспитывали мусульмане, впоследствии построил там свой дворец – здание в очевидно восточном стиле, в будущем одна из его любимых резиденций.

Сарацины Лючеры, со своей стороны, выказали свою верность императору тем, что обеспечили его личными телохранителями. Они также составили персонал главных оружейных мастерских, где производилась дамаская сталь, с которой по качеству могла сравниться только сталь из Толедо. Между тем сарацинские женщины пополняли императорский гарем: речь о восточных танцовщицах, что жили в достатке и роскоши в особом крыле дворца, со своими собственными служанками и группой евнухов, следивших, чтобы им не причиняли вреда. Некоторые девушки сопровождали императора в его постоянных разъездах, и пускай всегда заявлялось, что они обеспечивают исключительно невинные развлечения для императорского двора, не подлежит сомнению – цитируя Гиббона относительно аналогичного «сопровождения» императора Гордиана, – что они предназначались на самом деле для удовлетворения похоти, а не для любования.

Так называемый Пятый крестовый поход, впервые организованный в 1213 году, был провальной затеей. Он ставил целью захватить Дамьетту в Египте; позднее планировалось обменять захваченную крепость на священный город Иерусалим. Дамьетта пала в ноябре 1219 года, но война затянулась еще почти на два года и наверняка продолжалась бы далее, не угоди крестоносцы в ловушку нильского половодья – в ловушку, из которой они вырвались,

только сдавшись в плен. После провала похода Фридрих очутился под возрастающим давлением: от него требовали сдержать клятву и предпринять еще один крестовый поход – а также снова жениться. Констанция умерла в июне 1221 года, и папа Гонорий предложил императору в жены Иоланту Бриеннскую, наследную королеву Иерусалима, которой было тогда двенадцать лет. Свой титул она получила от матери Марии, внучки короля-крестоносца Амальрика I, которая в возрасте семнадцати лет вышла замуж за шестидесятилетнего Иоанна Бриеннского. Иоанн не замедлил принять корону. После ранней смерти жены (спустя год или два) его притязания на корону считались весьма спорными, однако он продолжал править остатками королевства крестоносцев в качестве регента при маленькой Иоланте.

Фридрих поначалу не слишком обрадовался. Его суженая не имела приданого и была фактически еще ребенком (едва ли не вдвое младше будущего мужа). Что касается титула, это был пустой звук: Иерусалим уже полстолетия находился в руках сарацин. С другой стороны, подобный титул, при всей его бессодержательности, мог существенно укрепить позиции Фридриха в борьбе за город, когда император в конце концов отправился в давно откладываемый поход, намечавшийся добрых семь лет назад. Поэтому, после некоторых раздумий, Фридрих согласился. Он также признал, в ходе дальнейших обсуждений с папой, что Крестовый поход, с которым новый брак был неразрывно связан, начнется на праздник Вознесения, 15 августа 1227 года. Любая задержка, дал понять Гонорий, приведет к отлучению Фридриха.

В августе 1225 года четырнадцать галер императорского флота прибыли в Акко (Акру) – последний уцелевший форпост королевства крестоносцев, – чтобы забрать Иоланту на Сицилию. Так началось путешествие этой девочки в ее новую жизнь, в сопровождении свиты, которая включала в себя и двоюродную сестру Иоланты, на несколько лет старше будущей королевы. Фридрих вместе с новым тестем ожидал невесту в Бриндизи, где их бракосочетание и состоялось 9 ноября. Увы, этот брак оказался неудачным. На следующий день император покинул город вместе с супругой, не предупредив тестя; когда Иоанн наконец нагнал императорский кортеж, дочь со слезами на глазах поведала отцу, что новобрачный уже соблазнил ее двоюродную сестру. Когда кортеж достиг Палермо, бедную девочку немедленно отослали в дворцовый гарем. А ее отцу холодно сообщили, что он больше не является регентом, да и на титул короля у него нет прав.

Папа Гонорий умер в 1227 году. Его преемник Григорий IX, уже старик, продолжал дело своего предшественника. «Не тщишь, – писал он Фридриху вскоре после восшествия на Святой престол, – ставить свой разум, каковой роднит тебя с ангелами, ниже своих чувств, каковые роднят тебя с тварями земными и с растениями». Императору, чье распутство быстро становилось притчей во языцех, подобные поучения были назойливым укором. К тому времени Крестовый поход набрал силу. Молодые немецкие рыцари массово стекались в Апулию – они двигались к императору через Альпы и по паломническому пути через всю Италию, откуда корабли должны были доставить войско в Святую землю. Но августовский апулийский зной обернулся эпидемией – возможно, тифа или холеры; болезнь неумолимо выкашивала ряды крестоносцев. В итоге и сам Фридрих пал жертвой смертоносного вируса. Он все-таки отплыл из Бриндизи, но через день или два спустя понял, что слишком болен, чтобы продолжать путь. Император отправил выживших крестоносцев вперед, готовить плацдарм для высадки, а сам вернулся в Италию, пообещав присоединиться к ним, когда поправится, но не позднее мая 1228 года. Одновременно отослали гонца в Рим, чтобы объяснить ситуацию папе.

Григорий, однако, отказался принять этого гонца. Вместо того он в яростной энциклике обвинил императора в том, что тот дерзко пренебрегает священной клятвой. Разве не сам он, после многократных отсрочек, назначил дату отплытия? Неужели он не предвидел, что, когда на берегу скопятся тысячи воинов и паломников, зараза в летнюю жару неизбежна? И кто может подтвердить, что император в самом деле заболел? Не исключено, что это лишь

очередная попытка увильнуть от исполнения своего долга. 29 сентября папа отлучил Фридриха от церкви.

Тем самым он породил для себя новую проблему. Было очевидно, что человек, отлученный от церкви, не может возглавлять крестоносцев, – а Фридрих на меньшее не соглашался. Вышло в итоге, что папа изрядно переоценил свою власть. Фридрих обратился с открытым письмом ко всем, кто принял крест, объяснил свое положение спокойно и разумно, подавая вдобавок пример его святейшеству касательно тона и манеры изъясняться. И письмо подействовало. Когда в пасхальное воскресенье 1228 года Григорий начал проповедь с нападок на императора, римские прихожане возмутились; папу изгнали из Вечного города, и ему пришлось искать убежища в Витербо. Оттуда он продолжил обличать Фридриха, но, поскольку всего несколько месяцев он отчаянно призывал императора выступить в Крестовый поход, теперь Григорий очутился в достаточно нелепом положении, будучи вынужден требовать отказа от похода; он сознавал, что, если император вернется из Палестины победителем, папскому авторитету будет нанесен удар, оправиться от которого будет не так просто.

Историю Крестового похода Фридриха можно изложить здесь вкратце. Былая империя Саладина теперь находилась в руках трех братьев из его собственной династии Аюбидов; один из братьев, султан Египта аль-Камиль, узнав о скором прибытии Фридриха, направил императору такое предложение: если император свергнет его брата аль-Муаззама с трона в Дамаске, он, аль-Камиль, сможет отдать Фридриху утраченную территорию Иерусалимского королевства. Позднее пришла весть о смерти аль-Муаззама, и вполне могло быть так, что энтузиазм аль-Камиля несколько иссяк; но Фридрих располагал чем-то вроде козыря и был полон решимости использовать этот козырь. По прибытии в Тир в конце 1228 года он отправил посольство к аль-Камилю, который постепенно присваивал земли своего покойного брата и глубоко сожалел о своем обращении к правителю неверных. Послы напомнили султану, что император приплыл сюда исключительно по его приглашению; теперь, когда весь мир знает, что он здесь, разве может Фридрих уйти с пустыми руками? Подобная потеря лица может оказаться роковой, а аль-Камиль никогда не найдет себе нового союзника среди христиан. Что касается Иерусалима, ныне это малозначимый город, беззащитный и в значительной степени опустошенный; даже с религиозной точки зрения он гораздо менее важен для ислама, чем был когда-то для христианства. Разумно поэтому уступить город в качестве жеста доброй воли – и обеспечить этой малой ценой мир между мусульманами и христианами (а также гарантировать немедленное отбытие Фридриха).

Никаких угроз не было и в помине (во всяком случае, ни одна не прозвучала открыто). Но императорское войско высадилось на берег и было весьма многочисленным. Султан очутился в безвыходном положении. Император, как говорится, стоял на пороге, ожидая получить то, что было ему обещано, и не желал уходить, пока не получит этого. В конце концов аль-Камиль капитулировал, согласился заключить десятилетний мирный договор на следующих условиях. Во-первых, Иерусалим полагалось оставить незащищенным. Храмовая гора, с мечетями Купол Скалы и Аль-Акса напротив, открывалась для доступа христиан, но владеть ею, как и Хевроном, будут мусульмане. Христиане могут вернуть свои другие главные святыни, Вифлеем и Назарет, при условии, что те будут связаны с христианскими городами на побережье только узким коридором, проходящим через мусульманские территории. В субботу, 17 марта 1229 года, Фридрих, по-прежнему официально отлученный от церкви, въехал в Иерусалим и торжественно принял ключи от города. На следующий день, бестрепетно нарушив папский запрет, он присутствовал на мессе в церкви Гроба Господня, причем намеренно надел императорскую корону. Он добился всего, чего хотел добиться, и сделал это, не пролив ни капли христианской или мусульманской крови.

Можно было ожидать, что христианская община преисполнится ликования, но вместо этого вспыхнуло общественное негодование. Фридрих, будучи отлученным от церкви, посмел вступить в главную святыню христианского мира, которую возвратил христианам позорным

сговором с султаном Египта. Иерусалимский патриарх, который старательно игнорировал императора с момента его прибытия, публично выразил свое неудовольствие, обнародовав интердикт. Богослужения в Иерусалиме запрещались; паломники к святым местам могли не рассчитывать на искупление своих грехов. Местные бароны возмущались тем, что император не счел нужным с ними посоветоваться. Как, спрашивали они, им сохранять территории, столь хитроумно возвращенные Фридрихом, когда императорское войско уплывет в Европу?

Последней каплей, равно для священников и мирян, стал очевидный интерес императора (и его восхищение) к мусульманской вере и исламской цивилизации в целом. Фридрих настоял, к примеру, на посещении Купола Скалы – устройство этой мечети он подробно описал – и мечети Аль-Акса, где, как сообщалось, не скрывал своего разочарования тем, что не услышал призыв к молитве. (Султан велел муэдзинам хранить молчание в знак уважения.) Как обычно, он расспрашивал всех встреченных образованных мусульман об их вере, призвании, образе жизни и обо всем остальном. Для христиан Отремера^[76] подобное поведение было откровенно шокирующим; императору припомнили даже его беглый арабский. С каждым днем, проведенным в Иерусалиме, его популярность падала, и, когда он перебрался в Акко – едва избежав засады тамплиеров на пути, – город уже находился на грани бунта. Фридрих приказал своему флоту готовиться к выходу в море 1 мая и достиг Бриндизи 10 июня 1229 года.

Он нашел свое королевство в состоянии беспомощной растерянности. Старый враг Григорий IX воспользовался отсутствием Фридриха, чтобы начать фактически полноценный крестовый поход – против императора, – и в письме к государям и прелатам Западной Европы требовал людей и средств для всеобщего нападения, как в Германии, так и в Италии. В Германии попытки папы создать конкурента императору в лице Оттона Брауншвейгского не принесли успеха. В Италии, с другой стороны, он организовал вооруженное вторжение, дабы «отвадить» Фридриха от юга раз и навсегда и подчинить «освобожденную» территорию непосредственно Риму. Яростные схватки как раз велись в Абруцци и под Капуей, а несколько городов в Апулии, поверив слухам – намеренно распускавшимся папскими лазутчиками – о смерти Фридриха, подняли восстание. Чтобы побудить другие поселения последовать их примеру, Григорий опубликовал указ, освобождавший всех подданных императора от клятвы верности.

Ситуация вряд ли могла быть более отчаянной, но с возвращением Фридриха она постепенно начала меняться. Император снова был среди своих подданных, живой и здоровый, победитель сарацин, вернувший без кровопролития святыне христианскому миру. Достижения Фридриха, возможно, не произвели впечатление на христианскую общину Отремера, однако Южная Италия и Сицилия восприняли их совершенно иначе. Вдобавок многих неприятно поразило то обстоятельство, что сам папа покусился на владения человека, ушедшего в Крестовый поход. Людовик IX, король Франции, не скрывал своего изумления и гнева. Кроме того, по возвращении в родное королевство Фридрих мгновенно переменился. Исчезли злоба, бахвальство, неуверенность, которые он снова и снова демонстрировал на Востоке. Он прибыл на остров, который знал и любил; следовательно, он ощущал себя в полной уверенности. Все лето он провел в военных походах, и к концу октября папское войско потерпело поражение.

Но Григорий IX не думал успокаиваться, и примирение между папой и императором превратилось в долгий, трудный и мучительный процесс. В последующие месяцы Фридрих делал уступку за уступкой, понимая, что упрямый старый папа до сих владеет самым пагубным оружием. Ведь император по-прежнему оставался отлученным, а это было серьезной помехой и постоянным упреком и грозило потенциально опасными дипломатическими последствиями. Будучи христианином (конечно, в той степени, в какой это определение применимо к нему), Фридрих не имел никакого желания умирать отлученным от церкви. А Григорий продолжал упрямяться; лишь в июле 1230 года он, весьма неохотно, согласился на мирный договор; документ подписали в Чепрано в конце

августа, император получил прощение. Два месяца спустя они с папой отобедали в папском дворце в Ананьи. Обстановка за обедом, можно предположить, была далека от компанейской – по крайней мере поначалу; но Фридрих не зря славился своим обаянием, да и папа, похоже, был действительно польщен тем, что император Священной Римской империи приложил столько усилий, чтобы повидаться с понтификом, неформально и без помпезностей. Так завершился очередной раунд титанического противостояния императоров и пап, столь характерный для истории средневековой Европы.

Конечно, какие-то разногласия остались. Шесть лет спустя новый мятеж в Ломбардии – за которым, как обычно, стоял Григорий – позвал императора на север. При Кортенуове в 1237 году он разбил возродившую Лигу^[77] и отомстил за историческое поражение своего деда Фридриха Барбароссы при Леньяно, но тем самым удостоился нового отлучения. Наконец папа Григорий умер в 1241 году. Проживи его преемник, безнадежно дряхлый Целестин IV, хоть немного дольше, тревожения Фридриха могли бы закончиться; однако уже через семнадцать дней Целестин следом за Григорием отправился в могилу. Фридрих постарался оказать максимальное влияние на следующие выборы, но все было напрасно: генуэзский кардинал Синибальдо деи Фиески, который в июне 1243 года стал папой Иннокентием IV, показал себя еще более упорным противником императора, чем Григорий. Всего через два года после избрания, на Первом соборе в Лионе, он объявил уже отлученного Фридриха низложенным и лишил его всех достоинств и титулов.

Но от императоров не так-то просто избавиться. Этот указ, который отказались признать Людовик IX Французский и Генрих III Английский (ныне шурин императора^[78]), мало что изменил в положении Фридриха. Имя Гогенштауфенов пользовалось почетом и уважением в Германии, а на Сицилии и в Реньо его бесконечные странствия в сопровождении гарема и, довольно часто, замечательного зверинца обеспечивали такую жизнь, когда он мнил себя поистине вездесущим, этакой неотъемлемой частью повседневности. Высокомерно игнорируя папский указ, он продолжал борьбу; увы, в разгар борьбы, в декабре 1250 года в Кастель-Фиорентино в Апулии, его сразил жестокий приступ дизентерии. Он умер, одетый по обычаю цистерцианских монахов, во вторник, 13 декабря, всего за тринадцать дней до своего пятьдесят шестого дня рождения. Тело перевезли в Палермо, где и похоронили в соборе, согласно завещанию, в великолепной порфировой усыпальнице, приготовленной для его деда Рожера II, но до сих пор пустовавшей.

«Папство, – писал сэр Стивен Рансимен, – за всю свою долгую историю никогда не сталкивалось с противником столь грозным, как Фридрих II Гогенштауфен». Пожалуй, не вызывает удивления, что Данте поместил его в шестой круг своего Ада^[79]. С политической точки зрения Фридрих тоже потерпел поражение. Его мечтой было сделать Италию и Сицилию единым королевством внутри империи, со столицей в Риме. А первоочередная цель пап, которые опирались на большие и малые города Ломбардии, состояла в том, чтобы эта мечта никогда не осуществилась. И папы победили. Но Фридриха помнят не за его политические свершения; он вошел в историю как наиболее выдающийся европейский правитель в ряду между Карлом Великим и Наполеоном не за итальянские «подвиги» и вовсе не за преобразование Германии (где он бывал крайне редко, лишь когда не получалось этого избежать). Прозвище *Stupor Mundi* ему обеспечили интеллектуальные и физические качества личности. Наследие Фридриха Барбароссы и Рожера II не пропало впустую. Оба деда сами были великими людьми, но он превзошел их обоих. От Барбароссы он унаследовал неумную энергию, военное мастерство, мужество и Августову концепцию империи, реализации которой посвятил всю свою жизнь; Рожеру и сицилийскому воспитанию он обязан безграничной широтой своего ума и интересов, необыкновенным даром к языкам и страстной любви к искусствам и наукам. В 1224 году он основал университет Неаполя, один из старейших в мире, поныне известный как *Università Federico II*. Поэт среди поэтов, он привлекал людей, в кругу которых был изобретен сонет и родилась национальная итальянская литература; жгучее любопытство относительно природы физического и

метафизического побуждало его к личным контактам и переписке с мыслителями всех вероисповеданий; уцелевшие скульптуры с триумфальных ворот Капуи (его собственный проект) выдают в императоре отличного архитектора и щедрого «покровителя муз». Он с полным основанием мог притязать на звание первого государя эпохи Возрождения – за два столетия до этой эпохи.

Глава 7

Сицилийская вечерня

Лишившаяся твердой руки Фридриха, Сицилия быстро скатилась в привычные хаос и неразбериху. Что-то – возможно, отчасти сказывалось арабское прошлое – вечно мешало сицилийцам обрести хотя бы подобие единства; почти все их крупные города страдали от внутренних распрей, следствием чего стала этакая многосторонняя гражданская война на острове. Бароны захватывали власть, причем каждый сражался исключительно за себя; в итоге получилось, что если на материке феодализм медленно угасал, на Сицилии он только укреплялся. Сельское хозяйство фактически умерло, численность населения резко сократилась; подсчитано, что за последующие два столетия она снизилась едва ли не вполовину.

Не менее десяти детей и внуков Фридриха погибли в заключении или встретили насильственную смерть. Его старший сын Генрих, коронованный Генрихом VII Германским (он так и не стал императором Священной Римской империи), восстал против своего отца и умер в тюрьме в 1242 году. Конрад, сын от Иоланты Иерусалимской, выбранный Фридрихом в качестве преемника, прилагал все усилия, чтобы восстановить порядок; но ему приходилось проводить большую часть времени в Германии, а область Реньо доверили незаконнорожденному сыну Фридриха Манфреду, любимцу среди одиннадцати бастардов (по воле отца он получил титул князя Таранто). Когда Конрад скончался от малярии в возрасте двадцати шести лет, пережив отца всего на четыре года, Манфред отказался передать Сицилию папе Иннокентию IV и принял бремя регентства от имени Конрадина, двухлетнего сына своего сводного брата. Папа предсказуемо пришел в ярость, немедленно отлучил Манфреда от церкви и принялся спешно искать других, подходящих кандидатов на трон. Ричард Корнуолл, брат английского короля Генриха III, одно время ходил у него в фаворитах, однако, будучи богатейшим человеком Англии, он счел, что цена слишком высока, и отказался от предложения папы; он сказал, что это все равно что сделаться правителем луны при условии, что ту рано или поздно совлекут с неба. Аналогичное предложение было сделано в 1253 году – восьмилетнему сыну короля Генриха, Эдмунду Ланкастеру; как ни удивительно, тот выразил согласие и был официально коронован папским легатом. На протяжении десяти лет Эдмунд именовал себя «милостью Божией королем Сицилии» и даже отправил епископа Херефордского собирать налоги со своих новых подданных; но вскоре всем сделалось понятно, что эта идея обречена на провал, и больше к ней не возвращались.

Манфред между тем распространил свою власть на большую часть Южной Италии. Папа Александр IV, который в 1254 году сменил одиозного Иннокентия и которому Манфред виделся ничуть не менее опасным, чем его отец, направил против сына Фридриха войско, каковое Манфред с легкостью разгромил. Он был достойным потомком Фридриха. В отличие от отца, он был удивительно хорош собой; кроме того, он унаследовал уважение к учености и литературе, а также сокрушительное отцовское личное обаяние. Он воссоздал блестящий двор Фридриха, основал апулийский порт Манфредония и женился на Елене, дочери Михаила II, деспота Эпирского; этот брак принес ему остров Корфу и значительный участок албанского побережья. Дочь самого Манфреда, Констанция, стала женой Педро Арагонского, наследника престола; данный союз оказался гораздо более важным, чем его

поначалу восприняли современники. Наконец в августе 1258 года Манфред потребовал от сицилийских баронов провозгласить себя королем.

Но папа Александр не собирался сдаваться. Изнеженный, слабовольный, он, тем не менее, не желал и попросту не мог признать короля-Гогенштауфена, а посему посвятил большую часть своего семилетнего понтификата поискам «поборника Христова», способного избавить Южную Италию раз и навсегда от этой ненавистной династии. С его точки зрения, сицилийский трон оставался вакантным, и папа продолжал попытки найти достойного кандидата, когда смерть настигла его в 1261 году в Витербо (где, чтобы избежать фракционной борьбы в Риме, он в основном находился). Именно в Витербо, после трех месяцев безрезультатных обсуждений, кардиналы избрали на Святой престол человека со стороны – патриарха Иерусалимского, которому как раз случилось прибыть в курию по некоему официальному поводу. Жак Панталеон был французом, сыном бедного сапожника из Труа. Он принял имя Урбана IV, и очень быстро его выбор остановился на соотечественнике – и, кроме того, на человеке весьма выдающихся способностей, Карле Анжуйском.

Брату короля Людовика IX (Святого), Карлу исполнилось тридцать пять лет. В 1246 году он приобрел через жену Прованс, который принес ему несметные богатства; также Карлу принадлежал процветающий порт Марсель. Этому бесстрастному, жестокому, весьма талантливому и амбициозному правителю папа и предложил шанс, который никак не следовало упускать. Рим обещал, что поход против Манфреда будет объявлен крестовым, а это означало, что войско Карла окажется обычным сборищем авантюристов, жаждущих добыть себе владения в Реньо, паломников, ищущих искупления грехов, и откровенных разбойников, мечтающих о грабежах. К ним, однако, примкнуло значительное число рыцарей со всей Западной Европы – французы, немцы, испанцы, итальянцы и провансальцы; было даже несколько англичан, приглашенных, как говорится, за компанию; и Карл твердо верил, что этого войска будет более чем достаточно против строптивого Манфреда.

Шестого января 1266 года Карл Анжуйский был коронован в Риме – не преемником Урбана, Климентом IV^[80], а пятью кардиналами – как король Сицилии; менее чем через месяц, 3 февраля, его войско пересекло границу Реньо. На сей раз никто не ждал затяжной кампании. Две силы встретились 26 февраля близ Беневенто, и все закончилось довольно быстро. Манфред, доблестный, как всегда, не отступал и погиб в сражении; его солдаты, безнадежно уступая врагу числом, вскоре обратились в бегство. Мало кто из них выжил. Мост через Калоре был заблокирован; а в доспехах не было ни шанса переплыть вспухшую после дождей реку. Королева Елена и трое сыновей Манфреда пытались бежать через Адриатику в Эпир, но были схвачены на побережье, где ждали лодку, и заключены под стражу в Ночере. Елена умерла в заточении пять лет спустя, не дожив до тридцати. Ее сыновья тоже оставались в тюрьме до самой смерти. Один из них был еще жив в 1307 году.

Крестовый поход завершился – точнее, почти завершился. Через два года молодой Конрадин, «прекрасный, как Авессалом», предпринял последнюю отчаянную попытку спасти ситуацию – повел войско из немцев, итальянцев и испанцев через Альпы. Его маршрут пролегал через Верону, Пизу, Сиену и Витербо в Рим, где Конрадина встретили как императора; отсюда он двинулся на поиски Карла. Войска сошлись у деревни Тальякоццо. Битва, состоявшаяся 23 августа 1268 года, обернулась кровавой резней с обеих сторон. В какой-то миг показалось, что подавляющее большинство анжуйцев погибло, а уцелевшие ударились в бег, и Конрадин уже поздравлял себя с победой. Но выяснилось, что хитроумный Карл приготовил засаду: внезапно из-за складки холмов вылетела тысяча конных рыцарей, которые обрушились на Конрадина и тех его воинов, что собрались у знамени Гогенштауфенов. Атака застала врасплох и оказалась полной неожиданностью. Конрадин бежал с поля битвы и сумел добраться до Рима, но вскоре был схвачен. Состоялся показательный судебный процесс в Неаполе, и 29 октября молодого принца вывели на рыночную площадь и публично обезглавили. Ему было всего шестнадцать лет.

Линия Гогенштауфенов в Италии прервалась; с нею завершилось и кое-что еще, о чем впоследствии жалели гораздо сильнее: речь о золотом веке Сицилии. Упадок острова прослеживался на протяжении нескольких десятилетий – с того самого Рождества 1194 года, когда Генрих VI принял королевскую корону. Его сын Фридрих неизменно говорил, что ставит остров выше всех прочих своих владений, но чем старше становился, тем меньше и меньше времени проводил на Сицилии, предпочитая Апулию, где до сих пор высится его большой охотничий замок Кастель-дель-Монте. Это объяснялось не только личными предпочтениями; вмешивались и практические – политические – соображения. При норманнах, когда королевство состояло преимущественно из Сицилии и Южной Италии, имело смысл управлять из Палермо; но поскольку король-император правил также Северной Италией и (по крайней мере теоретически) большей частью Северной Европы, прежняя столица оказывалась слишком далеко. Мессинский пролив, пусть всего пару миль в ширину и представлявший большую ценность для торговли, сделался из преимущества препятствием, а главные заботы Фридриха – вечные смуты в Германии и постоянная борьба с папством – мало интересовали простых сицилийцев.

Манфред тоже отдавал предпочтение материке. Своими основными резиденциями он сделал Неаполь и Лючеру и редко посещал Сицилию после коронации. Это было серьезной ошибкой: согласись он поселиться в Палермо и должным образом присматривать за Реньо, как было заведено у его предков-норманнов, он мог бы спасти остров от печального упадка и установить собственную прочную династию. Но Манфред так и не сумел выйти из гигантской тени своего отца; он всегда ощущал, что предназначен для большего. Вдобавок у него имелись амбиции относительно севера Италии и, возможно, дальних земель. Сицилия была для него недостаточно велика, и потому они пострадали оба – и остров, и правитель.

С приходом анжуйцев возникло ощущение, что острову предстоит окончательно кануть в забвение. Карл Анжуйский выказывал минимальный интерес к Сицилии, сосредоточил внимание на Тоскане – благо папа Климент IV назначил его имперским викарием этой области; в Тоскане же шла почти непрерывная война между двумя великими фракциями средневековой Италии, гвельфами и гибеллинами. Но сицилийцы дали понять, что их не просто игнорировать. В конце лета 1267 года они подняли восстание. Прошло два года, прежде чем порядок удалось восстановить, и суровые кары, постигшие равно виновных и невинных, оставили неизгладимый след – обиду и враждебность, которым еще предстояло проявиться. Положение усугубила затеянная Карлом реорганизация королевства, в целом по французскому образцу. Французский язык отныне сделался языком управления. Король отказывался признавать, что Манфред и Конрадин – или даже Фридрих, официально отлученный папой Иннокентием в 1245 году, – были законными правителями Сицилии. Поэтому все введенные ими законы, заодно с выделением земель, признали недействительными. Если землевладелец не мог убедительно доказать, что владел своей территорией до 1245 года, его владения конфисковывались. Эти конфискованные земли, наряду с теми, которые были отобраны у осужденных мятежников, Карл либо забирал себе, либо раздаривал своим друзьям, почти исключительно французам или провансальцам. Снова – велик соблазн написать «как всегда» – сицилийцы проиграли.

Приблизительно к 1270 году Карл Анжуйский сумел покорить большую часть Апеннинского полуострова; выполнение этой задачи в немалой степени облегчила смерть папы Климента в 1268 году, поскольку кардиналы не смогли избрать преемника. Благодаря своему значительному влиянию на курию Карл добился того, что папский престол оставался незанятым следующие три года, – и тем самым полностью развязал себе руки в Италии^[81]. В целом он правил, скажем так, полезно: проявил себя первоклассным администратором, упорно трудился, постоянно перемещался по своему королевству со свитой писцов и секретарей, лично вникал во все дела, которые доводились до его сведения; лишь к концу жизни он стал сосредотачивать управление в Неаполе и сделал этот город столицей не только по названию.

Сицилия при этом пребывала в небрежении. По острову еще гремели отголоски недавнего восстания. Порты стояли пустыми; промышленность практически не развивалась. За королевскими владениями, как и следовало ожидать, ухаживали надлежащим образом, но для типичного сицилийца вполне логично было прийти к следующему выводу: что остров сделался отдаленной и малозначимой провинцией, на которую ее правитель попросту махнул рукой. В последние пятнадцать лет правления Карл, несмотря на все свои путешествия по Реньо, побывал на Сицилии ровно один раз. Направляясь к своему брату Людовику в Тунис, он вряд ли мог избежать остановки на острове; но даже в этом случае визит ограничились всего несколькими сутками. Надо признать, что Карл проявил несвойственную для себя близорукость; обычно он мыслил рассудительно и не мог не понимать, что таким пренебрежением закладывает мину замедленного действия. Сицилийцы – народ гордый, а память у них долгая.

Для тех, кто презирал Анжуйский дом и все, что тот олицетворял, после смерти Конрадина средоточием надежд стал двор короля Педро III Арагонского. В 1262 году Педро женился на Констанции, дочери Манфреда, которая волей судьбы осталась единственной представительницей династии Гогенштауфенов на юге; поэтому все большее число беженцев с Сицилии и из Реньо спешили к ее двору в Барселоне. Среди них был и один из величайших заговорщиков той эпохи. Его звали Джованни Прочида. Он изучал медицину в родном Салерно и, будучи личным врачом императора, ухаживал за Фридрихом на смертном одре. Позднее он поступил на службу к Манфреду, бился с Конрадином при Тальякоццо, затем поехал в Германию с целью убедить другого внука Фридриха II вторгнуться в Италию и восстановить линию Гогенштауфенов. Только когда этот план провалился, он перебрался, вместе с двумя сыновьями, в Барселону. Констанция виделась ему последней надеждой Гогенштауфенов. Король Педро оказал Прочиде радушный прием и назначил его канцлером; в этом качестве он мог сфокусироваться на устройстве крупного заговора во имя падения Анжуйской династии.

Есть замечательная легенда, которая обнаруживается в сочинениях Петрарки и Боккаччо: Джованни Прочида якобы странствовал инкогнито по Европе, заручаясь поддержкой для своего дела, побывал у императора Михаила VIII Палеолога в Константинополе и вернулся с огромным запасом византийского золота. Эта легенда почти наверняка не соответствует действительности: к тому времени Прочиде было уже почти семьдесят, и в годы, о которых идет речь (1279–1280), его подпись регулярно появлялась на документах Арагонского королевства. Вполне возможно, что упомянутое путешествие предпринял кто-то другой (например, один из его сыновей), а молва приписала поездку самому Джованни. Что касается контактов между Барселоной и Константинополем, они и вправду существовали, и император Михаил знал, что Карл Анжуйский готовит масштабный поход против его империи. Следовательно, император наверняка собирался нанести упреждающий удар, прежде чем этот поход начнется. Педро, со своей стороны, призывал подождать, пока анжуйцы не тронутся в путь.

На самом деле выбор времени зависел, как выяснилось, не от короля или императора, а от сицилийцев. К 1282 году анжуйцы добились того, что их горячо ненавидели во всей области Реньо – благодаря высоким налогам и надменному поведению; когда вечером пасхального понедельника, 30 марта 1282, пьяный француз сержант начал приставать к некоей сицилийке у церкви Санто-Спирито, под звон колоколов к вечерне, земляки оскорбленной этого не стерпели. Француза убил муж обесчещенной женщины; далее вспыхнул бунт, который обернулся бойней, – к утру погибли 2000 французов.

Мятеж распространялся со скоростью лесного пожара. 30 августа король Педро с войском высадился в Трапани и через три дня был в Палермо. Формальная коронация, на которую он рассчитывал, оказалась невозможной: архиепископ Палермо скончался, а проанжуйски настроенный архиепископ Монреале благоразумно скрылся. Педро пришлось довольствоваться простым объявлением. Он публично признал свой новый титул и пообещал

соблюдать права и свободы своих новых подданных, а затем позвал всех дееспособных мужчин Палермо и окрестностей идти на Мессину, остававшуюся под французами. Как сообщают хронисты, этот клич был встречен с энтузиазмом. Для всех добрых жителей Палермо, которые одинаково презирали мессинцев и французов, открывшаяся возможность была слишком хороша для того, чтобы ею не воспользоваться.

В Мессине Карл принял на себя командование; именно там, 17 сентября, он встретил посланников короля Педро. К тому времени он осознал, что испанское завоевание является свершившимся фактом. У него не было ни малейшего желания ввязываться в бой с силой, значительно, как он подозревал, превосходившей его собственную; менее того он стремился очутиться запертым на острове. Поэтому Карл сообщил послам, что, разумеется, отвергает все притязания их господина, но готов, в знак доброй воли, эвакуировать свое войско на материк. Для Педро, который намеренно затягивал выступление, такая новость была именно тем, что он желал услышать. Он тоже всячески стремился избежать кровопролития. Требовалось лишь выделить анжуйцам неделю или две для переправки войска через пролив; тогда остров достанется Арагону без необходимости затевать сражение.

Педро, конечно, в полной мере сознавал, что не может полагаться на неизменную лояльность сицилийских баронов; в частности, его предупреждали насчет одного из них, некоего Алаимо из Лентини, капитана Мессины, который успел предать короля Манфреда и короля Карла. А жена Алаимо, Махальда, была, судя по всему, еще изворотливее своего мужа. Когда утомленный дорогой Педро прибыл в крошечную деревушку Санта-Лючия близ Милаццо, где собирался провести ночь, его ожидал малоприятный сюрприз – эта женщина решила лично встретить правителя. В качестве предложения для своего появления она выбрала ключи от Катании, которая согласилась сдать; но вскоре стало очевидно, что истинная ее цель состояла в том, чтобы сделаться королевской любовницей. Бедняге Педро выпал весьма непростой вечер. Он устоял только благодаря пространному изложению своей любви и верности королеве Констанции; хронисты упоминают, что Махальда не сочла этот аргумент убедительным. С той поры она не делала секрета из своей ревности к королеве и всячески старалась настроить своего мужа против королевской четы.

Сложно сказать, знал ли или нет Алаимо о происках своей жены; так или иначе, он поначалу довольно охотно сотрудничал, пригласил Педро в Мессину и призвал нанести анжуйцам такой урон, какой будет возможен. Педро оправдал ожидания. Его флот пришел в Мессину; анжуйцы находились на другой стороне пролива, в Реджо, и по сей день оставались во многом дезорганизованными. В середине октября состоялись два морских сражения; второе, у Никотеры 14 октября, привело к захвату двадцати одной французской галеры на пути из Неаполя, причем все галеры были нагружены вооружением по самые борта. В последующие годы случился еще ряд столкновений, одно из которых, 5 июня 1284 года у Кастелламаре, обернулось пленением сына и наследника Карла, князя Салернского.

Карл, естественно, отказывался признать свое поражение и даже предложил определить, кому владеть Сицилией, в рыцарском поединке с Педро; предполагалось, что поединок пройдет под наблюдением англичан в Бордо, до которого было несколько недель пути. Педро довольно неожиданно принял этот вызов, хотя на последовавших переговорах было решено, что, поскольку Карлу уже пятьдесят пять (глубокий старик по меркам того времени), а Педро всего сорок, будет справедливее, если каждый монарх выставит по сотне тщательно отобранных рыцарей. Датой поединка назначили вторник, 1 июня 1283 года; к сожалению – или, возможно, к счастью, – точный час указывать не стали. Арагонцы прибыли рано утром – и не увидели никаких признаков присутствия Карла. Поэтому Педро объявил о своей победе над трусливым соперником, который не дерзнул даже показаться. Карл появился несколько часов спустя и тоже заявил, что, раз Педро и свиты нигде не видно, победа осталась за ним. Эти двое монархов так никогда и не встретились. Потери – по времени и в финансах – были существенными, зато обоим удалось сохранить честь.

Между тем область Реньо поделили пополам, и, поскольку Карл решительно отвергал все требования отказаться от титула короля Сицилии, родилась так называемая легенда о двух Сицилиях. Карл правил из Неаполя, Педро правил из Палермо, и каждый был твердо намерен изгнать другого и воссоединить страну. Но дни славы Карла миновали. Его империя была построена на песке и скоро утратила статус мировой державы. Уже не могло быть и речи о походе на Константинополь. 7 января 1285 года Карл умер в Фодже. На протяжении двадцати лет он господствовал в Средиземноморье, одержимый в равной степени ненасытным честолюбием и сжигавшей его изнутри энергией, которая не давала ему покоя. Он был по-настоящему набожным человеком, но эта набожность не научила его смирению, ибо он всегда считал себя избранным и инструментом Бога. Она также не наделила его человеколюбием, ибо он верил, что французы являются высшим народом, и не предпринимал попыток понять мысли и своих подданных из числа других народов; поэтому он последовательно недооценивал своих врагов, в частности Арагонский дом. Наконец, в нем не было сострадания: решение о казни шестнадцатилетнего Конрадина потрясло всю Европу, и в этой смерти Карла обвиняли до конца его дней. В некоторых случаях им восхищались, но никогда не любили.

Возможно, его самой крупнейшей ошибкой стало пренебрежение к Сицилии и сицилийцам. Те раздражали его долгим и упорным сопротивлением в начале правления; когда восстание было подавлено, остров стал вызывать у него скуку. Бедные и потому неспособные приносить прибыль островитяне были вдобавок «презренной смесью» с точки зрения расовой чистоты, постыдной помесью латинян, греков и арабов; Карл считал, что к такому народу не следует относиться серьезно. Вот почему он ни разу не удостоил остров полноценным визитом. И наверняка несказанно бы удивился, сообщи ему кто-нибудь, что именно сицилийцы – с незначительной помощью друзей – обрушат в конце концов его власть.

Если наследник престола к моменту кончины предыдущего правителя сидит под стражей, вряд ли его правление будет успешным. Наследником Карла был его сын, князь Салернский, который принял имя Карла II и получил прозвище «Хромой» (Le Boiteux). Его захватил в плен арагонский флотоводец Рохер из Лаурии в 1284 году, и, когда умер его отец, он по-прежнему находился в заточении. Между тем война отнюдь не закончилась; наоборот, она продолжилась и в следующем столетии. Короли Франции – племянник Карла Анжуйского Филипп III Смелый и его сын и преемник Филипп IV Красивый, приходившиеся, соответственно, мужем и сыном сестре Педро Арагонского Изабелле, – не складывали оружия по соображениям семейной чести и пытались вернуть Сицилию.

Папскому престолу тоже следовало помнить о своем авторитете, ведь Сицилию и область Реньо Карлу Анжуйскому вручил не кто иной, как папа Урбан. Именно поэтому сразу после Сицилийской вечерни папа Мартин IV – снова француз – отлучил Педро от церкви и наложил на остров интердикт. Вскоре после того он сделал следующий шаг – объявил Педро низложенным и лишил того всех владений, которые теоретически отошли младшему сыну короля Филиппа, графу Валуа. Сицилийцы, со своей стороны, вполне охотно согласились, как кажется, на испанское владычество. Их восстание было направлено не против иностранной оккупации как таковой, а лишь против Карла, который узурпировал трон, облагал местное население налогами без всякой пощады и относился к островитянам как к гражданам второго сорта на их собственном острове. Жена Педро, Констанция Гогенштауфен, была вдобавок их законной королевой. А далекий правитель где-то за Средиземным морем, несомненно, был предпочтительнее того, кто стоял буквально, как говорится, на пороге дома.

Невзгоды, увы, оказались суровее, чем представлялось сначала. Папский интердикт действовал целое столетие (пусть его в значительной степени игнорировали, а потому этот указ, вероятно, причинил больше вреда репутации пап, чем самим сицилийцам), а в

последующие четыреста лет остров очутился в политическом союзе не с Апеннинским, а с Иберийским полуостровом. Культурная и интеллектуальная жизнь Сицилии изрядно пострадала, потому что островитян отрезали от университета Неаполя, тем более важного для них, поскольку на острове не было собственного учебного заведения подобного типа. С экономической точки зрения дела тоже обстояли не слишком благополучно: Мессина и, в меньшей мере, Палермо лишились коммерческих контактов с итальянскими портами.

А впереди ожидало новое, куда более жестокое разочарование. В Италии как раз наступала эпоха Возрождения. Данте родился в 1265 году, Джотто – два года спустя. Следующие три столетия зафиксировали «взрыв национального гения», равного которому мир еще не видывал. Останься Сицилия итальянской, она могла бы разделить все эти достижения, могла бы даже внести собственный значимый вклад. Вместо того она стала испанской и потому во всех областях, кроме архитектуры, итальянское Возрождение прошло фактически мимо острова.

Правда, имелось одно, зато поистине ослепительное исключение – по имени Антонелло да Мессина. Он родился в 1430 году, учился в Неаполе, где в середине пятнадцатого столетия царила мода на фламандскую живопись. Джорджо Вазари, ошибочно приписавший да Мессине внедрение техники рисования масляными красками в Италии, утверждал, что живописец вдохновлялся великолепным триптихом Яна ван Эйка («Иоанна из Брюгге»), нарисованным по заказу генуэзского дожа Баттисты Ломеллини и ныне, увы, бесследно исчезнувшим; стиль да Мессины и вправду больше напоминает о Фландрии, чем о жарком юге. Он действительно оказал колоссальное влияние на итальянскую живопись; критик Джон Поуп-Хеннесси называет его «первым итальянским художником, для которого индивидуальный портрет был самостоятельным видом искусства». Помимо Неаполя да Мессина работал в Милане и Венеции; но Мессина оставалась его домом, и там он скончался в феврале 1479 года.

Не исключено, что королю Педро Арагонскому нередко выпадала возможность пожалеть, что он в свое время не остался дома. После смерти Фридриха II Сицилия стала практически неуправляемой; Педро, который не мог опереться на папский авторитет для покорения острова, как поступил ранее Карл Анжуйский, оказался в зависимости от местных баронов и потому был вынужден действовать с крайней осторожностью. Он вернул правительство из Мессины, оплота анжуйцев, в Палермо; публично заявил, что Сицилия будет существовать как независимое королевство и не сольется с Арагоном (чего опасалось большинство сицилийцев); он даже зашел настолько далеко, что пообещал: после его смерти две короны достанутся двум различным представителям династии. Эти шаги были встречены с одобрением; с другой стороны, для реализации долгосрочных планов Педро по завоеванию всей области Реньо, арагонский и сицилийский флоты все-таки объединили. Посему многие из тех, кто принимал участие в восстании 1282 года, полагали, что бунтовали напрасно: остров оставался таким же зависимым, как и при анжуйцах, а произвол правительства был силен, как никогда. В бессильной ярости они наблюдали, как крупные поместья передаются испанской феодальной аристократии – точно так же, как раньше эти поместья передавались французам.

Педро умер 2 ноября 1285 года, всего через десять месяцев после смерти своего заклятого врага Карла Анжуйского. (Данте, по неведомой причине, поместил их обоих у врат чистилища.) Правитель сдержал обещание и разделил свое королевство, оставив Арагон старшему сыну, двадцатидвухлетнему Альфонсо III (обрученному с Алиенорой, дочерью короля Эдуарда I Английского), тогда как Сицилия отошла второму сыну короля, Хайме. В тот судьбоносный год случились еще две смерти. Прежде всего упомянем о кончине 28 марта папы Мартина. Его понтификат оказался сущей катастрофой. Конечно, папский престол поддерживал анжуйцев; любая попытка нарушить эти обязательства была бы равносильной признанию ошибочности действий наместника святого Петра. Однако

по-настоящему мудрый человек с толикой дипломатического таланта сумел бы, пожалуй, найти менее тернистый путь и уберечь папский престол – заодно с французами – от унижения. Мартина сменил семидесятипятилетний Гонорий IV^[82], знатный римлянин, которого настолько извела подагра, что ему приходилось служить мессу не вставая с кресла и возлагать руки на алтарь при помощи механического устройства. Новый папа тоже не видел альтернативы анжуйцам, но был полон решимости восстановить мир в Италии – хотя бы посредством войны.

Пятого октября смерть настигла и Филиппа Смелого, короля Франции, который умер в Перпиньяне от лихорадки, сгубившей несколько тысяч солдат в войске, что собралось против Арагона тем летом. Это было еще одно унижительное фиаско, и Франции и папскому престолу потребовалось много времени, чтобы от него оправиться. Трон занял сын, Филипп IV Красивый, юноша семнадцати лет, обладавший, несмотря на молодость, отменным политическим чутьем. До сих пор он открыто симпатизировал Арагону и выступал категорически против поддержки Францией Карла Анжуйского; но после восшествия на престол он изменил свое мнение и стал одобрять притязания своего брата Карла Валуа. В конце концов он стал королем Франции; как же возможно не поддерживать соотечественников-французов? Король Хайме I Сицилийский^[83] был коронован в Палермо в 1286 году. Сразу после церемонии он отправил посольство к папе Гонорию, поклялся в вечной верности и молил признать его титул. Папа в ответ отлучил Хайме и мать короля, Констанцию Гогенштауфен, и наложил на Сицилию интердикт; епископов Никастро и Чефалу, которые присутствовали на коронации, вызвали в Рим для объяснений. Отношение папского престола к острову вряд ли можно было продемонстрировать более явно. Гонорий, что называется, вышел на тропу войны. Он распорядился начать вторжение на Сицилию, что и произошло весной 1287 года. Вторжение завершилось провалом. Многочисленный французский флот, усиленный папскими кораблями, покинул Бриндизи и высадил войско на побережье между Катанией и Сиракузами. К концу июня враг по-прежнему осаждал мелкий населенный пункт на берегу, и тут на французов напал Рохер из Лаурии, который захватил сорок восемь галер вместе с большим числом французских и провансальских аристократов. Тех в конечном счете освободили, но лишь после выплаты немалого выкупа.

Здесь, пожалуй, стоит сказать чуть больше о самом Рохере, вероятно, наиболее успешном и талантливом флотоводце Средневековья. Он родился в 1245 году в южной итальянской семье, хранившей непоколебимую верность Гогенштауфенам; после казни молодого Конрадина в 1268 году семья бежала в Барселону. Там король Педро посвятил Рохера в рыцари, а в 1282 году поставил его командовать арагонским флотом. В следующие двадцать лет Рохер дал как минимум шесть крупных морских сражений – и победил в каждом из них. После воцарения третьего сына Педро, Фридриха III, в 1296 году, Рохер переметнулся к анжуйцам и в своей последней битве – при Понце в июне 1300 года – разгромил и пленил короля Фридриха.

Одобренное папой вторжение на остров привело к провалу, но Гонорий не успел этого узнать – он умер в апреле 1287 года. Десять месяцев папский престол пустовал, и члены коллегии кардиналов (а их было немало), враждебные к французам, пытались не допустить избрания очередного ставленника анжуйцев. Между тем, благодаря посредничеству короля Англии Эдуарда I, бедный Карл II Анжуйский наконец получил свободу. Это обошлось ему в сумму свыше 50 000 серебряных марок, а еще он был вынужден оставить заложниками троих своих сыновей (к счастью, у него было четырнадцать детей) и шестьдесят провансальских дворян. Он поклялся добиться такого мира, который удовлетворил бы, с одной стороны, королей Альфонсо и Хайме, а с другой – был бы приятен Филиппу Французскому, Карлу Валуа и папе. Задача едва ли выполнимая, но чего не пообещаешь ради освобождения из тюрьмы. Плохая новость состояла в том, что, если за три года он не преуспеет, ему следовало отказаться от Прованса – или вернуться в плен.

Карла подстерегало и еще одно разочарование. На сей раз затруднения обеспечил король Франции. Ему категорически не нравилось условие насчет Прованса. К тому моменту кардиналы наконец выбрали нового папу, францисканца Николая IV. И папа также возражает против выдвинутых условий. Следовательно, выход оставался один: король Эдуард должен вернуться за стол переговоров и добиться иных условий. Так и поступили; договор в Канфранке, подписанный в октябре 1288 года, предоставил Карлу свободу во многом на тех же условиях, что и ранее. Среди прочего ему полагалось отправиться во Францию и обсудить ситуацию в мире – и будущее Сицилии – с королем Филиппом.

По прибытии к французскому двору Карла ожидал очевидно холодный прием. Филипп не имел ни малейшего желания заключать мир с Арагоном; более того, арагонских послов, которые сопровождали Карла, тут же поместили под арест. Карл уехал, как только смог, и вернулся в Италию, где папа Николай в Риети, к великому смущению бывшего пленника, настоял на немедленной коронации. Альфонсо Испанский предсказуемо разгневался, но в итоге неохотно согласился на двухлетнее перемирие. Затем Карл поспешил обратно во Францию, чтобы договориться с королем Филиппом и Карлом Валуа.

Он сумел добиться своего. Несколько месяцев спустя, 18 мая 1290 года, его дочь Маргарита стала женой Карла Валуа, принесла последнему в качестве приданого графства Анжу и Мэн. Взамен супруг согласился отказаться от своих притязаний и заключить мир с Арагоном. Все это подтвердил договор, подписанный в Бриньоле в феврале 1291 года; кроме того, Альфонсо пообещал как можно скорее отправиться в Рим, чтобы лично уладить разногласия и примириться с папой. Встречу назначили на июнь, но перед самым отъездом король внезапно подхватил лихорадку и умер в возрасте двадцати шести лет. Из-за отлучения от церкви он не смог жениться на английской принцессе и потому скончался бездетным. Наследником поэтому стал его брат Хайме, король Сицилии. Впрочем, по отцовскому завещанию Хайме теперь следовало передать Сицилию своему младшему брату Федеригу.

Но Хайме отказался. Он принял Федеригу в качестве вице-короля, однако был твердо намерен править островом и далее. Папа Николай, недолго думая, собрался его отлучить, но в апреле 1292 года скончался, преуспев в восстановлении власти анжуйцев не больше своего предшественника. На сей раз папский престол пустовал двадцать семь месяцев, и за этот срок Хайме, как и Альфонсо до него, все сильнее разочаровывался в Сицилии. В королевстве Арагон хватало собственных проблем, чтобы далее цепляться за этот беспокойный остров – разделенный, мятежный, охваченный хаосом. Анжуйцам он нужен по какой-то неведомой причине, так пусть берут, иначе, похоже, мира в Европе не видать. Да, пускай заплатят разумную компенсацию – и забирают.

Сицилийский вопрос не давал Хайме покоя, а двенадцать кардиналов наконец сошлись во мнениях относительно нового папы – и вручили тройную тиару человеку, которого можно назвать одним из наиболее недостойных людей, когда-либо занимавших, сколь угодно кратко, папский престол. Можно заподозрить здесь вмешательство Карла II, который лелеял далеко идущие планы на всю Европу и которому требовался папа, гарантированно неспособный доставить неприятности; но даже Карл наверняка изумился кандидатуре Целестина V, перепуганного восьмидесятипятилетнего крестьянина, который шесть с лишним десятков лет прожил отшельником в Абруцци. Целестин вряд ли осознавал, что с ним произошло; папскими обязанностями – политическими, дипломатическими и административными – он откровенно пренебрегал и попросту их игнорировал. Он редко соглашался встречаться с кардиналами, чьи искушенность и утонченность были для него непереносимы, а когда все-таки встречался, кардиналам приходилось забывать изысканную латынь и изъясняться на простонародном жаргоне – единственном языке, который папа понимал. Неудивительно, что он занимал престол всего пять месяцев, а затем мудро объявил о своем отречении (до 2013 года^[84] это было единичное отречение в истории папства). Целестина можно пожалеть; обычно его отождествляют с той безымянной фигурой, которую Данте встречает в третьей песни «Ада» Инферно и обвиняет в малодушном отречении от

великой доли (*il gran rifiuto*). На деле же Целестин вовсе не был трусом; он просто хотел снова сделаться отшельником.

Получив разрешение от папы Целестина, Карл начал действовать. Он не сомневался, что сумеет вернуть Сицилию, если правильно разыграет свои карты; в этом ему помогал чрезвычайно деятельный новый папа Бонифаций VIII. 12 июня 1295 года был подписан мир с королем Хайме в Ананьи. Хайме освобождал сыновей Карла, пребывавших заложниками, и брал в жены дочь Карла Бланку; одному из сыновей Карла надлежало жениться на сестре Хайме Виоланте. Брату Хайме, Федериги, отдавали руку Екатерины де Куртенэ, дочери Филиппа I, титулярного императора Константинополя^[85], и значительную сумму денег – на отвоевание Византии. Король Филипп Французский и Карл Валуа отказывались от своих притязаний на Арагон. Король Хайме, вместе с матерью, братьями и всеми подданными, возвращался в лоно церкви и передавал Сицилию, заодно с материковыми владениями, Святому престолу, от имени которого этими территориями будет править Анжуйский дом. Словом, Карл, как ему казалось, наконец-то расчистил себе дорогу к возврату на остров.

На этапе согласований все шло замечательно гладко; но никто не считал нужным посоветоваться с сицилийцами. Те прогнали анжуйцев всего десять лет назад и нисколько, разумеется, не желали видеть их снова. В конце 1295 года островитяне отправили послов к Хайме в Барселону, чтобы объяснить свою позицию. Во-первых, они предпочли бы иметь Федериги королем, а не вице-королем при Хайме; это бы освободило Хайме от трона и подчеркнуло бы независимость Сицилии. Во-вторых, если кто-либо попытается вернуть французов, остров будет биться насмерть. Федериги очутился в затруднительном положении и попал под огромное давление. Даже Джованни Прочида, которому было почти восемьдесят, и Рохер из Лаурии советовали ему принять условия договора, забыть о Сицилии и позволить анжуйцам вернуться. Но разве он мог подвести своих подданных – и бросить на произвол судьбы? Его спасла Екатерина де Куртенэ. Она мудро отказалась сама участвовать в схватке, как говорится, пауков стеклянной банке – и отвергла сватовство Федериги. Без нее вся эта сложная конструкция рухнула. Карл Анжуйский не сумел приблизиться к престолу, а Федериги в конце концов короновали как Фридриха III^[86].

Его коронация не помешала примирению королевства Арагон с Неаполитанским королевством и с папой римским. Король Хайме, как и собирался, женился на дочери Карла II, Бланке Анжуйской, а в 1297 году он и вся семья – за исключением Федериги-Фридриха, который оставался на Сицилии, – отправились к папе Бонифацию в Рим, где инфанту Виоланту выдали за Робера, наследника Карла, а король Хайме присоединил к своим владениям острова Корсика и Сардиния. Сицилия теперь осталась в одиночестве; Франция, Арагон и папский престол объединились против нее, и будущее выглядело весьма мрачным. Но все же, как ни странно, столь могущественный (потенциально) союз нанес острову относительно малый урон. В последующие два года случилось несколько набегов на Сицилию, Катания оказалась в руках Робера, а король Хайме после долгой и неудачной осады Сиракуз потерпел сокрушительное поражение от своего брата Федериги. В октябре 1299 года четвертый сын Карла, Филипп Тарентский, высадился на западе острова, рассчитывая заставить Федериги воевать на два фронта; однако сицилийская разведка не дремала: Федериги ожидал врага, разгромил силы вторжения и взял самого Филиппа в плен.

Ситуация сделалась патовой. Хайме вернулся домой, анжуйцы контролировали только Катанию и окрестности, но и Федериги не хватало сил изгнать захватчиков с Сицилии раз и навсегда. В июле 1301 года Виоланта убедила своего мужа Робера согласиться на годичное перемирие. Когда срок перемирия истек, Карл Валуа предпринял еще одну попытку закрепиться на острове – захватил Термини на севере и безуспешно осаждал Шакку на юге; но вскоре его отозвали во Францию. К тому времени было в разгаре сицилийское лето, всем надоело постоянно бряцать оружием, и 31 августа Карл, Робер и Федериги подписали договор о мире в Кальтабеллоте, небольшом городке в холмах за Шаккой.

Этот договор представляет собой веху сицилийской истории, хотя на самом деле он был, по сути, не более чем признанием шаткого статус-кво. Анжуйцы согласились вывести все свои войска из Сицилии, сицилийцы – освободить все территории на материке. Федерико полагался титул короля Тринакрии (которым он практически не пользовался), чтобы анжуйцы по-прежнему могли именовать себя королями Сицилии. Для подтверждения соглашения Федерико отпустил сына Карла, Филиппа Тарентского, которого держали в плену в Чефалу, и одобрил свою свадьбу с Элеонорой, младшей дочерью Карла. С его точки зрения, договор содержал один нежелательный пункт: там говорилось, что он остается королем, только пока жив, а после его смерти корона вернется к анжуйцам. Но он не сильно волновался по этому поводу; ему было всего тридцать, и к решению данной проблемы вполне возможно приступить в будущем. Куда важнее было то, что он помирился со своим братом Хайме и остальной семьей и наконец-то мог взяться за управление своими владениями в относительно мирных условиях.

Сицилийцы тоже радовались. За двадцать лет после Вечерни они изрядно пострадали, но одного принципа придерживались непоколебимо: ни при каких обстоятельствах они не собирались принимать французское или анжуйское правление. Арагонский дом, с другой стороны, был для них вполне приемлемым: после первых столкновений в те дни, когда король Педро только высадился на острове, разногласия почти сгладились, а Федерико приобретал все больше популярности. Вдобавок островитян воодушевили те обещания, которые прозвучали на коронации. Федерико поклялся созывать парламент каждый год, на День Всех Святых; обязался не покидать остров, не объявлять войну и не заключать мир «без ведома и согласия сицилийцев». Все налоги отныне устанавливались законом или согласовывались парламентом. Тот факт, что Федерико более не имел интереса к землям на Апеннинском полуострове, рассматривался исключительно как преимущество; это означало, что его подданные перестанут чувствовать себя людьми второго сорта, ведь теперь правитель сможет сосредоточиться сугубо на местных заботах.

Но война Сицилийской вечерни имела последствия далеко за пределами Сицилии. Ее отголоски ощущались по всей Европе. Со смерти Фридриха II в 1250 году и до коронации принца Генриха Люксембургского в 1312 году никто не короновал императоров Священной Римской империи, и потому папский престол поначалу обратился к наиболее могущественному государю Европы, Карлу Анжуйскому, с просьбой «подкрепить» этот титул материальными ресурсами. Карл, однако, не сделал ничего подобного; хуже того, он вскоре сделался настолько же опасным для церкви, насколько были для нее опасны Гогенштауфены, беззастенчиво манипулировал своими соотечественниками Урбаном IV и Климентом IV и в полной мере воспользовался трехлетней «пустотой» папского престола, к возникновению которой сам был причастен. Благодаря одновременному отсутствию папы и императора он мог заниматься своими делами совершенно беспрепятственно. Правда, двое последующих пап – Григорий X и Николай III, – будучи итальянцами, отказались становиться покорными марионетками французов; но, несмотря на их противодействие, Карл продолжал считать себя будущим императором – причем как Запада, так и Востока, поскольку Византия едва начала восстанавливаться после Четвертого крестового похода и вряд ли сумела бы оказать сопротивление многочисленному войску анжуйского претендента.

Благодаря жителям Сицилии это войско так никогда и не собралось; Византийская империя просуществовала еще почти два столетия, а сам Карл в итоге потерпел жестокую неудачу – и увлек за собой в падение средневековое папство. Европа – точнее весь христианский мир – перестала быть прежней. И хорошо усвоила урок. Более трехсот лет спустя король Франции Генрих IV попытался напугать испанского посла, похвастался тем, какой урон он может причинить итальянским владениям Испании. «Я буду завтракать в Милане, а пообедаю в Риме», – заявил он. На что посол ответил с улыбкой: «Тогда ваше величество наверняка окажется на Сицилии к вечеру».

Глава 8

Господство Испании

Для Сицилии четырнадцатого столетия мир оставался понятием, как говорится, относительным. Условия договора в Кальтабеллоте достаточно ясно давали понять, что анжуйцы не отказались от своих притязаний на остров и готовы забрать Сицилию обратно после смерти Фридриха III; война возобновилась в 1312 году и продолжалась с перерывами следующие шестьдесят лет. В те годы нередко случались набеги, порою перераставшие в полномасштабные нашествия, и значительные участки побережья и внутренних районов временно переходили из рук в руки. Сражения вспыхивали повсюду – известно, что войска Фридриха несколько раз высаживались на материк. Тем не менее постоянно присутствовало ощущение, что это все не всерьез. Сама неопределенность положения подрывала энтузиазм. В Мессине, где всегда были сильны симпатии к французской стороне, торговля с Калабрией и Неаполем сулила заманчивые перспективы; кроме того, возникала дополнительная возможность утереть, так сказать, нос Палермо. Многие миролюбивые сицилийцы наверняка спрашивали себя, не будет ли возвращение анжуйцев небольшой ценой за установление мира.

Сицилийские бароны тоже оставались извечной проблемой. Они процветали за счет войны, мало заботились (если вообще заботились) о сицилийской независимости и часто открыто примыкали к анжуйцам, если видели, что это в их интересах. В какой-то степени подобную вольницу следует поставить в вину Фридриху и его предшественникам, которые раздавали земельные владения своим арагонским и каталонским друзьям и вассалам. Еще они охотно делились прибыльными привилегиями вроде богатых лесов и рыбных промыслов, десятины и прочих налогов. В теории все это передавалось в доверительное управление и при необходимости изымалось в пользу королевской казны; но с течением времени бароны, равно испанские и сицилийские, выказывали все большее нежелание соблюдать свои феодальные обязательства – в некоторых случаях даже осмеливались бросать прямой вызов короне. Кое-кто из них превратился, по сути, в угрозу для монархии: семейство Вентимилья, например, не только контролировало города Трапани и Джерачи, но и владело девятью обширными земельными участками по всему острову; у Кьярамонте было восемь участков, зато им принадлежала большая часть Палермо; Монкада располагали обширными поместьями на Сицилии – и всей Мальтой; род Перальта имел наследственное право на должность и титул великого адмирала. Фридрих обещал ежегодно созывать парламент, как часто поступали его предшественники, однако никто не спешил выполнять это обещание, поскольку и без парламента у баронов все было отлично. Вскоре они подчинили себе и управление правосудием, несмотря на то, что среди них мало кто получил образование, а большинство было неграмотным. В некоторых частях острова королевские указы попросту не действовали без слова баронов, ставшего законом.

Фридрих умер 25 июня 1337 года в Патерно, в нескольких десятках миль к северо-западу от Катании. Хотя во время войны он нередко демонстрировал личное мужество и немалую душевную силу, когда в одиночку противостоял анжуйцам, папе и своей семье в 1295–1296 годах, в жизни он был человеком ранимым и трепетным, писал стихи на каталанском языке, но не нашел в себе, в конечном счете, стойкости, необходимой для того, чтобы навязать свою волю непокорным подданным и тем самым спасти страну от продолжавшегося упадка. Его преемником стал Педро – старший из девяти законных детей^[87], – которого короновали как соправителя уже в 1321 году. Мало что известно о правлении Педро II – хроники этого периода раздражающе неинформативны, – за исключением того, что война продолжалась, как обычно, а бароны своевольничали сильнее, чем когда-либо прежде; пожалуй, они доставляли королю гораздо больше проблем, чем Анжуйский дом.

Педро скончался внезапно – в Калашибетте, в самом сердце Сицилии – 15 августа 1342 года, оставив трон своему пятилетнему сыну Людовику. Всего пять лет спустя случилась катастрофа: пришла «черная смерть», которую занесла на остров генуэзская галера, пришедшая из Леванта. Знаменитая фреска «Триумф смерти» (возможно, одна из величайших позднеготических картин во всей Италии) в палаццо Склафани в Палермо^[88] на самом деле датируется 1440-ми годами, но в столетие после первого прихода чумы эпидемия возникала снова и снова, и автора этой картины наверняка вдохновляло очередное пришествие губительной напасти. На фреске доминирует огромная фигура Смерти, едущей верхом в ночи на скелете лошади; правая рука воздета, словно заносит кнут; под копытами сонм мертвецов – епископов, пап, государей и придворных дам, есть даже менестрель с лютней. Выше и чуть позади на зрителя взирает одна из жутчайших борзых, когда-либо запечатленных в красках.

Что касается сицилийских жертв, отсутствуют даже приблизительные цифры; в Европе в целом чума, как полагают, унесла по человеку из каждых трех, и нет никаких оснований считать, что Сицилии повезло больше. Среди жертв оказался и Джованни Рандаццо, который управлял страной как регент вместе с матерью Людовика, Елизаветой Каринтийской, и был одним из немногих по-настоящему эффективных губернаторов той поры; умерла и дочь Елизаветы Констанция, принявшая на себя бремя регентства после смерти матери в 1352 году; впоследствии скончался и сам Людовик, который заразился в 1355 году и умер 16 октября, в возрасте семнадцати лет. Его похоронили рядом с отцом и дедом, в соборе Палермо.

Король Людовик, чего и следовало ожидать, умер бездетным. Его преемником стал четырнадцатилетний брат Фридрих IV^[89]. За этим монархом закрепилось довольно уничижительное прозвище «Простак», которого он ни в коей мере не заслуживает. Впрочем, его правление, конечно, удачным не назовешь. Немногим правителям в истории доводилось наследовать власть в настолько безнадежно хаотичной стране. Когда Фридрих (Федерико) достиг совершеннолетия в 1357 году, Сицилия толком не оправилась от «Черной смерти»; но уцелевшие бароны и Неаполитанское королевство продолжали, что называется, мутить воду. К тому времени бароны разделились на две основные фракции, известные как латиняне, во главе с Кьярамонте, и каталонцы, то есть Вентимилья. Однажды эти семейства даже породнились через брачный союз, но брак оказался бездетным и спровоцировал усугубление разлада. Стороны осыпали друг друга обвинениями в стерильности и импотенции. На карту была поставлена честь, и в результате разразилась гражданская война. Впредь оба семейства старались избегать контактов. Кьярамонте присоединились к анжуйцам в Неаполе и вернулись с войском, которое опустошило большую часть южного побережья острова. Между тем Вентимилья атаковали опорные пункты своего противника на севере, голодом заставив местное население покориться. В последующие годы несчастный король ненадолго очутился в плену сначала у каталонцев, потом у латинян, и был вынужден даже заложить драгоценности короны.

Но гражданская война – особенно когда она перемежается боевыми действиями за пределами страны – не может продолжаться вечно, и в 1371 году Фридрих отправил послов в Неаполь, чтобы обсудить условия прочного мира. Эти условия оказались более благоприятными, чем он мог ожидать, и сводились к тому, что он останется королем независимой Сицилии, если будет именоваться королем Тринакрии и станет ежегодно выплачивать дань Неаполю. Папа Григорий XI, готовивший почву для возвращения Святого престола в Рим после семидесяти лет пребывания в Авиньоне, согласился на эти условия и дал свое благословение, но уточнил, что Фридрих должен признать себя феодальным вассалом Святого престола (против этой юридической формальности король несколько не возражал).

Фридрих умер в 1377 году. Хотя он был женат дважды, наследницей являлась единственная дочь Мария, которой на момент смерти отца исполнилось четырнадцать лет. Опекуном и регентом по завещанию стал великий юстициарий^[90] королевства, граф Артале ди Алагона, успевший сделаться вожаком «каталонских» баронов. В отсутствие полноценного правителя было решено разделить остров на четыре «викариата», по числу основных баронских семейств. Семье Алагона достался восток от Катании; Гульельмо Перальте – юг от Шакки; Франческо Вентимилье, графу Джерачи, – большая часть севера, за исключением Палермо, где Манфреди Кьярамонте принимал вассалов в огромном особняке, рядом с которым опустевший королевский дворец выглядел скромным и неприметным. Разумеется, ни один из четырех «наместников» не доверял прочим, и это соглашение оказалось недолговечным.

Почему кто бы то ни было вообще захотел взвалить на себя неблагодарную задачу управления Сицилией, понять затруднительно; тем не менее Мария вдруг сделалась такой дипломатической пешкой среди княжеских домов Европы. Неаполитанское королевство не отказывалось от притязаний на остров, но теперь, по собственным соображениям, Алагона решил отдать руку юной принцессы Джангалеаццо Висконти из Милана – и допустил непростительную ошибку, объявив о своем намерении публично и заранее. Услышав об этом, другой крупный барон, Раймондо Монкада, и без того разъяренный тем, что его не позвали в число «наместников», и напуганный перспективой появления на острове миланцев, похитил девушку из замка ее опекуна в Катании и переправил в Барселону, где она вышла замуж – вероятно, в 1390 году – за Мартина, сын будущего короля Арагона Мартина I^[91] от его супруги, Марии Лопес де Луны.

На брачном контракте еще не просохли чернила, как Мартин, убежденный, что Сицилия должна вновь на законном основании вернуться во власть Арагонского дома, начал (при деятельной поддержке отца) собирать войско. Подобно своим предшественникам, он сулил сицилийские земли, доходы и высокие должности всем, кто готов был присоединиться, и даже обещал прощение былых грехов и преступлений (исключая, разумеется, ересь); ранее к подобной практике прибегали только папы, созывавшие Крестовые походы. Экспедиция отплыла в начале 1392 года, командовал войском правая рука Мартина I Бернардо Кабрера, продавший несколько своих поместий в Каталонии, чтобы снарядить солдат за собственный счет. Несмотря на тот очевидный факт, что успех кампании грозил навсегда положить конец сицилийской независимости, двое из четверых «наместников», Вентимилья и Перальта, не оказали на малейшего сопротивления; Кьярамонте, с другой стороны, дал понять, что готов сражаться. Палермо осаждали целый месяц; но 5 апреля Кьярамонте встретился с Мартином и Кабрерой в Монреале. Он и его последователи, несомненно, ожидали, что им предложат соглашение в той или иной форме; к их изумлению, всех арестовали и заключили в тюрьму. Сторонников мятежного «наместника» впоследствии освободили, а вот самого Кьярамонте осудили как бунтовщика и 1 июня обезглавили перед его собственным дворцом; обширные поместья отошли Кабрере.

Сицилийское сопротивление продолжалось еще три или четыре года, но к 1396 году все было кончено. Артале ди Алагона бежал с острова, и Мартин стал единовластным правителем. Восстановить законность и порядок казалось невыполнимой задачей, ибо целое столетие анархии нанесло Сицилии тяжкий урон. Мартин делал все возможное, чтобы укрепить королевскую власть. Он отобрал у баронов Агридженто, Лентини, Ликату и Корлеоне, а также остров Мальта. Он также попытался составить новую феодальную «запись», что само по себе было серьезной проблемой, поскольку большинство прежних сведений было потеряно или уничтожено; также приступил к восстановлению стратегически важных замков и к утверждению прав короны там, где было необходимо. Наконец, он отменил положения договора 1372 года и принял титул Rex Siciliae. Но целые регионы острова оставались вне его власти – и бароны это знали.

К счастью для него, папство тоже пребывало в смятении, переживало наихудший кризис в своей истории. Неаполитанский папа Урбан VI, прежде тихий и компетентный

государственный служащий, внезапно словно лишился рассудка и превратился в неистового тирана – приказал жестоко пытать шестерых кардиналов (пятерых впоследствии казнили). Группа французских кардиналов заявила, что Урбана избрали не по правилам – на самом деле с формальной точки зрения все соответствовало канону, – объявила его низложенным и выбрала преемника-швейцарца, который принял имя Климента VII. Оба папы немедленно отлучили друг друга, и Климент удалился в Авиньон, откуда Святой престол возвратился в Рим всего четверть века назад.

Церковь смогла устоять, когда папа находился в изгнании, но существование двух пап-конкурентов, по одному в Авиньоне и в Риме, порождало новую, куда более серьезную проблему. Папа Урбан умер в 1389 году, папа Климент – технически его ныне рассматривают как антипапу, хотя он сам пришел бы в ужас от такого определения – пережил соперника на пять лет. Он ни на йоту не сомневался в законности собственного избрания, и тем горше было его разочарование, когда после смерти Урбана кардинальский конклав не признал его законным папой. Вместо того кардиналы выбрали другого безумного неаполитанца, Бонифация IX. На склоне лет, по-прежнему оставаясь в Авиньоне, Климент категорически отвергал настойчивые уговоры согласиться на такое решение, когда оба папы слагают полномочия и созывается новый конклав; так, упорствуя, он и умер от апоплексического удара в 1394 году. Казалось бы, теперь не составит труда положить конец расколу; требовалось лишь, раз один из пап умер, отказаться от избрания преемника и наделить того, кто жив, всеми полномочиями. Рим упустил этот шанс в 1387 году, а Авиньон – в 1394 году. Авиньонские кардиналы единогласно избрали папой арагонского кардинала Педро де Луну, принявшего имя Бенедикта XIII.

Бенедикт почти наверняка состоял в родстве с королем Мартином через жену последнего Марию Лопес де Луну; но во всей этой путанице, которая длилась до 1417 года, Мартину, похоже, в любом случае было просто отказаться от папского сюзеренитета, одного из условий договора 1372 года. На самом деле он пошел еще дальше, потребовав пост апостольского легата, который позволял назначать епископов и вообще управлять делами сицилийской церкви. При этом ему до сих пор не удалось лишить власти баронов. С теми, кто активно выступал против него, в целом разобрались – Кырамонте казнили, тело Франческо Вентимилья, привязанное к хвосту лошади, протащили (сердце еще билось) по улицам и затем разрубили на куски. А семейство Монкада, которое с самого начала поддерживало короля, щедро вознаградили землями Алагоны, да и несколько других баронских семейств продолжало процветать.

Мартин также возродил былую практику регулярных заседаний парламента, вернуть которую обещал Фридрих III, но не вернул из-за отсутствия общественного интереса. Тут не было и намека на демократию: парламенту в основном полагалось слушать, как король излагает свои взгляды на внутреннюю ситуацию или озвучивает свои пожелания. Парламентарии могли вносить предложения и доносить до монарха ходатайства: чтобы меньше каталонцев и больше коренных сицилийцев назначали на правительственные посты, например, чтобы сицилийские законы считались главнее, если им противоречат законы каталонские. Но никто не обсуждал само законодательство; законы спускались сверху вниз, провозглашались королевскими указами.

Крайне редко бывает, чтобы отец наследовал сыну на троне; но когда Мартин умер в 1409 году, воюя на Сардинии и не оставив законного наследника^[92], корону принял его отец, и таким образом Мартин I Арагонский стал Мартином II Сицилийским. Ни с папой римским, ни с баронами – не говоря уже об обычных сицилийцах – не посоветовались, но никто не возражал, что теперь, впервые после Педро III (более ста лет назад) и в нарушение его обещания, короны Арагона и Сицилии возложены на голову одного правителя. Но согласие было недолгим. Мартин-отец прожил всего на год дольше Мартина-сына, смерть которого оставила и его бездетным. Оба престола вдруг оказались вакантными. На Сицилии регентство захватила Бланка Наваррская, вторая жена Мартина I, но Кабрера наотрез

отказался ее признавать, и остров быстро погрузился в привычный политический хаос. Предприняли попытку созвать парламент в Таормине, чтобы создать комиссию, которая выберет короля. Еще предложили передать Сицилию в очередной раз под сюзеренитет церкви; но когда антипапа Иоанн XXIII^[93], услышав об этом, заявил, что законным королем Сицилии является совершенно омерзительный^[94] Владислав Неаполитанский, остров пришел в ужас, и об идее больше не вспоминали.

Пока сицилийцы грызлись между собой, в Испании выбрали нового короля. В 1412 году девять делегатов, представлявших королевства Арагон, Каталонию и Валенсию, встретились в Каспе возле Сарагосы и проголосовали за Фердинанда Трастамару, младшего сына короля Иоанна I Кастильского и Элеоноры Арагонской, то есть племянника Мартина I по материнской линии. Естественно, Фердинанд захотел и титул короля Сицилии; на сей раз не последовало никаких возражений от островных подданных, которые слишком утомились, чтобы задумываться об этом. Они приняли тот факт, что новый правитель, по всей вероятности, никогда не ступит на берега острова и что власть, скорее всего, окажется в руках вице-королей. Само по себе это фактически означало, что Сицилию признают отдельным королевством; но отсюда также следовало, что при таких условиях не стоит надеяться на существование в качестве независимой страны и на активное присутствие в Средиземноморье.

Сицилийцы не подозревали, что данное положение дел продлится около четырех сотен лет.

Король Фердинанд не успел оставить значимый след в истории своего нового владения. В 1416 году, всего через четыре года после избрания в Каспе, он умер в возрасте тридцати шести лет. Его сыну Альфонсо V, по контрасту, было суждено править сорок два года, причем заключительные пятнадцать – из Неаполя. Полная история покорения им этого города слишком длинная и сложная, чтобы в нее вдаваться; достаточно указать, что в 1421 году бездетная королева Джованна II Неаполитанская усыновила его и назвала своим наследником. Сама Джованна наследовала своему безудержно жестокому брату Владиславу в 1414 году. В следующем году она вышла замуж за Жака де Бурбона, который держал жену фактически в заточении, убил ее любовника и заключил в тюрьму капитана ее гвардии, Муцио Атендоло Сфорцу; но его высокомерие побудило местных баронов к мятежу и они изгнали Бурбона. Начался новый виток интриг (настоящий змеиный клубок) между Джованной и ее мужчинами – Сфорца, новым любовником королевы Джованни Караччоло, Альфонсо Арагонским и Людовиком III Анжуйским, которого Джованна теперь «произвела» в наследники вместо Альфонсо; все они беспощадно и жестоко интриговали друг против друга, заключая мимолетные союзы и тут же их расторгая. Хотя Джованна умерла никем не оплакиваемой в 1435 году, минуло еще восемь лет, прежде чем Альфонсо взял верх и добился папского признания в качестве короля Неаполитанского.

Он не собирался останавливаться на достигнутом. Большинство оставшихся лет жизни он посвятил войнам, что шли чередой – против Флоренции и Венеции, против Милана и Генуи; всякий раз он требовал (и получал) существенную помощь от Сицилии, далеко не всегда на благо острова. В 1446 году венецианский флот вошел в гавань Сиракуз и спалил дотла все корабли в этой гавани. Но в прочих отношениях Альфонсо сильно отличался от своих предшественников. Возможно, он не был человеком Возрождения в полном смысле этого слова, но пламя Ренессанса его безусловно обожгло. Он основал университет в Катании – первый вообще на Сицилии – и создал школу греческого языка в Мессине. Всю свою жизнь он был щедрым меценатом – несмотря на то, что не всегда мог себе подобное позволить.

Деньги были его извечной проблемой. Слишком много сицилийских земель находилось во власти баронов, хотя многие из них предпочли сменить феодальную службу на денежные выплаты. Те владения короны, что уцелели, тоже приносили определенный доход, как и рыбные промыслы по ловле тунца (которые платили немалый процент) и различные прибыльные статьи экспорта, прежде всего пшеница и другие зерновые культуры. Но все это

в сумме даже не приближалось к желаемому, и Альфонсо не останавливался ни перед чем, чтобы привлечь больше средств. Громкие титулы и государственные посты изобретались только для того, чтобы продавать их задорого; откуп практиковался в широких масштабах; можно было приобрести помилование за самые отвратительные преступления, как и лицензии на чеканку монеты. Иностранные купцы стекались на остров толпами, в особенности каталонцы и генуэзцы; венецианцы посадили в Палермо консула и даже открыли собственную церковь. Англичане не отставали; в следующем столетии они разместили консулаты в Мессине и Трапани – последний, будучи ближайшим к Испании портом, резко вырос в размерах и стал конкурировать с Катанией и двумя непримиримыми соперниками, Мессиной и Палермо.

Когда Альфонсо умер в 1458 году, по его завещанию королевство в очередной раз разделилось надвое. Неаполь он передал своему незаконнорожденному сыну Фердинанду, а остальное отошло его брату Хуану II, который сразу же заявил, что Арагон и Сицилия обручены навеки и неразрывно. Вскоре после вступления Хуана на престол состоялось заседание парламента в Кальтаджироне, где королю подали различные петиции от баронов. Он принял ту, где ходатайствовали о сокращении срока воинской службы, и ту, где предлагалось разрешить приобретение земель и замков на острове только сицилийцам. При этом Хуан отверг просьбу о том, чтобы вице-королем всегда становился старший сын монарха. Он не пожелал заключать мир с турками, которые захватили Константинополь всего пять лет назад, и не позволил сицилийским купцам торговать с ними; отныне мусульманское судоходство запрещалась в пределах шестидесяти миль от побережья Сицилии.

В целом Сицилия, как кажется, была довольна своим новым господином. Народ не роптал, когда Хуан налагал финансовые контрибуции ради войны против мавров Гранады; фактически за двадцать один год его правления сицилийцы возразили лишь однажды – в 1478 году, когда Хуану срочно потребовались деньги для продолжения войны против турок. Король и вице-король полностью отдавали себе отчет в том, что сицилийцы не разделяют их враждебности по отношению к Османской империи, что островитяне охотно торгуют с турецкими купцами, когда подворачивается возможность; несмотря на все убеждения – и, надо думать, монарх не стеснялся прибегать к угрозам – островной парламент упорно стоял на своем. Вице-король работал над несостоявшимся соглашением столь усердно, что его стали отождествлять исключительно с этой сделкой, а потому в итоге пришлось его заменить. Эта маленькая история заслуживает пересказа по единственной причине: она показывает, что сицилийский парламент – к изумлению короля и, вполне вероятно, своему собственному – был способен при необходимости проявлять своеволие. Продолжай он и далее поступать так же, из него мог бы, пожалуй, вырасти ответственный и дееспособный орган власти, но увы...

Вступление на трон Фердинанда, сына Хуана, в 1479 году имело огромное историческое значение, так как Фердинанд был женат на королеве Изабелле Кастильской. Этот брак объединил два королевства и создал третье – само Испанское королевство. Сицилия благодаря этому лишилась и той малой значимости, какой еще обладала. Но худшее ожидало впереди. В 1487 году на остров прибыли первые члены страшной испанской инквизиции. Фердинанд и Изабелла создали инквизицию в 1481 году с благословения папы Сикста IV, и она действовала под непосредственным контролем «католических монархов»^[95]. Главной ее обязанностью было следить за соблюдением правил вероисповедания среди тех, кто лишь недавно обратился в христианство, будь то из иудаизма или из ислама; после королевских указов 1492 и 1501 годов, которые требовали от иудеев и мусульман креститься или покинуть страну, хватка инквизиции стала жестче. Мало кто из новообращенных спокойно спал в своей постели – они опасались обвинений в том, что тайно соблюдают прежние обычаи (в наказание полагалось сожжение на костре).

Введение инквизиции и указы об изгнании больно ударили по Сицилии. Мусульманское население, которое когда-то составляло большинство на острове, теперь было относительно небольшим, зато иудеев хватало; в крупных и малых городах их насчитывалось более одной десятой населения. Причем остров нуждался в них: они торговали, ткали, работали по металлу, занимались врачеванием и, конечно же, ростовщичеством. Врачи, как правило, пользовались популярностью в народе, чего не скажешь о ростовщиках; когда в середине столетия процентные ставки поднялись выше десяти процентов, на острове периодически фиксировались вспышки антисемитизма. Тем не менее граждане Палермо обратились к Испании от имени сицилийских иудеев: мол, те не наносят никакого ущерба, поэтому позвольте им остаться. Эта просьба не была услышана.

История знает немало случаев преследования евреев, и в каждом эпизоде страна, устроившая гонения, заканчивает нищетой. Испания и Сицилия не являются исключением. Мы не знаем точное число пострадавших – сколько евреев решили эмигрировать, чтобы не отвергать веру, а сколько «обратилось»; впрочем, известно, что новообращенные тоже потеряли большую часть своего имущества, и даже крещение не спасало от инквизиции. Но, каковы бы ни были пропорции, не подлежит сомнению, что Сицилия – подобно нацистской Германии в последние годы рейха – потеряла огромное количество своих самых квалифицированных, талантливых и умных граждан. Это не могло не сказаться на экономике.

Другая, отчасти тревожная тенденция дала о себе знать в первом десятилетии шестнадцатого века; речь об устойчивом укреплении королевской власти. Более двух столетий бароны пользовались почти абсолютной свободой на острове. Благодаря коррупции, пренебрежению властей своими обязанностями или (довольно часто) стечению обстоятельств многие из них владели поместьями, которые формально принадлежали короне, и уже давно забыли (с позволения монарха) о своем феодальном долге. Но эти славные деньки близились к концу. С каждым годом становилось все более очевидным, что король Фердинанд постепенно усиливает давление. Это подтвердилось в 1509 году, когда вице-королем назначили военачальника по имени Уго Монкада, который намеревался покорить Северную Африку и воспринимал Сицилию как наилучший плацдарм. Бароны возненавидели его с самого начала. Мало того, что он не проявлял к ним никакого уважения; по прибытии на остров он провел исследование юридической обоснованности владения землей – и во многих случаях получил весьма примечательные результаты. Последовали аресты, зачастую оборачивавшиеся лишением свободы; наделы конфисковывались, в том числе и те, которыми официально владела церковь. Инквизиция между тем делала свое присутствие на острове все более ощутимым, особенно после того, как жертв начали сжигать заживо на городских площадях.

Смерть Фердинанда в январе 1516 года привела к бунту. Бароны спрашивали друг друга, означает ли кончина короля, что ненавистный Монкада автоматически лишился своих полномочий? Никто не мог сказать наверняка, но, когда вскоре Монкада распустил парламент, который сам недавно созвал, некоторые парламентарии снова собрались в Термини, уже по собственной инициативе. Здесь в очередной раз были продемонстрированы робкие зачатки независимости; но прежде чем успели принять сколько-нибудь важное решение, произошло событие гораздо большего масштаба – народная революция в Палермо. Когда толпа принялась стаскивать пушки с городских бастионов и направлять их на дворец вице-короля, Монкада бежал в Мессину. Здание разграбили, уцелевшие архивы сожгли.

Жители Мессины, от которых всегда можно было ожидать противодействия Палермо, оказали перепуганному вице-королю радушный прием и заверили его в своей полной поддержке. Он понимал, однако, что никогда не сможет вернуться в столицу, и потому направил депешу новому королю Карлу^[96], рекомендуя назначить итальянца в качестве своего преемника. Карл последовал этому совету и выбрал неаполитанского дворянина, графа Монтелеоне; но если он думал, что граф сумеет установить мир на острове, его поджидало разочарование. После кратчайшего затишья революция взбурлила заново, ее

возглавил обедневший дворянин по имени Скварчалупо; и вторая вспышка насилия оказалась хуже первой. Вскоре Монтелеоне, в свою очередь, пришлось искать убежища в Мессине, но кое-кому из его окружения не повезло: их сперва кастрировали, а затем вышвырнули на улицу из окон дворца. Скварчалупо удавалось контролировать чернь на протяжении недели или двух, но потом его убили во время мессы, и восстание утихло. Монтелеоне вернулся в Палермо и покарал зачинщиков столь же жестоко, как поступил бы Монкада. Третье, инспирированное французами восстание в 1523 году тоже не принесло успеха; тела вожakov подвергли четвертованию и выставили в железных клетках в дворцовых окнах. Эти семилетние волнения доказали только, что сицилийцы никогда не смогут всерьез сопротивляться Испании. Им недоставало единства и дисциплины, а также любых позитивных или конструктивных идей относительно той власти, какую они хотели бы иметь. Вдобавок сила Испании к тому времени намного превосходила сугубо испанскую – она олицетворяла силу Священной Римской империи.

Карл Габсбург, родившийся в 1500 году в семье сына императора Максимилиана Филиппа Красивого и дочери Фердинанда и Изабеллы Хуаны Безумной, не унаследовал никаких достоинств своих родителей. Обликом он был нескладен, с характерным «тяжелым» габсбургским подбородком и торчащей нижней губой; еще он страдал жутким заиканием и постоянно брызгал слюной на собеседников. Он был начисто лишен воображения и не имел собственных идей; словом, мало кто из правителей в истории отличался подобным отсутствием привлекательности. Выручала разве что врожденная мягкость и, когда он стал старше, прозорливость и твердость принципов. Вдобавок он прославился чрезвычайным, пусть неброским, упорством, изводил тех, кто выступал против него, непримиримой решительностью и упрямством. Будучи по определению наиболее могущественным государем цивилизованного мира, он никогда не управлял своей империей так, как его современники Генрих VIII Английский и Франциск I Французский правили своими королевствами (или как папа Лев X папскими владениями^[97]); когда он наконец оставил трон и ушел в монастырь, лишь немногие из его подданных сильно удивились.

Территория империи была огромной, но нельзя сказать, что Карл получил все и сразу. Первыми достались Нижние земли (Нидерланды), прежде бургундские, которые его дед Максимилиан приобрел через брак с Марией Бургундской. После смерти отца в 1506 году Карла воспитывала тетка, Маргарита Савойская, регент Нидерландов; с пятнадцати он управлял этими землями самостоятельно. К тому времени его мать Хуана была уже признана безнадежно невменяемой, и считалось, что она проживет не дольше половины столетия; технически, тем не менее, она оставалась королевой Кастилии, а Фердинанд правил как регент от ее имени. После смерти Фердинанда, несмотря на диагноз Хуаны, к ней перешли короны Арагона и обеих Сицилий, а регентом стал Карл. Управление Кастилией, с другой стороны, покойный король завещал восьмидесятилетнему кардиналу и архиепископу Толедо Франсиско Хименесу (одним из первых указов архиепископ провозгласил Карла королем вместе с матерью).

Молодой король, который в возрасте семнадцати лет высадился на побережье Астурии и впервые воочию узрел свое испанское наследство, оставался во многом голландцем и совершенно ничего не знал об устоях, обычаях и даже языке своих новых подданных. Начало вышло не слишком удачным. Испанцы воспринимали его как чужака и возмущались тому, что в страну хлынули целые орды фламандских чиновников. Восстание казалось вполне вероятным. Хименеса, который делал все возможное, чтобы сгладить промахи своего господина, бесцеремонно отодвинули в сторону те же фламандцы; ему не позволили встретиться с королем и просто приказали вернуться в свою епархию. Два месяца спустя он умер, и Карл оказался полновластным хозяином Испании. Он старался, как мог, но не умел контролировать амбициозных и бесконечно алчных соотечественников-фламандцев, тогда как испанские кортесы (парламент) всячески давали понять, что короля попросту терпят и

согласны держать его на троне, лишь пока он подчиняется требованиям местных аристократов.

Испания, которую унаследовал Карл, сильно отличалась от Испании времен его бабушки и деда; события последнего десятилетия пятнадцатого века радикально изменили цивилизованный мир. 17 апреля 1492 года Фердинанд и Изабелла дали официальное согласие на экспедицию Христофора Колумба и предоставили в его распоряжение три крошечных каравеллы – самая крупная из них была длиной чуть более 100 футов. Кроме того, за четыре года до отплытия «Ниньи», «Пинты» и «Санта-Марии» португалец Бартоломео Диаш обогнул мыс Бурь (переименованный по велению Жуана II Португальского в мыс Доброй Надежды); шесть лет спустя, 20 мая 1498 года, его соотечественник Васко да Гама бросил якорь в Каликуте на Малабарском побережье. Он не только открыл прямой морской путь в Индию, но и доказал, что португальские корабли способны достичь дальних краев и вернуться обратно.

Истории этих трех великих путешественников нас не касаются; но важно указать, какое влияние они оказали на судьбы Средиземноморья. На стене, если вспомнить библейский эпизод, проявились письмена^[98]. До сих пор, даже если турки не пытались (а такие попытки предпринимались регулярно) перехватить поставки, все грузы, шедшие на восток, выгружались в Александрии или в другом левантийском порту. Оттуда их либо транспортировали по суше до кишевшего пиратами Красного моря, либо отправляли в составе сколоченного на скорую руку верблюжьего каравана через Центральную Азию (такой путь до места назначения занимал от трех до четырех лет). Но теперь купцы могли рассчитывать, что отплывут из Лиссабона – или из Лондона – и прибудут в Индию или Китай (Китай) на том же корабле. Между тем, благодаря Колумбу и его последователям, Новый Свет становился намного более привлекательным и прибыльным, нежели Старый, раскрывал запасы поистине сказочных богатств, львиная доля которых шла им, причем вполне законно. Всего через семь месяцев после первой высадки Колумба на берега Америки папа Александр VI из рода Борджа – сам испанец – издал первую из пяти булл, разрешавших взаимные претензии Испании и Португалии на обнаруженные территории; на протяжении двадцати пяти лет галеоны исправно везли на родину полные трюмы награбленных сокровищ. Неудивительно, что преемники Фердинанда и Изабеллы переставали обращать внимание на дела Европы.

Далеко не сразу стало понятно, что внезапное «открытие» Мирового океана в обе стороны от Европы нанесло торговле в Средиземном море парализующий удар. Однако постепенно пришло понимание, что (по крайней мере с точки зрения коммерции) «Ближнее» море превратилось, так сказать, в задворки. К востоку от Адриатики турки пропускали западные корабли неохотно – или не пропускали вовсе. На западе Средиземное море оставалось по-прежнему жизненно важным для Италии; но Франция обнаружила, что ее северные порты на Ла-Манше куда полезнее Марселя или Тулона, а Испания, вступившая в эпоху величия и процветания, отыскала иную, куда более заманчивую акваторию для судоходства. Пройдет еще три столетия до постройки Суэцкого канала, прежде чем Средиземное море восстановит былую значимость в качестве мировой транспортной магистрали.

А Сицилия, как всегда, проиграла.

Глава 9

Пиратство и революция

При всех восторгах по поводу новообретенного богатства Испания не могла полностью игнорировать свои европейские обязательства. Главными врагами считались французы и, конечно же, турки, но также приходилось время от времени воевать с прочими народами, включая англичан и португальцев, немцев и голландцев, и со Святым престолом. Ни одна из

этих войн, за исключением кампании против турок, не затрагивала Сицилию напрямую, хотя от острова всякий раз требовали внести вклад, будь то финансами, живой силой или сельскохозяйственной продукцией.

Вторая половина пятнадцатого столетия, как мы видели, ознаменовалась двумя катастрофическими событиями, случившимися на противоположных берегах «Срединного моря»: на востоке Константинополь пал перед турками в 1453 году, что привело к последующему закрытию Черного моря и в конечном счете большей части Восточного Средиземноморья для европейского судоходства; на западе же наблюдалось постепенное вытеснение мавров из Испании после 1492 года. Оба эти события обернулись появлением множества обездоленных людей – христиан на востоке, мусульман на западе, – которые лишились всего, остались ни с чем и жаждали мести; многие из них в итоге стали вести жизнь пиратов. Христиане обыкновенно размещали свои базы в Центральном Средиземноморье – на Сицилии, на Мальте или на бесчисленных островках у побережья Далмации. Мусульмане, с другой стороны, находили приют у единомышленников в Северной Африке. Расстояние между Танжером и Тунисом составляло около 1200 миль, прибрежная полоса была в основном умеренно плодородной и обильно орошаемой, а несколько естественных гаваней, где почти не бывало приливов и отливов, идеально подходили для пиратов. Так родилась легенда о «Берберийском побережье».

До середины столетия сицилийцы поддерживали дружественные отношения с Северной Африкой, и взаимная торговля приносила взаимную прибыль. Однако после падения Константинополя конфликт между испанцами и турками сделался неизбежным, и Сицилия, вместо того чтобы служить центральным звеном главного торгового пути из Европы в Африку и обратно, оказалась практически ничейной землей. Ее парламенты постоянно ходатайствовали перед Испанией о разрешении сохранить бывшие коммерческие связи с городами побережья, но ревностный католик Фердинанд не желал и слышать о каких-либо деловых контактах с неверными, и потому торговля продолжалась преимущественно стараниями контрабандистов или пиратов.

Среди последних наиболее известными и могущественными были Хайреддин Барбаросса и его брат Арудж. Родившиеся на острове Митилини (современный Лесбос) в семье отставного греческого янычара – как и все янычары, он поначалу был христианином, а затем его насильственно обратили в ислам, – братья не имели ни капли турецкой, арабской или берберской крови (чему дополнительным доказательством служили их знаменитые огненно-рыжие бороды). Действуя от имени османского султана Селима I, они без труда покорили Алжир в 1516 году. Арудж умер два года спустя; Хайреддин же неуклонно укреплял свое положение, правил Алжиром и окрестностями формально от имени султана, но на самом деле сосредоточил в своих руках абсолютную власть. В 1534 году он дерзнул напасть на Тунис, свергнуть местного правителя Мулая Хассана и присоединить его владения; этим деянием он переиграл сам себя. Можно было бы догадаться, что император Карл V не потерпит захвата земель менее чем в ста милях от двух процветающих портов западной Сицилии – Трапани и Марсалы (за которыми лежала и столица острова Палермо). Ленивый любитель развлечений Мулай Хассан опасности не представлял, но теперь, когда Барбаросса утвердился в Тунисе, возникла непосредственная угроза власти императора на Сицилии.

Едва услышав о подвигах Барбароссы, Карл стал планировать масштабную экспедицию по освобождению Туниса. Во флот вторжения входили корабли Испании, Неаполя, Сицилии, Сардинии, Генуи и Мальты, которую – вместе с Триполи – император в 1530 году отдал рыцарям-иоаннитам после их изгнания с Родоса. Испанский контингент, насчитывавший приблизительно четыре сотни кораблей, отплыл из Барселоны в Тунис в конце мая 1535 года. Устоять против такой армады шансов не было, и Барбаросса это прекрасно понимал. 14 июля крепость Ла Голетта, которая защищала внутреннюю гавань, была атакована иоаннитами, а неделю спустя немалое число христианских узников – сообщают, что их было

12 000 человек, но это представляется маловероятным – сумело вырваться на свободу и напасть на своих недавних тюремщиков. Тунис оказался захвачен, и теперь настала очередь Барбароссы бежать. Мулая Хассана официально восстановили на троне, а испанцы, отремонтировав и заново укрепив Ла Голетту, объявили крепость территорией Испании и разместили там постоянный гарнизон. Все победители-христиане соглашались с тем, что экспедиция достигла блестящих успехов. Тунис снова перешел в дружеские руки, Сицилии никто более не угрожал, тысячи единоверцев удалось освободить из вражеского плена, а самое главное, пожалуй, прежде непобедимый Барбаросса потерпел сокрушительное поражение.

Они принимали желаемое за действительность. На самом деле великий пират отнюдь не спешил, как говорится, уходить на покой. Ему предстояло еще одержать ряд громких побед, в том числе в 1541 году выиграть битву, которая завершилась почти полным истреблением другого испанского флота, на сей раз отправленного против Алжира. Кроме того, он аннексировал от имени турецкого султана – Селима сменил Сулейман Великолепный – многие острова, ранее принадлежавшие венецианцам. Вскоре Сулейман доверил ему командование всем османским флотом; прежний пират сделался верховным адмиралом. Он умер в 1546 году, мирно скончался в Стамбуле, где до сих пор сохранилась его гробница.

После смерти Барбароссы война продолжилась; турки предприняли череду опустошительных набегов на побережья Сицилии и Северной Африки. В 1551 году, всего через пять лет после смерти великого пирата, они захватили Триполи, а в 1560 году уничтожили двадцать четыре из сорока восьми испанских и сицилийских галер у Джербы. Показалось, что их удалось сдержать, когда в 1565 году мальтийские рыцари героически защищали свой остров на протяжении четырех месяцев от могучего флота султана Сулеймана; но эта победа христиан так и осталась единственной. Десять лет спустя венецианский Кипр покорился Селиму, сыну Сулеймана; военачальника венецианцев, Маркантонио Брагадина, подвергли жестоким пыткам, кульминацией которых стало сдирание кожи заживо. Из бывших венецианских торговых колоний в Средиземноморье уцелел лишь Крит.

В 1571 году христианская Европа взяла реванш, когда испанские, венецианские и папские корабли разгромили турецкий флот при Лепанто. Сицилийцы тоже участвовали в этой битве. Но по сей день обсуждается вопрос, на самом ли деле сражение при Лепанто достойно занимать, как утверждают многие, место в ряду величайших морских битв, между схваткой при Акции (до этого мыса от Лепанто всего около шестидесяти миль) и Трафальгаром? В Англии и Америке, смею предположить, своей известностью это сражение обязано громогласным (и восхитительно неточным в исторических деталях) строкам Г. К. Честертона^[99]; в католических же странах Средиземноморья оно, образно выражаясь, покинуло область истории и перешло в пространство легенд. Невольно спрашиваешь себя, заслуживает ли битва при Лепанто своей репутации?

С формальной и тактической точек зрения – безусловно. Это было последнее крупное сражение, в котором сошлись исключительно весельные галеры; после 1571 года война на море радикально изменилась. Политически, с другой стороны, эта схватка оказалась напрасной. Вопреки надеждам победителей, сражение не стало переломным моментом, но позволило христианам внезапно обрести силу и прогнать турок обратно на их «азиатские задворки». В следующем году вроде бы побежденные турки захватили Тунис, вследствие чего Оран остался единственным портом на всем побережье в руках испанцев. Венеция не смогла вернуть себе Кипр; более того, через два года она заключила сепаратный мир с турками и отказалась от всяческих притязаний на остров. Вдобавок битва при Лепанто отнюдь не подвела черту под потерями морской республики; в следующем столетии Крит, выдержавший двадцать два года осады, повторил участь Кипра. Что касается Испании, та даже не смогла заметно укрепить свой контроль над Центральным Средиземноморьем; семнадцать лет спустя историческое поражение Великой армады у английских берегов

нанесло морскому могуществу Испании удар, от которого она долго восстанавливалась. К тому же, сколько ни пыталась, она не сумела помешать контактам Константинополя с мавританскими государями Северной Африки; за несколько лет турки изгнали всех испанцев из Туниса, сделали местных правителей своими вассалами и превратили эту территорию (как уже поступили с большей частью Алжира на западе и Триполитании на востоке) в провинцию Османской империи.

Истинная значимость Лепанто для всех христиан, которые так ликовали и радовались победе в те октябрьские дни, заключалась в боевом духе. Густая черная туча, омрачавшая их жизни на протяжении двух столетий, с 1453 года становившаяся все более грозной и как бы сулившая, что их дни сочтены, – эта туча вдруг рассеялась. Утраченная была надежда на конечный успех возродилась. Венецианцы были готовы продолжать наступление немедленно; туркам не следовало давать времени перевести дух и заново собраться с силами. Именно об этом они настаивали на переговорах с испанскими и папскими союзниками, но к их доводам не прислушались. Дон Хуан Австрийский, незаконнорожденный сводный брат короля Филиппа и генерал-капитан объединенного флота, сам, вероятно, был не прочь гнать противника далее, однако у него имелись однозначные приказы от Филиппа. Союзным силам надлежало вновь собраться весной; до тех пор их следовало распустить. Поэтому дон Хуан отправился на зимовку в Мессину.

В годы после битвы при Лепанто пиратство у Берберийского побережья по-прежнему процветало. Сицилия несла урон, что неудивительно, учитывая ее опасную незащищенность. В ту пору на ее долю выпадали два-три крупных набега каждый год; под угрозой был всякий дом в десяти милях от моря, а в 1559-м и в 1574-м состоялись налеты на окраины столицы Палермо. С другой стороны, остров, что называется, получал по заслугам, ведь среди наиболее жестоких пиратов большую половину, похоже, составляли христиане, в том числе очень многие сицилийцы. Рыцари ордена Святого Иоанна, несмотря на огромные мальтийские кресты, которые носили с такой гордостью, тоже отнюдь не чурались пиратства, разбоя и контрабанды. Испания делала все возможное, чтобы представить происходящее как крестовый поход, но все понимали, что это, конечно, не так: на стороне турок сражалось и трудилось множество христиан. В 1535 году Франциск I Французский вступил в официальный союз с Барбароссой, а в 1543 году позволил турецкому флоту перезимовать в гавани Тулона; мало кто был осведомлен о том, что даже сам Карл V размышлял, не стоит ли передать Алжир и большую часть Туниса и Триполи великому пирату. К счастью, он быстро передумал.

Дело в том, что Карлу изрядно наскучила война за Берберийское побережье. Было очевидно, что отвоевать его не удастся; постоянная необходимость защищать интересы Испании оказывалась чрезвычайно разорительной, ибо требовала кораблей и людских ресурсов, а успехи представлялись весьма скромными. Так или иначе, к моменту отречения Карла в 1556 году и восшествия на трон его сына Филиппа II политическая ситуация начала меняться; к концу 1570-х годов Филипп осознал, что должен избавиться от потерь в Средиземном море и сосредоточить внимание на Северной Европе, где укреплялись его новые враги, Англия и Голландия. В итоге Сицилию оставили практически беззащитной, а набеги берберийских пиратов сделались вызывающе дерзкими, и положение лишь усугубилось после поражения Армады в 1588 году, когда весь флот Филиппа был потерян и Испания на многие годы утратила статус морской державы.

Почему же, можно спросить, сицилийцы не прикладывали больше усилий для самостоятельной защиты – или почему не перешли в наступление на своих врагов? В значительной степени потому, что у них больше не было полноценного военного флота. Последний флот, которым они по-настоящему гордились, был создан королем Рожером триста лет назад. Но после ликвидации сицилийской независимости на острове осталось мало стимулов развивать кораблестроение – сам Рожер во многом развивал эту отрасль на материке, где имелось в достатке полноводных судоходных рек для транспортировки

древесины из внутренних регионов к побережью. На Сицилии таких рек не существовало. Это не означает, что судостроение на острове вообще отсутствовало: корабли исправно строились, главным образом в Палермо и Мессине, и гребные галеры сходили со стапелей. Но галеры нуждались в экипажах, а с этим все чаще возникали затруднения. На каждое весло требовалось по шесть человек, то есть всего двести для большой галеры. Некоторое количество составляли рабы и арестанты, которых «разбавляли» беглецами от преследований и так называемыми добровольцами. Если еды переставало хватать, одного-двух гребцов вполне могли вышвырнуть за борт. И все оставались в цепях, днем и ночью.

Между тем Гибралтарский пролив перестал служить естественной преградой распространению пиратства: корсары, равно христианские и мусульманские, нашли себе новое, весьма прибыльное занятие – торговлю невольниками вдоль побережья Западной Африки и организованный экспорт захваченных рабов в Европу. Опять не обошлось без сицилийцев, причем, насколько можно судить, островитяне участвовали в происходящем с чистой совестью. Разве не сам император объявил, что всех неверных, захваченных в море, следует считать рабами? Разумеется, это касается и врагов Христа, выявленных на суше. Торговля невольниками приносила такую прибыль, что работоторговцы не видели причин ограничиваться исключительно поимкой и продажей неверных: к 1580-м годам сразу несколько капитанов, включая как минимум двух англичан, поставили на широкую ногу покупку и продажу христианских пленников вдоль побережья.

Как наглядно показывают приведенные выше сведения, жизнь тех, кто проживал на сицилийских берегах, была, мягко говоря, беспокойной; но и у тех, кто проживал во внутренних районах острова, жизнь была ненамного безопаснее. Сицилия при испанском владычестве оставалась по сути беззаконной. Повсюду бесчинствовали разбойники; во многих областях считалось неразумным отправляться в путь, если у тебя нет компании численностью менее двадцати человек. Большинство разбойников составляли крестьяне из глубинки, которые практически в глаза не видели испанских правителей – да и несколько не стремились тех увидеть. Они жили так, как жили всегда. Существующая система правосудия, о чем они прекрасно знали, неизменно заступалась за богатых и привилегированных; поэтому они предпочитали следовать собственным представлениям о справедливости. Коррупция процветала, но разве не было коррумпированным само чужеземное правительство, которое возглавлял вице-король? Разбойники проявляли жестокость, но так же поступали и бароны. Хронисты рассказывают о двух конкурирующих баронских семействах, ди Луна и Перолло, которые постоянно норовили вцепиться друг другу в глотки из-за притязаний на Шакку. Каждое семейство обладало собственной армией разбойников. Когда в 1520-х годах вице-король назначил особого чиновника для примирения этих семейств, беднягу убили почти сразу; его обнаженное тело пролежало на улице несколько дней, прежде чем кто-нибудь посмел прикоснуться к нему. Ди Луна затем захватили город и вырезали многих Перолло и их сторонников. Интересно отметить, что главой клана ди Луна, непосредственно ответственного за эту резню, был племянник папы Льва X из рода Медичи. Ни сам он, ни его семья не понесли наказания.

Бароны, по всей видимости, несколько не уважали вице-короля; впрочем, то же самое можно сказать и о населении острова в целом. Будь вице-король испанцем или сицилийцем, он почти неизменно оказывался готовым к подкупу. Кроме того, эти наместники короны также проявляли склонность подавать примеры пренебрежения законами тем, кем они пытались управлять: многие не делали секрета из того факта, что занимают должность ради доходов, которые та сулит. Некоторые из них на самом деле были чрезвычайно успешными пиратами и сколотили значительные состояния. Церковь была еще богаче; в конце шестнадцатого столетия архиепископ Монреале – непременно, кстати, испанец, как и большинство прелатов – получал жалованье по меньшей мере вчетверо выше содержания вице-короля и владел минимум семьюдесятью двумя земельными наделами. Его коллеги, архиепископ Палермо и

епископ Катании, тоже не могли пожаловаться на отсутствие достатка. Зато в других сферах деятельность духовенства и религиозных орденов оставляла желать лучшего. В некоторых районах Сицилии женатые священнослужители были скорее правилом, чем исключением; неоднократно оглашались запреты на соблазнение монашек и прихожанок монахами из соседних монастырей.

Отдельно от церкви, но в тесном контакте с нею действовала инквизиция. Король Испании назначал инквизиторов собственноручно; у них были свои «полицейские» подразделения и свои специальные тюрьмы. Нередко они отправляли королю секретные доклады о поступках вице-короля, а порой по воле монарха отменяли своими указами вице-королевские распоряжения; неудивительно, что между этими двумя ветвями власти существовало значительное напряжение. Инквизиция не допускала постороннего вмешательства в свои дела. пытки официально разрешались и фактически даже поощрялись. Если жертва умирала во время пыток, никто не винил себя: что поделаешь, таков суд Божий. Даже выживание вполне могло оказаться лишь временным; часто из камеры пыток выходили только для публичного сожжения на костре. Инквизиторы искореняли ересь везде, где они ее обнаруживали, и охотно преследовали бывших иудеев и мусульман, чьи семьи уже давно обратились в христианство. Еврейским торговцам, временно проживавшим в крупных городах, полагалось носить особый знак на одежде, а мусульманам – ходить в чалмах. С другой стороны, выказывалась известная терпимость по отношению к бесчисленным тысячам греков, которые исповедовали православие; их было слишком много, и они жили на Сицилии слишком долго. Зато жизнь протестантов, в особенности лютеран, была трудной и опасной.

Для многих сицилийцев – прежде всего для добропорядочных и законопослушных католиков, проживавших в глубинке и занимавшихся достойной и умеренно прибыльной торговлей – жизнь при испанском владычестве была, вероятно, вполне сносной; но это не может изменить того факта, что, особенно в шестнадцатом и семнадцатом столетиях, Сицилия являлась крайне несчастливым островом. Единственный раз за всю свою долгую историю она объединилась и сделалась независимой – в двенадцатом столетии, при норманнах, чья власть сохранялась менее семидесяти лет. Далее же, благодаря анжуйским и испанским правителям, Сицилия стала безнадежно деморализованной и полностью коррумпированной. Она утратила национальную гордость, верность кому бы то ни было, солидарность и дисциплину. В результате остров попросту прозябал, сильно страдая и откликаясь редкими, случайными и безуспешными революциями, до тех пор, пока в начале восемнадцатого столетия в Утрехте наконец не сбежал из испанской хватки – чтобы угодить в капкан Бурбонов.

Героем Сицилии в первой четверти семнадцатого столетия был Педро Тельес-Хирон, 3-й герцог Осуна. В молодости он послужил солдатом и дипломатом – сообщали, что он ездил в составе посольства короля Филиппа III к английскому королю Якову I в 1604 году для подписания свежезаключенного мирного договора, – а затем в 1611 году прибыл в Палермо в качестве вице-короля и был шокирован увиденным. За две недели городские улицы очистили от попрошаек, множество подозрительных личностей оказалось в тюрьмах или было выслано. Ношение кинжалов запретили даже аристократам. Право на убежище в любой из трех сотен городских церквей отменили, преступников лишили возможности выкупать себе свободу, и появилось специальное «братство» для улаживания межсемейных распрей, столь долго отравлявших сицилийскую жизнь. Далее Осуна сосредоточился на укреплении обороны. Выяснив, что во флоте едва ли найдется хоть один мореходный корабль, он приказал заложить двенадцать новых галер английского образца, а когда те построили, стал использовать для исключительно прибыльной войны против Берберийского побережья.

С экономикой справиться было куда сложнее. Изучение бухгалтерских книг показало, что около трети годового дохода казны бесследно исчезает. Осуна незамедлительно ввел новую

систему жестких ограничений и контроля и одновременно договорился о немалом кредите с генуэзскими банкирами. За несколько лет он сумел восстановить доверие финансистов. В Палермо и Мессине вновь открывались банки (а ведь некоторые были закрыты уже давно). Жители Мессины бурно протестовали – мол, они не обязаны платить налоги, принятые без их одобрения, – и предложили Осуе 20 000 скудо^[100], чтобы он, так сказать, забыл о своих планах. Осуа отверг это «подношение» и доложил королю Филиппу IV, что мессинцы в шестой раз за пятьдесят лет отказываются платить установленные налоги, а посему, если не принять мер, город вполне может стать независимым государством^[101]. Затем он сам отправился в Мессину, арестовал отцов города и привез их в цепях в Палермо, где заключил в тюрьму, причем содержались они в одиночках и за собственный счет.

Осуа был не только блестящим администратором, но и щедрым меценатом и покровителем искусств, в особенности архитектуры. К ужасу инквизиции, он пригласил в Палермо новый итальянский театр, охотно допустил выступления по воскресеньям и нисколько не возражал против присутствия женщин на сцене. Его сильно привлекали карнавалы, он даже пытался сделать обязательным ношение масок. В отличие от большинства местных вице-королей, он был по-настоящему популярен, и когда он отбыл с острова в 1616 году, жители Палермо (но не Мессины, увы) искренне сожалели.

По счастью, он избежал близкого знакомства с двумя наихудшими эпидемиями бубонной чумы на Сицилии. В 1575 году, по сообщениям хронистов, Мессина лишилась половины своего населения; в 1624 году настала очередь Палермо, куда болезнь завезли на кораблях, доставлявших освобожденных христианских невольников из Туниса. Умерли тысячи людей, в том числе вице-король Эммануил Филиберт Савойский; Антонис ван Дейк, писавший портрет этого чиновника, бежал на материк при первых признаках эпидемии. Мощи святых Кристины и Ниньи ежедневно носили по улицам, тем самым лишь распространяя инфекцию; но в критический момент святая Розалия (по мнению многих, племянница короля Вильгельма Доброго) явилась некоему охотнику на Монте-Пеллегрино, напомнила, что так и не удостоилась надлежащего христианского погребения, и указала пещеру, где лежали ее останки. Кости немедленно забрали, и они оказались куда более действенными, нежели мощи других святых, а потому святая Розалия сделалась новой покровительницей города.

Почти столь же катастрофической, как чума, стала Тридцатилетняя война, один из наиболее протяженных и разрушительных конфликтов в европейской истории. Начавшись в 1618 году как религиозная война между католиками и протестантами в Священной Римской империи, она постепенно распространилась на большую часть континента, утратила со временем религиозную составляющую и превратилась в кровопролитное разрешение вековой вражды между домами Бурбонов и Габсбургов. Для большинства сицилийцев, впрочем, эта война проявляла себя только в денежных поборах. Парламент теперь собирался не реже одного раза в год (а зачастую и дважды в год) и был вынужден так или иначе реагировать на колоссальные финансовые запросы со стороны Испании. Сицилия отчаянно старалась соответствовать: парламентарии не отвергали никакой схемы налогообложения, никакой идеи, если та сулила приток средств. Важные посты в правительстве продавались за немалую цену, равно как и принадлежность к аристократии: право ставить обращение «дон» перед именем стоило сотню скудо, на более значимые титулы цены росли астрономически. Прощение за любые преступления – как всегда, за исключением государственной измены – также можно было купить. Эгадские острова у Трапани^[102] были приобретены генуэзским семейством Паллавичини-Рускони за 160 000 скуди. Но требовались не только деньги, война пожинала жатву и людскими ресурсами. Ушли из гавани новые галеры Осуны, команды которых были укомплектованы в основном сицилийцами. В итоге вице-королю пришлось сообщить своему сюзерену, что на острове больше не найти ни единого свободного мараведи^[103].

Тридцатилетняя война продолжалась до 1648 года; между тем экономическая ситуация на Сицилии стабильно ухудшалась, и среди населения росло недовольство. Причина проблем лежала в социальной плоскости и в области сельского хозяйства, а никак не в политике. Сицилия являлась производителем и поставщиком пшеницы; а этот злак печально славен уязвимостью перед капризами природы. Неожиданно засушливая весна, два или три неурожая подряд, нашествие саранчи, случайное воздействие сырости – все эти неприятности (и многие другие) были чреваты катастрофой. Благодаря недавнему увеличению численности населения на острове ощущалась нехватка зернохранилищ; а земледельцы, обеспечив себя в достаточной мере, норовили продать излишки в Испанию, Венецию, на Крит, словом, туда, где они могли рассчитывать на значительно более высокие цены по сравнению с сицилийскими. Уже в 1644 году пришлось понизить качество выпекаемого хлеба; два года спустя Мессина была вынуждена урезать субсидируемый хлебный рацион. Затем, в феврале 1647 года, проливные дожди уничтожили посевы, и потому сеять предстояло заново – во всяком случае, тем счастливым, у кого остались семена про запас. За этим бедствием последовала жестокая засуха в марте и апреле. Города заполнили попрошайки, в сельской местности мужчины, женщины и дети умирали от голода.

Восстание вспыхнуло в мае, после нескольких дней покаянных процессий, в ходе которых их участники хлестали цепями по спинам до крови. Сообщалось, что было устроено даже особое шествие городских проституток, которых любезно приняла принцесса Трабия в своем дворце. Но в середине месяца духовная атмосфера изменилась. Церковные колокола созывали людей на площади, архиепископ вооружал духовенство, здание городского совета подожгли. Та же участь постигла многие другие здания, и улицы, по словам хронистов, покраснели от крови. Достаточно любопытно, что в этих беспорядках почти не отмечалось возмущение против Испании; недовольство было направлено главным образом против вице-короля и его правительства. К следующим суткам порядок удалось частично восстановить. Предпринятое расследование позволило установить, что за смутой стоял сбежавший из тюрьмы головорез по имени Нино ла Пилоза. Его схватили с помощью ремесленных гильдий, так называемых *maestranze*, и под пытками он сделал примечательное признание: дескать, его намерение состояло в том, чтобы сделаться королем, после чего он собирался раздать беднякам все деньги, принадлежавшие городскому банку и иезуитам. Можно лишь надеяться, что это признание не подстегнуло духовников-иезуитов, чья задача состояла в том, чтобы дать Нино последнее утешение, прежде чем его публично расчленили раскаленными щипцами.

Пожалуй, стоит несколько подробнее поведать о *maestranze*, которые изрядно окрепли в шестнадцатом столетии и приобрели за последние сто лет немалую власть. Первоначальные цели у них были такие же, как и у всех прочих европейских гильдий: защита интересов представителей конкретных профессий, обучение молодых и забота о тех гильдейских, кто был слишком стар или слишком болен, чтобы ухаживать за собой. Однако на Сицилии, где степень общей беззаконности была значительно выше, чем где-либо еще, гильдии превратились в профессиональные общества, которые соблюдали и отстаивали собственную примитивную справедливость – подобно мафии в более поздние времена.

Тем временем аристократы Палермо укрывались в своих сельских поместьях, чем дальше от города, тем безопаснее; хотя город вроде бы успокоился, они не выказывали ни малейшего желания возвращаться. Вице-король, 5-й маркиз Лос-Велес, обнаружил, что его покинули все ближайшие соратники, и внезапно отправился совершать паломничество. Заслуживает упоминания тот факт, что город Мессина, предоставивший в его распоряжение деньги и вооруженный отряд, чтобы подавить бунт в городе-сопернике, теперь предложил маркизу перебраться к себе навсегда, вместе с двором; впрочем, это предложение оценили по достоинству – и отклонили.

От вице-короля на его посту не было особого толка, но все же это было лучше, чем ничего; Палермо остался без какого бы то ни было подобия правительства, с припасами и финансами

в считаном числе. Город спасли *maestranze*. 12 августа 1647 года они – прежде всего гильдии рыбаков и кожевники – взяли на себя управление Палермо, установили чрезвычайные пошлины на окна и балконы^[104], на вино и табак, на говядину и – как ни удивительно – на нюхательный табак. Они также выдвинули нового лидера, некоего Джузеппе д'Алези. Этого человека, золотых дел мастера по профессии, молва связывала с Ла Пилозой, и он едва избежал ареста – удрал в Неаполь, причем появился там как раз вовремя, чтобы принять участие в удивительно схожем с сицилийским восстанием во главе с харизматическим вожаком по имени Мазаньелло^[105], но вскоре он вернулся в Палермо и довольно быстро сумел заполучить власть. Вице-короля насильно возвратили из его паломничества – но ненадолго. Через неделю или две д'Алези и его люди захватили королевский дворец. Лос-Велес в панике бежал.

Джузеппе д'Алези сильно отличался по характеру от Ла Пилозы. Он ненавидел насилие и был искренне верен Испании. Он запретил дальнейшие разрушения, объявил грабеж тяжким преступлением и приказал немедленно открыть городской банк. Еще он разыскал вице-короля, пообещал тому безопасность и умолял вернуться – на что Лос-Велес, пусть и крайне неохотно, согласился. Теперь стало возможным собрать законное правительство, причем д'Алези в своем нынешнем сильном положении убедил Лос-Велеса провести целый ряд жизненно необходимых реформ. Он действительно радел о своей стране; печально упоминать, что в какой-то момент он утратил популярность у народа и что, когда возобновилось уличное насилие в конце августа, за ним гнались и в конце концов загнали в канализацию. Там же его и убили, дом разрушили, а голову д'Алези насадили на прутья на центральной площади Палермо. Жуткая и постыдная награда за все, что он сделал для Сицилии.

Спустя неделю восстание закончилось. Архиепископ Монреале отпустил народу «грех революции» и публично освятил центральную площадь Палермо, дабы окончательно изгнать тех злых духов, что могли еще где-то прятаться. Дефицит продовольствия по-прежнему ощущался остро; всем безработным и тем, кто прожил в Палермо менее десяти лет, велели немедленно покинуть город под угрозой смерти. Все запасы пшеницы, где бы те ни находились, были объявлены принадлежащими государству. Азартные игры запретили наряду с ношением масок – признаться, непросто понять, как эти меры способны положительно сказаться на пополнении припасов, – а сельскохозяйственным работникам дали особое разрешение трудиться по воскресеньям и в праздничные дни, пока кризис не минует.

Лос-Велес между тем впал в нервную прострацию, от которой так и не оправился, и умер в ноябре. Его преемник, кардинал Джанджакомо Тривульцио, был человеком совершенно иного склада. Убежденный сторонник твердой руки, он ввел комендантский час по всему городу, потребовал от населения сдать оружие и расчистил пространство вокруг королевского дворца, чтобы артиллерия могла стрелять прямой наводкой в случае новых бунтов. Далее, чтобы поддержать местных торговцев и создать новые рабочие места, он приказал всем аристократам вернуться в город из поместий. Более того, он позволил им привести с собой наемников. Последнее решение вызвало немалую обеспокоенность: ведь наемные отряды дворян, как правило, состояли из грубых крестьян, запятнавших себя различными мерзостями. Но Тривульцио разместил по всему городу укрепленные «точки контроля», и следовало поставить там гарнизоны. Где еще было найти достаточное количество людей для решения этой задачи?

Если история первой половины семнадцатого столетия на Сицилии выглядит едва ли поучительной, то история второй половины века – и подавно. В целом ситуация оставалась неизменной – ощущался хронический дефицит продовольствия, Испания постоянно требовала налоговых поступлений, а местные аристократы упорно отказывались платить свою долю. Последнее обстоятельство, безусловно, объясняло страдания Сицилии, но

вице-короли не осмеливались настаивать на соблюдении законов; было намного безопаснее добывать деньги за счет продажи титулов и привилегий, на которые существовал устойчивый спрос. Шестнадцать новых княжеских титулов появились в 1670-х годах, а в 1680-е годы остров явил миру четырнадцать новых герцогов. Бесчисленные наделы, включая несколько городов, выставлялись на аукционы.

Положение усугублялось традиционной враждой между Палермо и Мессиной. Эти два города, нужно признать, и вправду имели мало общего. Прежде всего, мессинцев отличал несокрушимый комплекс превосходства, они утверждали, что их город считался столицей Сицилии еще в 270 году до нашей эры. Также они мнили себя и свой город частью Калабрии; многим из них принадлежала калабрийская собственность, а пролив они могли пересечь буквально за пару часов; путешествие же в Палермо (в которое они предпочитали отправляться как можно реже) занимало, по суше или по морю, до трех дней. Даже местный диалект был куда более понятным на материке, чем в нынешней столице острова. Вдобавок жители обоих городов по-разному оценивали перспективы жизни. Палермо сохранил подлинную аристократию, что называется, старой школы; знать Мессины больше походила на венецианских деловых людей и тем гордилась. По этой причине большинство иностранных торговых домов предпочитало иметь в Мессине своих представителей; город мог похвастаться английским консульством и англиканской церковью.

Предметом многолетних раздоров был вопрос, не должен ли вице-король половину отведенного ему срока на посту жить в Мессине, а не Палермо. Мессинцы настаивали на том, что так и должно быть, и тратили огромные суммы денег, чтобы добиться своего; они даже выкупали данную привилегию у короля Испании, причем неоднократно, и построили дворец вице-короля заодно с целой группой зданий для правительства. Причина, по которой эти здания пустовали, была удивительно проста: Палермо выглядел величественнее и, если угодно, элегантнее. С социальной точки зрения этот город был также привлекательнее, и неудивительно поэтому, что вице-короли выбирали именно Палермо.

Мессина, кроме того, вызывала отторжение на всем острове, во многом потому, что сохраняла монополию на шелк, сырой и обработанный; эту монополию жарко оспаривали и постоянно ставили под сомнение не только в Палермо, но и по всей Сицилии. Законодательно монополия не подтверждалась, хотя город регулярно отправлял разорительные посольства в Испанию, упрашивая сюзерена подтвердить привилегию. Эти проблемы сделались еще насущнее, когда Франция тоже стала развивать торговлю шелком, в значительной степени при поддержке правительства. В итоге экономика Мессины начала сжиматься, население города сокращалось, и к 1670-м годам ситуация уже вызывала серьезную озабоченность. А 11 марта 1669 года произошло одно из наиболее яростных извержений вулкана Этна во всей истории: река лавы шириной больше мили через пять недель достигла стены Катании, отстоящей от горы на пятнадцать миль. Затем, в первом году нового десятилетия, случился первый из длинной череды катастрофических неурожаев. Ввели строгую карточную систему, но довольно скоро вице-королю, принцу де Линю, стали докладывать о гибели людей от голода.

Все это, разумеется, стимулировало революцию, которая началась в Мессине в 1674 году, но единственную причину тут выделить нельзя. По самым различным причинам обеспокоенные граждане тревожились ничуть не меньше бедняков. Мало того, что их деньги быстро утекали в никуда; они с тревогой наблюдали, как де Линь за их счет строит колоссальные укрепления против турок, которые в 1669 году захватили Крит у венецианцев, после двадцатидвухлетней осады, самой продолжительной в истории. А рядом, как обычно, витал призрак Палермо – столица процветала, тогда как Мессина страдала и требовала, чтобы извечного соперника лишили поблажек в отношении налогообложения и монополии на шелк. Испания тоже заставляла беспокоиться: некогда самое реакционное правительство Европы приступило к демократическим реформам, которые, как опасались в Мессине, обернутся волнениями среди населения.

Начавшаяся революция поэтому принял удивительную форму. Ее вожаки обратились к Франции, которая в ту пору находилась в состоянии войны с Испанией. Для Людовика XIV, вряд ли стоит уточнять, это была возможность, которой не следовало пренебрегать. Он немедленно выслал на остров контингент французских войск под командой герцога Вивонна, брата своей очередной любовницы, и оптимистично назначил того на должность губернатора Сицилии. Герцог прибыл в Мессину в начале 1675 года. У вице-короля де Линя имелся повод для радости: революция по-прежнему затрагивала только Мессину, не было никаких признаков ее распространения по острову. С другой стороны, его попытки собрать ополчение выглядели смехотворными. Лишь немногие сицилийцы удосужились откликнуться на его призыв; среди собравшихся многие оказались полностью бесполезными, а многие другие почти сразу дезертировали. Аристократы повели себя немногим лучше; после годичных попыток провести мобилизацию на острове не было ни одного сицилийского полка. Те войска, какие удалось собрать де Линю, почти целиком состояли из испанцев и немцев. Полезнее всего для него оказался флот, переданный Испании довольно неожиданным союзником – голландцами; командовал флотом семидесятилетний адмирал Микель де Рюйтер; при этом сицилийцев шокировали пьянство и разврат голландских моряков на берегу, а сами голландцы открыто насмехались над своими безалаберными хозяевами. Во многом именно вследствие общей сицилийской безалаберности де Рюйтер и погиб в малозначимой стычке у Августы.

Четыреста лет назад нежелательное присутствие французских войск привело к войне Сицилийской вечерни. Это говорит многое о состоянии населения острова, которое теперь нисколько не сопротивлялось, похоже, новой оккупации. Даже в 1676 году, когда французский флот разгромил испанские и сицилийские эскадры у Палермо, на глазах наблюдавших с берега островитян, а архиепископ испугался настолько, что велел перенацелить замковые пушки с кораблей в море на главную площадь города, горожанами владела удивительная апатия. Эта апатия в столице была тем более удивительна, что французы олицетворяли исключительные интересы Мессины, которая, собственно, их и призвала. Сколько они ни пытались, им не удавалось распространить свое влияние далеко за пределы города. Король Людовик, для которого экспедиция стала печальным разочарованием, даже предложил предоставить Сицилии полную политическую независимость и собственного короля.

Увы, он не смог понять умонастроения жителей Мессины. Для них независимость была полезным дополнением, но куда больше они стремились к победе и достижению прочного превосходства над Палермо. Потому они отправили послов в Париж, соответственно тех проинструктировав; требования заключались в предоставлении Мессине всех прав свободного порта, освобождении от таможенных сборов, подтверждении монополии на экспорт шелка, а главное – в признании за Мессиной статуса столицы и места постоянного пребывания губернатора, его двора и правительства. Эти требования вызвали у Людовика легкий шок; он не привык к подобному вызывающему поведению со стороны подданных. Послов встретили весьма холодно, выделили всего двух лошадей вместо обычных шести для экипажа в Версаль, приняли лишь после аудиенции, данной королем представителями Мальты и в итоге отправили домой с пустыми руками. Дело в том, что король Людовик быстро устал от Сицилии. Мессина, как ему стало ясно, обратилась к Франции под ложным предлогом. Сицилия отнюдь не собиралась возвращаться к французскому правлению. Экспедиционный корпус французов не добился на острове ничего.

К 1677 году разочарование сделалось взаимным. Ряд деревень был разрушен в ходе столкновений, сгорели фермы, рощи оливковых и тутовых деревьев. Цены на питание взлетели. Горожане негодовали – и нередко противились – из-за размещения французских солдат, поскольку это сулило угрозу чести их жен и дочерей. Венерические болезни стремительно распространялись, и обвиняли в том мессинцев (мягко говоря, несправедливо). Они, конечно, не говорили по-французски, а французы не спешили учить итальянский или

испанский язык; вместо этого они просто командовали. Сам герцог Вивонн не скрывал своего презрения к местной аристократии, которая постоянно чего-то требовала, но не желала пошевелить и пальцем.

Довольно скоро Людовик принял решение вывести войска. В указанных обстоятельствах он подумывал о заключении соглашения, которое, хотя бы в малой степени, могло бы защитить Мессину от Испании и Палермо, явно мечтавших отомстить. Но дальше размышлений не пошло, и многие аристократические семейства Мессины бежали в страхе за свою жизнь. Франция отказалась их принять; они нашли убежище в других странах и больше никогда не вернулись в родной город. Их дома, конечно же, разграбила толпа, но грабителям не досталось почти ничего: беглецы забрали с собой все свои деньги и большую часть имущества – в том числе столько рулонов шелка, сколько смогли увезти.

Отчасти вполне объяснимо, что именно Мессина стала местом действия шекспировской пьесы «Много шума из ничего»; на протяжении столетий этот город, что называется, мутит воду на Сицилии, не получая с того никакой прибыли, а его последняя, откровенно глупая авантюра оказалась и вовсе губительной. Если оставить в стороне последствия для самого города и его населения, она стоила Испании уйму средств и множество человеческих жизней. Словом, Мессина заслуживала наказания, и кара последовала. В 1679 году новый вице-король, граф Сантистебан, разрушил здание городского совета, символически распахал землю под ним и засеял его солью. Соборный колокол, подстрекавший граждан к восстанию, расплавили^[106]; сокровищницу собора разграбили и уничтожили. Местный парламент распустили, как и университет, который заменили громадной крепостью, господствовавшей над городом. Те мятежные семейства, которые остались в городе, лишились домов и имущества, проданных на открытом аукционе.

Мессина, несомненно, заслуживала наказания, но заодно с нею пострадала и Сицилия в целом. Фактически уничтожить второй город острова – а с коммерческой точки зрения вообще первый – было очевидной глупостью. К началу 1690-х годов – к тому времени население Мессины сократилось более чем в половину – предпринимались попытки как-то исправить причиненный ущерб, но реальный успех был незначительным. Одно из наиболее разумных предложений по восстановлению города призывало разместить в городской черте сообщества иностранных купцов – евреев, греков, возможно, даже мусульман; но инквизиция быстро подавила такое «вольномудство», и медленное угасание Мессины продолжилось.

В девять часов вечера 11 января 1693 года произошло одно из наиболее разрушительных землетрясений в истории Сицилии – и наиболее сильное в истории Италии. Его эпицентр находился на юго-востоке острова, где было уничтожено по меньшей мере семьдесят городов и населенных пунктов, среди них Ното и Модика; Сиракузы и Рагуза значительно пострадали. Очевидцы сообщали, что земля будто разверзлась и поглотила заживо множество людей; реки внезапно исчезали и возникали заново, словно по мановению волшебной палочки; гигантские приливные волны и цунами опустошали прибрежные деревни. Мрак зимней ночи усугубил смятение и ужас: десятки тысяч людей вскакивали с постелей и бежали в сельскую местность. Общие потери оцениваются примерно в 60 000 человек, включая почти две трети населения Катании, где катаклизм разрушил единственный оставшийся университет Сицилии. В целом погибло, насколько можно судить, около пяти процентов жителей острова – либо в ночь землетрясения, либо за несколько недель после него, от ран или от начавшегося заражения.

Но даже землетрясения могут иногда оказаться полезными; без катастрофы 1693 года мы не обрели бы трех потрясающих барочных городов Сицилии, почти полностью восстановленных после разрушения. Это Ното, Рагуза и Модика, все расположенные на крайнем юго-востоке острова^[107]. Старый Ното был уничтожен стихией и отстроен заново на несколько миль южнее и ближе к морю. План города интересен: три параллельных улицы

пересекают склон пологого холма, а некоторое число более узких улочек бежит вниз по склону, пересекая главные под прямым углом. На главной улице предусмотрели три торговых площади, каждая с церковью на той стороне, что выше по склону. Результатом стал самый красивый город Сицилии, который сделался еще прекраснее благодаря прославленному камню медового отлива, что будто бы впитывает в себя солнечный свет, а затем мягко излучает этот свет в сумерках. Местный собор можно назвать наиболее торжественным среди всех церковных зданий, во многом из-за огромной лестницы, что ведет к нему; это одно из последних возведенных в городе великих зданий, его строительство завершилось только в 1770 году. Но собор – лишь начало. В Ното имеется церковь Монтеверджине, ныне не используемая, которая нависает каменной глыбой над одной из узких поперечных улочек, как бы намереваясь ее проглотить; еще есть замечательная церковь Святого Доминика с выпуклым фасадом и восхищающие любителей барокко церковь Сан-Сальваторе и иезуитская церковь Колледжио (должен заметить, что когда я в последний раз видел их несколько лет назад, они выглядели не слишком хорошо). Впрочем, в Ното, как и в Венеции, главное чудо – город целиком.

Рагуза разделилась надвое. После землетрясения часть уцелевших горожан заложила новое поселение к западу от старого, но другая часть предпочла остаться на прежнем месте и восстановить утраченное. Новый город не задержит нас надолго. Его собор, построенный сразу же после землетрясения, образует городской центр; это достаточно красивое здание, но ему далеко до храма в Рагуза-Ибла, как зовется город на старом месте. Те, кого интересует глубокая древность, могут посетить археологический музей и посмотреть на любопытную каменную скульптуру, датируемую концом седьмого века до нашей эры, – это так называемый воин из Кастильоне, найденный местным крестьянином в 1999 году.

Рагуза-Ибла – восхитительный старый город из великолепного камня, схожего (но не идентичного) с тем, из которого построен Ното; и он находится в отменной сохранности. Этот город стоит на длинной и узкой гряде, которая тянется с запада на восток между двумя глубокими ущельями. Его несомненный шедевр и центр притяжения – собор Сан-Джорджо, творение гениального Розарио Гальярди, который называл себя как *ingegnere della città di Noto e sua Valle*^[108] (долина Валь-ди-Ното занимает всю юго-восточную треть острова). Собор венчает собой грандиозную лестницу, возносится ввысь тремя уровнями до колокольни, колонны которой, с широкими промежутками между ними, обеспечивают великолепную игру света и тени по мере движения солнца по небосводу. (Довольно неудачный купол, опирающийся на высокие колонны, перекрывает вид, но, по счастью, невидим с фасада.) Чуть дальше на восток церковь Сан-Джузеппе выглядит скромной версией своего величественного соседа; налицо веские основания полагать, что ее тоже спроектировал Гальярди. Перед тем как покинуть Рагузу-Ибла, стоит прогуляться по городу и осмотреть несколько красивых старых дворцов – прежде всего обращая внимание на их балконы, украшенные резными гротескными фигурами монстров, которые столь почитаемы по всему острову.

Если ехать из Рагузы в Модичу, предстоит пересечь мост Герьери, который вознаградит путешественника захватывающим первым видом места назначения с высоты почти 1000 футов. Город, как его и сосед, делится на две части, верхнюю и нижнюю; на полпути в гору стоит потрясающая церковь Сан-Джорджо. Одноименный собор в Рагузе весьма величественен, однако церковь в Модиче (тоже почти наверняка творение великого Гальярди) его очевидно превосходит. Оба храма высятся на вершине длинных лестниц, но в Рагузе число ступеней равно приблизительно пятидесяти, а в Модиче их впятеро больше и они спускаются по склону к дороге внизу. В конструкции самой церкви пять уровней, в сравнении с тремя у собора в Рагузе.

У местного храма Святого Георгия есть извечный соперник, церковь Святого Петра. После землетрясения Карл II Испанский распорядился восстановить только один из двух храмов; предполагалось, что сооружение посвятят обоим святым и древняя неприязнь забудется. К

сожалению, королевское повеление проигнорировали – подобное нередко случалось с приказами Карла II, – и очень скоро возрожденные Сан-Джорджо и Сан-Пьетро возобновили вражду. Церковь Сан-Пьетро неоспоримо прекрасна, но, несмотря на чудесные статуи апостолов вдоль ступеней лестницы, ее фасад выглядит удручающе скучным. Зато Сан-Джорджо работы Гальярди мгновенно притягивает взгляд – для многих это самая красивая церковь в стиле барокко на Сицилии, в одном из красивейших и наиболее отдаленных уголков острова.

Пожалуй, здесь стоит – пока мы обсуждаем эту тему – упомянуть еще одного творца, современника Гальярди, который ограничил свою деятельность в основном пределами Палермо и ближайших окрестностей. Он был не архитектором, а мастером-штукатуром, и звали его Джакомо Серпотта. Знаменитый профессор Рудольф Виттковер^[109] охарактеризовал его как «метеор в сицилийском небе». Три маленьких молельни в Палермо, которые он отделявал, выдают величайшего мастера, какой когда-либо жил; при этом он никому и никогда не подражал. Безусловно (и естественно), на него оказали влияние итальянские каноны и образцы, однако ни единожды за свои семьдесят шесть лет (1656–1732), насколько известно, он не покидал Сицилию^[110]. Нельзя пропустить ни одной из трех его молелен – Санта-Чита, Сан-Лоренцо и Сан-Доменико, но важнейшей среди них является, на мой взгляд, молельня, примыкающая к доминиканской церкви Санта-Чита. Окна вдоль боковой стены обрамлены аллегорическими фигурами, и под каждым, тоже на штукатурке, нанесены изображения, представляющие в миниатюре библейские сцены.

Всего этого уже более чем достаточно, чтобы оправдать поездку, но необходимо подойти к торцевой стене, чтобы получить полное впечатление. Эта стена буквально покрыта пышным «занавесом» из штукатурки; занавес поддерживают бесчисленные путти^[111], а на его «полотне» также изображены в миниатюре библейские сцены; данные фрески окружают более крупную картину, представляющую не что иное, как битву при Лепанто. Это историческое морское сражение очутилось под крышей храма благодаря тому, что поражение турок, как считалось тогда, произошло вследствие чудесного вмешательства Богородицы, и потому на картине она восседает над кораблями христиан.

В пятницу, 1 ноября 1700 года, король Карл II Испанский умер в возрасте тридцати девяти лет в своем дворце в Мадриде. Он прожил, несмотря на возраст, слишком долго. Слабый телом и умом, он взошел на трон в возрасте четырех лет после смерти своего отца, Филиппа IV, и одного взгляда на несчастного ребенка было достаточно, чтобы убедить двор в его полной непригодности к управлению государством. Карл напоминал злую карикатуру на Габсбургов, его подбородок и нижняя челюсть выдавались настолько далеко, что нижние зубы не соприкасались с верхними. Он постоянно хворал, причем столь регулярно, что многие придворные приписывали его болезни колдовству. Мало кто из подданных верил, что этот ребенок доживет до совершеннолетия и примет власть над огромными владениями. Но он опроверг все сомнения, и в итоге следующие тридцать пять лет, считая с 1665 года, Испания была, по сути, великой монархией без монарха. Управлением страной ведали сменявшие друг друга премьер-министры различной даровитости – а также церковь и ее главный инструмент, инквизиция.

Не стало неожиданностью, что Карл, несмотря на два так называемых брака, не оставил после себя потомства; чем ближе становился рубеж веков, тем острее вставал вопрос о наследовании. Братья и сестры короля все умерли. Из теток – двух дочерей его деда Филиппа III – старшая, Анна, была замужем за Людовиком XIII Французским; младшая, Мария, являлась женой императора Фердинанда III Австрийского. Анна в положенный срок родила будущего Людовика XIV, Мария же – будущего императора Леопольда. На протяжении первых девяти месяцев 1700 года канцелярии Европы трудились не покладая рук; наконец 3 октября умирающий король поставил дрожащей рукой подпись на завещании, согласно

которому он передавал все свои владения без исключения семнадцатилетнему внуку Людовика XIV, герцогу Анжуйскому Филиппу. Спустя месяц Карл скончался.

Людовик не терял времени даром. В феврале 1701 года герцог Анжуйский въехал в Мадрид как король Филипп V Испанский, а французские войска заняли Испанские Нидерланды. Для Англии, Голландии и Священной Римской империи подобный поворот был неприемлемым, поскольку происходило объединение двух могущественнейших наций Европы, угрожавшее европейскому балансу сил. Если Испания перейдет из рук слабейшего монарха Европы в руки сильнейшего, кто рискнет предположить, чем это закончится? Противники союза точно знали, кого хотели бы видеть королем Испании: эрцгерцога Карла, брата австрийского императора Иосифа I. Так началась война, вошедшая в историю как война за испанское наследство и продлившаяся следующие четырнадцать лет.

От жителей Палермо – а, возможно, и от жителей Мессины – можно было бы ожидать демонстраций и иных форм протеста; в конце концов, их остров переходил от одной великой державы к другой без каких-либо уведомлений и консультации. Вдобавок у них не было ни малейшего повода любить французов, которых уже когда-то насильственно изгоняли с острова. Да, конечно, со времен Вечерни минуло более четырех столетий, но это событие сделалось частью сицилийского фольклора, и потому о нем не забывали. Вопреки ожиданиям, впрочем, протестов не было. Сицилия, похоже, смирилась со своим «колониальным» статусом; все, чего хотели сицилийцы, – чтобы их оставили в покое. Вице-король (это пост занимал португальский герцог Верагуас) объявил трехдневный праздник, и аристократы и простолюдины послушно участвовали в гуляньях, а затем столь же послушно разошлись по домам.

Пока война продолжалась, долгосрочные перспективы Сицилии, как говорится, повисли на волоске. В 1707 году австрийские войска прибыли в Калабрию и стали готовиться к вторжению на остров. Наконец-то появление новой «породы» захватчиков, с которыми сицилийцы прежде не сталкивались, вызвало беспорядки в Палермо – особенно когда было предложено использовать ирландский полк под командованием солдата удачи, самозваного полковника Махони, в качестве городского гарнизона. Произошло несколько малоприятных стычек, а потом *maestranze* – те же гильдии, которые отличились шестьдесят лет назад – взяли на себя управление городом и правили вполне успешно. За исключением нескольких отдельных набегов, полноценного вторжения Сицилия так и не дождалась. Буквально накануне противоборствующие стороны объявили перерыв в боевых действиях, отложили оружие и собрались в голландском городе Утрехт – где позднее перекроили карту Европы.

Глава 10

Пришествие Бурбонов

Соглашение, известное как Утрехтский договор (переговоры по нему начались в 1712 году), на самом деле представляло собой совокупность договоров, посредством которых европейские державы в очередной раз попытались урегулировать свои взаимоотношения. Нас интересует единственный из множества этих договоров, а именно решение о передаче Сицилии тестю испанского короля Филиппа V герцогу Виктору Амадею Савойскому. Данное решение было принято по настоянию англичан, которым совершенно не нравилась идея о присоединении Сицилии к Неаполю в качестве австрийского владения и которые твердили, что герцог Савойский заслуживает вознаграждения за то, что переметнулся из одного лагеря в другой в ходе войны^[112]. Возражала, как ни удивительно, только королева Анна, которую возмутило, что целые страны передаются туда и сюда без их согласия и даже без уведомления населения, но министры быстро переубедили королеву.

Сам Виктор Амадей, разумеется, пришел в восторг. Он прибыл в Палермо на британском корабле в октябре 1713 года и вскоре после прибытия был коронован как правитель Сицилии

– и, что довольно забавно и неожиданно, как король Иерусалима^[113] – в соборе Палермо. Над Иерусалимом у него, конечно, не было никакой власти, а на Сицилии ему подчинялись девять десятых острова, поскольку Утрехтский договор намеренно сохранил за королем Филиппом все коронные поместья, управлявшиеся испанскими чиновниками и освобожденные от сицилийских налогов и от действия сицилийских законов. Тем не менее Виктор Амадей оказался первым монархом на острове с 1535 года. Сицилийская аристократия благосклонно приняла нового монарха, ожидая, что тот поселится в Палермо и заведет там полноценный королевский двор. Что касается простых людей, те встретили смену власти с привычным равнодушием. За минувшие столетия они повидали множество правителей, и новый, скорее всего, будет не лучше и не хуже прочих.

Герцог Савойский прилагал немало усилий, чтобы стать лучше. Он провел на острове год, много путешествовал – хотя избегал визитов в совсем уж «дикие» места в глубинке – и искренне старался понять характер и обычаи своих новых подданных. Он заново открыл университет Катании и учреждал всюду, где было возможно, новые отрасли промышленности, строил бумажные и стекольные фабрики и пытался возродить сельское хозяйство и судостроение. Но все было бесполезно: королю приходилось бороться не только с богатыми, которые по-прежнему отвергали любые нововведения, способные негативно сказаться на их привилегиях, но и, что гораздо хуже, с поголовной коррумпированностью, ленью и безынициативностью, этим тяжким наследием четырех столетий чужеземного господства. Мешали и «заклятые» обиды: в предыдущие века сицилийцы были недовольны внезапным притоком испанцев и французов, что захватывали все старшие должности в правительства, а теперь они негодовали из-за наплыва государственных служащих и бухгалтеров из Пьемонта, которых король призвал на остров в стремлении навести порядок в пребывавших в хаосе национальных финансах.

Виктор Амадей понимал, что подобные протесты неизбежны; он наверняка их предвидел и полагал, что справится, как говорится, по ходу дела. Но еще он знал, что сицилийцы дважды восставали в минувшем столетии, а значит, если на них надавить излишне сильно, могут взбунтоваться снова. Особенно осторожно (и это было мудро) он вел себя с баронами. Пока те продолжали наслаждаться своими традиционными поблажками и привилегиями, они не представляли опасности; но если, с другой стороны, их каким-либо образом ущемить, последствия могут оказаться весьма серьезными. Когда пришло время возвратиться в Пьемонте, Виктор Амадей наверняка считал, что сицилийская ситуация безнадежна. Семейные вендетты фактически не прекращались, разбой и бандитизм процветали. По сути, население острова было неуправляемым.

Вдобавок он так и не сумел завоевать привязанность островитян. Сицилийцы ценили пышность и помпезность; они давно привыкли к роскоши и великолепию, окружавших испанских вице-королей, представлявших (что было доступно лишь вице-королям) одну из наиболее богатых и могущественных держав мира. А Виктор Амадей не был привержен роскоши. Пуританин от природы, он ненавидел церемонии и одевался скорее как человек из народа, а не как монарх, и предпочитал мечу посох странника. Также он удручающе скарден, а потому остались в прошлом торжественные парады и щедрые приемы, характерная особенность жизни аристократов Палермо. Неудивительно, что и сто лет спустя дети все еще кидали камни в кукол, олицетворявших этого правителя.

Вскоре после возвращения в Турин его ожидало очередное унижение, на сей раз от папы. Истоки ссоры Виктора Амадея с Климентом XI восходят к давним временам и не относятся к нашей истории; важно лишь то, что папская булла 1715 года под названием «*Romanus Pontifex*» положила предел шестисотлетней традиции, согласно которой король Сицилии автоматически становился папским легатом. Папа также повелел всему сицилийскому духовенству не платить налоги государству. Многие подчинились, за что удостоились от монарха изгнания, тюремного заключения и конфискации имущества. Храмы закрывались, епископские должности пустовали, и всех «добрых христиан» призывали бросить вызов

королевской власти. Наиболее рассудительные, что естественно, проигнорировали этот призыв; с другой стороны, монахи монастыря близ Агридженто готовились защищать себя против представителей короны испытанным оружием – кипящим маслом, которое использовали впервые со времен Средневековья. Сицилийцы всегда гордились монаршим статусом папских легатов и винили в его утрате не столько папу, сколько Савойский дом. Для них это был, образно выражаясь, еще один гвоздь в пьемонтский гроб. А для Виктора Амадея – еще один гвоздь в гроб Сицилии^[114].

К тому времени герцог уже горько сожалел о том, что вообще согласился принять сицилийскую корону; к счастью, оказалось, что от нее удивительно легко можно избавиться. В 1715 году недавно овдовевший король Филипп Испанский взял в жены Елизавету Фарнезе, двадцатидвухлетнюю племянницу и падчерицу герцога Пармы. Новая королева не выделялась ни красотой, ни ученостью, ни жизненным опытом, однако у нее была железная воля и твердая цель в жизни. Мгновенно испанский двор лишился всякого французского влияния и стал насквозь итальянским по духу и стилю. Будучи преисполнена желания вернуть Испании все италоязычные территории, Елизавета в качестве первого шага и первой жертвы выбрала Сардинию, часть Священной Римской империи. В августе 1717 года испанский флот отплыл из Барселоны, и к концу ноября остров уже перешел во владение испанцев. Ободренные этим легким успехом, испанцы двинулись на Сицилию. 1 июля 1718 года испанские войска высадились недалеко от Палермо, где – просто потому, что они были не из Пьемонта – их ожидал радушный прием.

Виктор Амадей, конечно, сыпал громкими протестами из Турина; но нетрудно догадаться, что в основном это пустые угрозы. Гораздо более предметным в своих возражениях был император Карл VI, который решительно возражал против самого факта передачи Сицилии Пьемонту; Неаполь уже являлся частью его империи, и он стремился объединить остров с городом, как было раньше. Карл недавно заключил соглашение с Британией и Францией. У него флота не было, зато Британия флотом обладала; именно поэтому британская эскадра адмирала сэра Джорджа Бинга поспешила к Сицилии и уничтожила испанский флот у мыса Пассеро, близ юго-восточной оконечности острова. К сожалению, Британия в ту пору не находилась официально в состоянии войны с Испанией; действия Бинга в итоге обернулись дипломатическим скандалом, последствия которого ощутила на себе вся Европа. Впрочем, результат этих действий был очевиден: впредь британцы будут перехватывать любые подкрепления, отправленные из Испании, зато австрийским войскам позволят пересечь Мессинский пролив беспрепятственно.

Так Сицилия снова сделалась полем боя. Австрийцы и испанцы преследовали друг друга по всему острову, опустошали деревни и истребляли посевы. Битва между ними при Франкавилле (это в нескольких милях в глубь острова от Таормины) 20 июня 1719 года была, пожалуй, самым крупным сражением на Сицилии со времен Римской империи. Она продолжалась целый день, австрийцы предприняли три нападения на укрепленные испанские позиции, но всякий раз были вынуждены отступить; их командующий, граф де Мерси, получил тяжелое ранение (но впоследствии вернулся в строй). Испанская артиллерия сыграла решающую роль в этом сражении – наряду с кавалерией, чей контрудар ввечеру сокрушил все надежды австрийцев на победу. Австрийцы бежали, оставив на поле брани более 3000 убитых и раненых. Испанские потери составили около 2000 человек. Зато имперские войска имели одно несомненное преимущество в виде британского флота, который снабжал их по морю всем, что могло понадобиться. Потому в итоге они все-таки взяли верх. Испанцы, отступая, прибегали к тактике выжженной земли и уничтожали все за собой; но в 1720 году они наконец сдались, и заключенный в Лондоне мирный договор признал Сицилию составной частью Священной Римской империи.

Что касается Виктора Амадея, тот с явным облегчением принял утрату титула, отрекся от своего недавнего владения и охотно принял вместо него Сардинию. По сравнению с Сицилией новое приобретение не представляло значимости – и сулило намного меньше

хлопот. Кроме того, условия соглашения позволили герцогу и далее именовать себя королем. Именно поэтому с 1720 года, когда он официально вступил во владение островом, и вплоть до 1861 года, когда его дальний родич Виктор-Эммануил II стал первым королем объединенной Италии, сам Виктор Амадей и его преемники титуловались как короли Сардинии, продолжая при этом править из родовой столицы – Турина.

Австрийское правление на Сицилии продлилось ровно вдвое дольше правления Пьемонта, но их истории во многом схожи. Сицилийцы, как обычно, не оказали ни малейшего сопротивления новым хозяевам, но невзлюбили их с самого начала. Первым барьером был лингвистический – пьемонтское наречие доставляло проблемы, но немецкий язык оказался гораздо хуже. Суть же неприязни заключалась в том, что Сицилия, после четырехсот лет испанского владычества, сама испанизировалась, привыкла к необременительным испанским пожеланиям; значительная часть населения имела испанское происхождение, и испанский язык понимали почти везде. Любая другая держава поэтому сталкивалась с недовольством, и всякие попытки реформ с ее стороны саботировались на каждом шагу. Австрийцы, впрочем, не отступались. Они составили планы по реформированию налоговой системы – но те оказалось невозможно применить на практике. Еще они хотели восстановить значение и репутацию Мессины и сделать город снова свободным портом, однако иностранные торговцы (подстрекаемые своими коллегами из Палермо) не спешили в Мессину, предпочитая получать прибыль в других местах. Император предпринял попытку возродить добычу серебра и квасцов, но сицилийцы отказывались работать в копиях; а когда квалифицированных горняков стали было завозить из Саксонии и Венгрии, местное крестьянство сделало жизнь этих чужеземцев столь невыносимой, что вскоре они вернулись домой. Еще австрийцы пытались внедрить или возродить некоторые другие отрасли промышленности, но неизменно терпели неудачу. Год за годом взаимное разочарование усиливалось; когда четырнадцать лет спустя Сицилия вернулась в руки Испании, логично предположить, что император, подобно Виктору Амадею ранее, испытал изрядное облегчение.

Королева Елизавета нисколько не заботилась о соблюдении условий Лондонского договора. В ее глазах Сицилия по праву принадлежала Испании, и она была полна решимости осуществить это на практике как можно скорее. Задача оказалась легче, чем виделась изначально. В 1731 году дядя королевы Антонио Фарнезе внезапно скончался, и потому одна из ее заветных целей реализовалась в следующем году, когда шестнадцатилетний сын Елизаветы дон Карлос – с такой матерью он, несмотря на имя, был гораздо больше итальянцем, чем испанцем, – покинул родину (куда ему было суждено возвратиться лишь почти тридцать лет спустя) и отплыл со свитой в двести пятьдесят человек в Италию, где его официально признали герцогом Пармы и Пьяченцы^[115] и великим князем Тосканы. Следует отметить, что этот молодой человек отнюдь не блистал талантами, хотя строгое иезуитское образование научило его четырем языкам помимо родного и преподавало представление об истории; его нельзя было назвать интеллектуалом, охоту и стрельбу он предпочитал любым другим занятиям. Низкорослый и сутулый, с огромным носом, он напоминал, по выражению современника-острослова, весьма почтенного барана. При этом дон Карлос был умен и добродушен и обладал определенным шармом, которому предстояло сослужить ему хорошую службу в последующие годы.

Парма, Пьяченца и Тоскана – это было, конечно, очень и очень неплохо, однако Елизавета Фарнезе смотрела на мир гораздо шире. В ноябре 1733 года она подписала договор с Людовиком XV; в следующем месяце французская армия численностью в 40 000 человек перешла Альпы и заняла Ломбардию, а испанское войско численностью 30 000 человек высадилось в Ливорно. Против такой силы императорский наместник, имевший в своем распоряжении около 7000 человек, устоять не мог; он оставил гарнизоны в трех неаполитанских замках – Ово, Нуово и Сан-Эльмо, – а сам бежал в Апулию в сопровождении приближенных. Замки должным образом осаждали, но проявляли исключительную

сдержанность. Как свидетельствовал очевидец, осажденные блюли город не менее тщательно, чем осаждающие, носовыми платками подавали сигнал всякий раз, когда собирались стрелять, и предупреждали громкими криками, дабы горожане могли спрятаться; лишь когда мирные жители скрывались, они принимались вести огонь. Перед тем как уничтожить маленький дом, они позволили вынести из него всю мебель. Соппротивление и вправду было почти символическим. Дона Карлоса всюду встречали как освободителя, и он торжественно въехал в Неаполь 10 мая 1734 года, под пение труб и гомон ликующей толпы.

Теперь настала очередь Сицилии. Имперские гарнизоны в Мессине, Сиракузах и Трапани оказали довольно серьезное сопротивление, особенно в сравнении с их товарищами на материке, и продержались почти шесть месяцев, пока не иссякли запасы пищи и воды; но сами сицилийцы приветствовали новоявленных захватчиков ничуть не менее радушно, чем жители Неаполя. 3 июля 1735 года, когда Трапани еще не сдался, Карл (как мы должны отныне его называть) был коронован – вопреки яростным протестам Мессины – в соборе Палермо и стал девятнадцатым монархом в ряду тех, кто удостоивался этой чести с момента основания королевства Рожером Норманнским. Торжества продолжались полных четыре дня, после чего Карл отплыл обратно в Неаполь.

Итак, Неаполь и Сицилия снова очутились в составе единого королевства. Два года спустя, в 1737 году, дипломатические переговоры принесли как хорошие, так и плохие новости для Испании. Хорошие заключались в том, что император официально отказалась от всех притязаний на Неаполитанское королевство – при условии, что последнее никогда не объединится с испанской короной. Другими словами, если Карл желает унаследовать испанский трон, он должен передать Неаполь своему ближайшему родственнику, кем бы тот ни был. Плохая новость состояла в том, что Испании пришлось отказаться от Пармы и Пьяченцы в пользу императора, а от Тосканы – в пользу герцога Франциска Лотарингского, мужа будущей императрицы Марии Терезии. Но даже эту пилюлю удалось, так сказать, изящно подсластить, поскольку Карлу разрешили вывезти всю личную собственность семьи Фарнезе из двух герцогств. Посему сокровища потекли в Неаполь – великолепные картины и мебель, целые библиотеки и архивы, даже мраморная лестница. Ныне Неаполь воистину сделался большой европейской столицей; длинная череда вице-королей наконец-то сменилась полноправным монархом.

Но королю требовалась королева. На вопрос, какой та должна быть, Карл отвечал пожиманием плеч. Будучи по-настоящему послушным сыном (особенно это касалось матери), он с готовностью предоставил право выбора невесты своим родителям и просил только, чтобы они уладили эту ситуацию как можно быстрее. Итоговый выбор Елизаветы Фарнезе видится, пожалуй, любопытным. Принцесса Мария-Амалия была дочерью Августа III Саксонского, короля Польши, – корону он получил, насильственно сместив тестя Людовика XV Станислава Лещинского. Иными словами, этот брак вряд ли мог обрадовать французов.

У союза имелись и другие недостатки. Во-первых, невесте еще не исполнилось тринадцати (пусть она была хорошо физически развита для своего возраста) и она не могла, следовательно, выйти замуж без согласия папы; во-вторых, она отличалась удивительно заурядной внешностью, а впоследствии оспа и вовсе обезобразила ее облик. Поэт Томас Грей, который предпринял «большое турне» в 1738 году в компании своего друга Хораса Уолпола, отзывался о молодых короле и королеве как о «небывало уродливой парочке». *Président Шарль де Бросс*^[116] полагал, что у Марии-Амалии «зловный вид благодаря острому носу, рачьим чертам лица и голосу, как у сороки». Но это не имело никакого значения. Мария-Амалия прекрасно говорила по-французски и по-итальянски, помимо родного немецкого, и разделяла в полной мере страсть своего жениха к охоте. Вскоре они оба искренне полюбили друг друга. Когда вскоре после прибытия Марии-Амалии де Бросса провели по королевскому дворцу, он отметил, что «в опочивальне короля нет кровати, ибо он неизменно спит подле королевы». Когда в 1760 году она умерла в возрасте всего тридцати

шести лет, Карл был убит горем. Мать и несколько друзей уговаривали его жениться снова, на одной из дочерей Людовика XV, но он отказывался слушать эти советы. Несмотря на свойственные ей жуткие приступы дурного настроения – Карл не обращал на это внимания, хотя они усугублялись из-за почти непрерывной беременности, – Мария-Амалия была любовью всей его жизни. До брака и в браке он никогда не смотрел на других женщин и не собирался этому учиться.

Лишь одно затуманивало их супружеское счастье – здоровье старшего сына. Королева родила пятерых девочек, четверо из которых умерли в младенчестве, прежде чем произвела на свет Филиппа, герцога Калабрийского, в июне 1747 года. Поначалу показалось, что мальчик вполне здоров, но вскоре появились поводы для беспокойства. «Что-то такое проступает в его очах, – доносил сардинский посол, – что не гармонирует с остальными чертами. Мне сообщили, что он, хотя ему уже семь лет, до сих пор не заговорил и вряд ли сможет произнести хоть слово... [С ним] регулярно случаются жестокие припадки, и не похоже, чтобы он мог достигнуть совершеннолетия». К счастью, королева затем родила еще четверых сыновей (и двух дочерей), поэтому престолонаследие было обеспечено.

Стоило королю Карлу возвратиться в Неаполь после своей коронации в 1735 году, как Сицилия вернулась к привычной жизни. Сицилийцы упорно отказывались воспринимать австрийское влияние и отвергали все попытки австрийцев «упорядочить» остров – точно так же, как недавно сопротивлялись аналогичным попыткам Пьемонта. После четырех столетий испанской оккупации они оставались по сути испанцами, пускай ими теперь управляли из Неаполя, а не из Мадрида (поначалу данное обстоятельство практически не сказывалось). Король, при всей его «итальянизированности», был испанцем по происхождению; значительной частью территории Сицилии продолжали владеть тоже испанцы; правящий класс и те, кто притязал на принадлежность к аристократии, говорили на испанском языке, причем уже на протяжении нескольких поколений; карнавалы и религиозные процессии проводились по испанским традициям; итальянский язык с некоторым трудом признали официальным в 1760-х годах, а вот бои быков устраивались на острове вплоть до рубежа девятнадцатого века.

Но времена меняются. В августе 1759 года испанский король Фердинанд VI умер в возрасте сорока шести лет. Он никогда не отличался крепким душевным здоровьем, а кончина годом ранее любимой жены, откровенно уродливой Марии Барбары де Браганса, и вовсе ввергла его в пучину отчаяния. Он отказывался бриться и менять одежду, просиживал в неподвижности до восемнадцати часов подряд. Как ни странно, он был достаточно хорошим правителем (впрочем, в этом немалая заслуга его супруги). Вместе они с Марией Барбарой восстановили национальные финансы – безнадежно подорванные предшественниками на троне, Филиппом V и Елизаветой Фарнезе, – построили грозный флот, щедро покровительствовали искусствам и наукам и сумели усмирить инквизицию, положив конец публичным аутодафе, которые шокировали просвещенную Европу восемнадцатого столетия. Многие монархи были куда хуже.

Королевство перешло к сводному брату Фердинанда, Карлу, которому соответственно пришлось передавать неаполитанский престол другому члену своей семьи. Его старший сын Филипп, увы, не годился на эту роль: второго сына, тоже Карла, сделали принцем Астурийским и официально назначили наследником испанского престола; Неаполь поэтому достался третьему сыну короля, Фердинанду, в ту пору восьмилетнему мальчику. Покончив с этими трудами, Карл и Мария-Амалия, взяв с собою четверых старших детей – двоим младшим места не нашлось и они путешествовали на отдельном корабле, – отплыли в Барселону. 9 декабря они прибыли в Мадрид, где король воссоединился со своей суровой матерью (та правила страной как регент) впервые после разлуки двадцать восемь лет назад. Мать и сын жарко обнялись, однако Карл быстро дал понять, что ныне он сам себе хозяин и отнюдь не собирается допускать влияния Елизаветы на государственные дела. Она не

возражала, поскольку к тому времени уже находилась в почтенном возрасте, чудовищно растолстела и почти ослепла. Вскоре она вернулась в свой дворец в Сан-Ильдефонсо и больше никогда – даже в связи со смертью Марии-Амалии всего три месяца спустя – не бывала в Мадриде.

Пускай Карла нельзя было назвать интеллектуалом, он отличался трудолюбием и добросовестностью, был глубоко набожным и предельно искренним человеком; он оставил свое королевство потомкам значительно более богатым, чем принял. Как он сам писал в 1750 году:

В этом году я завершил выплату всех долгов, накопленных за последнюю войну^[117], и все еще располагаю 300 000 дукатов в сбережениях своей казны. В ознаменование этого я отменил установленный donativo [налог], одобренный сицилийским парламентом, хотя нынешняя сумма была больше всех, за какие голосовали ранее; сообщил им, что сию пору мне нет истинной нужды в этих средствах, так что пусть они сохраняют деньги, пока те не понадобятся. Итак, я отменил сей налог и посвятил все свое внимание заботам о благосостоянии моих подданных, ибо я желаю спасти свою душу и попасть на небеса.

Неаполь радениями Карла преобразился, сделался одной из великолепнейших столиц Европы. Карл был одержим манией строительства. Еще в начале своего правления он возвел здание оперного театра Сан-Карло, хотя на него самого опера навевала скуку. Далее появились огромные охотничьи замки в Портичи, Каподимонте и Торре-дель-Греко, а также, позднее, громадный дворец в Казерте, способный выдержать сравнение с Шенбрунном или даже с Версалем. К концу своего правления он затеял строительство здания, ставшего известным как Реале Альберго деи Повери, с фасадом длиной 354 метра, предназначенного для размещения, кормления и образования городских неимущих. При этом он неизбежно сталкивался, снова и снова, с непреклонным консерватизмом своих подданных, в особенности церкви. В 1740 году, например, Карл публично заявил, что приглашает евреев селиться в столице; священники и монахи в ответ возбудили в народе недовольство, и когда влиятельный иезуит отец Пеппе заверил короля, что он никогда не обретет сына, покуда в городе останется хоть один еврей, королю пришлось уступить. На протяжении семи лет евреев привлекали в страну; после 1747 года их вновь стали изгонять.

К сожалению, помимо упомянутого выше благородного отказа от donativo и двух полезных и прибыльных торговых соглашений с Тунисом и Османской империей Карл мало что сделал для Сицилии. После коронационного визита он больше не бывал на острове, а Мария-Амалия вовсе не видела сицилийских берегов. Единственное наследие короля Карла III – его статуя, и даже ту отлили из бронзы, которую ранее пустили на изготовление статуи австрийского императора и переплавили, когда исчезла необходимость демонстрировать верноподданность австрийцам.

Но правильно ли обвинять Карла в пренебрежении Сицилией? Удостоились бы сицилийцы большего внимания от своего государя, выкажи они хоть малейшее стремление к разрешению собственных проблем? Вполне вероятно – однако они ничего такого не показали. Всякая попытка реформ немедленно блокировалась парламентом. Когда король Карл учредил структуру под названием Верховный магистрат торговли, призванную контролировать, среди прочего, таможенные пошлины, доходы с копей, рыболовных промыслов, поставок продовольствия и добычи соли, выяснилось, что предполагается невиданное: что бароны могут получить меньшинство голосов, если государственные чиновники и торговцы объединятся. Этого было более чем достаточно, чтобы новшество отвергли – его деятельности препятствовали на каждом шагу, и спустя несколько лет Карл признал свое поражение.

Провал этой затеи был тем более трагическим, что ее реализация почти наверняка привела бы к улучшению состояния дорог на острове, изрядно запущенных со времен Римской

империи. Рядом с Палермо тянулась на несколько миль мощеная дорога, однако на протяжении большей части восемнадцатого столетия единственными направлениями передвижения в других районах острова служили тропы, протоптанные мулами и их погонщиками, что подразумевало переход вброд рек, невозможный в сезон дождей. Колесные средства передвижения отсутствовали; поездка по суше из Трапани в Мессину (225 миль) обычно занимала около трех недель. Неудивительно, что большинство предпочитало путешествовать морем. Последствия такого состояния дорог для сельского хозяйства и промышленности вообразить нетрудно: каким образом крестьянину или мастерскому из глубинки было выбраться с товаром на ближайший рынок, не говоря уже о появлении на побережье? Не забудем и о проблемах управления: как следовало управлять островом вице-королю, если до большей части территории было попросту не добраться?

Это лишь некоторые из тех хлопот, какие Сицилия доставляла всем, кто пытался ей помочь. Рано или поздно все эти люди приходили к логичному умозаключению: остров ни на что не годен, лучше всего оставить его в покое.

Если мы хотим следовать за судьбой Сицилии, то должны, очевидно, опираться на судьбы ее королей; а поскольку новоизбранный король Сицилии проживал в Неаполе, то теперь нам предстоит отправиться в Неаполь. Первой из проблем этого короля был сам его титул. Он звался Фердинандом III Сицилийским – и Фердинандом IV Неаполитанским, а позже стал Фердинандом I, королем Обеих Сицилий. Вторая проблема заключалась в его характере. Он прожил долгую жизнь, семьдесят четыре года, но на протяжении всех этих лет оставался таким школьником-переростком, причем изумительно глупым. В юности его каждое утро навещал богемский иезуит, дабы научить Фердинанда латыни, французскому и немецкому языкам, но, как вспоминал сардинский министр, «Его Величество мало преуспел в этом и говорил только по-неаполитански». Подобно своему отцу, он испытывал неподдельный интерес исключительно к охоте; в отличие от Карла, он не обладал даже зачатками ответственности и не страдал угрызениями совести. Он хвастался, что в жизни не прочел ни единой книги. Если не сидел в седле, он проводил время за грубоватой и неистовой возней, из которой обычно мальчишки вырастают в возрасте девяти-десяти; но Фердинанд наслаждался этим занятием до конца своих дней. К счастью для него, он пользовался популярностью в народе (увы, это единственный позитивный факт его правления) и даже был народом любим, а потому старался уделять общению с простолюдинами максимум времени. Государством же по-прежнему управлял главный министр, мрачный видом маркиз Бернардо Тануччи, который диктовал королю каждый шаг и держал при себе королевскую печать, дабы не беспокоиться, что его величество сможет учинить что-либо без его одобрения.

В 1764 году, когда Фердинанду исполнилось тринадцать лет, в королевство Обеих Сицилий прибыл новый чрезвычайный посланник, сэр Уильям Гамильтон, четвертый сын лорда Арчибальда Гамильтона, бывшего губернатора Ямайки. Поговаривали, что его мать была любовницей сына Георга II Фредерика, принца Уэльского, который умер раньше своего отца; слух вполне мог соответствовать истине, поскольку молодой Уильям рос вместе с сыном Фредерика, будущим королем Георгом III, который всегда называл его «приемным братом». Родившийся в январе 1731 года, Уильям некоторое время служил в армии, а затем, в 1761 году, стал членом парламента; но в начале 1764 года, узнав, что нынешнего посланника в Неаполе намереваются перевести в Мадрид, он подал заявление на вакантную должность. Его просьбу удовлетворили, и он занимал свой пост следующие тридцать шесть лет. В великолепном неаполитанском климате его болезненная и хрупкая жена Кэтрин, с которой их объединяла страсть к музыке, вскоре во многом восстановила здоровье, а служебные обязанности оставляли достаточно свободного времени для того, чтобы предаваться интересу к искусству и собирать коллекцию древностей, впоследствии прославившуюся своим богатством. Кроме того, он тщательно изучал Везувий, и ничто не

доставляло ему большего удовольствия, нежели прогулка с заинтересованными гостями к вершине вулкана.

Между тем король Фердинанд женился. Уже давно было решено, что его невестой окажется одна из одиннадцати дочерей императрицы Марии Терезии Австрийской^[118]. Выбранная первой одиннадцатилетняя эрцгерцогиня Иоанна умерла от оспы, и тогда выбор пал на эрцгерцогиню Марию-Жозефу, отличавшуюся отменным здоровьем и, как писали, недюжинным умом. Последнее качество было скорее помехой в данных обстоятельствах, о чем вполне догадывалась венценосная мать девочки: «Бедную Жозефу я приношу в жертву политике», – писала она. Однако жертве суждено было превратиться в блестящую победу. Принцессу, которой исполнилось шестнадцать, снабдили сотней платьев из Парижа; к октябрю 1767 года тридцать четыре королевские кареты, девять одноконных экипажей, четыре багажных повозки и четырнадцать портшезов были готовы к отъезду. За несколько дней до этого Мария Терезия настояла, чтобы дочь спустилась в семейный склеп и отдала положенную дань уважения своему отцу, императору Францу I, скончавшемуся в 1765 году. Бедная девочка ненавидела эти визиты к покойному, но была вынуждена подчиниться. Ходили слухи, что там она заразилась от праха своей невестки, жены ее старшего брата, будущего императора Иосифа II, которая умерла от оспы неделей-другой ранее; так или иначе, вскоре и у Жозефы проявились симптомы заболевания. Она умерла 15 октября, за день до предполагавшегося отъезда.

Когда печальные новости достигли Неаполя, королю указали, что будет неприлично в этот день выезжать на охоту; ему следует оставаться до ночи во дворце Портичи. Невероятно, но факт: чтобы скоротать время, Фердинанд решил устроить мнимые похороны своей умершей невесты. Одного из придворных одели принцессой и уложили на носилки, капли шоколада на лице и на руках имитировали оспенные пустулы. Траурная процессия затем прошла по всему дворцу, и Фердинанд выступал главным плакальщиком^[119].

Королевское письмо с соболезнованиями Марии Терезии – несомненно, составленное Тануччи – умоляло императрицу предложить королю еще кого-то из дочерей. Выбор был невелик: эрцгерцогини Мария-Амалия и Мария-Каролина. Портреты обеих отправили не в Неаполь, а в Мадрид, и там выбрали Марию-Каролину. На девятнадцать месяцев моложе своего жениха, она была десятой дочерью императрицы и воспитывалась вместе с одиннадцатой и последней дочерью Марии Терезии, будущей Марией-Антуанеттой Французской. Вряд ли кто еще мог сильнее отличаться от тихой и послушной Жозефы; сама Мария Терезия говорила, что среди всех своих дочерей именно Мария-Каролина более всего схожа с матерью. Властная, нередко высокомерная, она была истинной королевой во всем – и обладала острым умом. Когда по пути в Неаполь она проехала через Болонью, британский посланник сэр Хорас Манн написал своему другу Хорасу Уолполу:

Имеются опасения, что ее крайняя утонченность и здравый смысл лишь заставят более желать оных в ее венценосном супруге, чье малодостойное поведение в обоих отношениях побуждает многих истолковывать его как врожденный дефект, временами приближающийся к безумию. Однако лорд Стормонт уверяет меня, что сей дефект проистекает исключительно из недостатка образования и что ныне он (король) таков, какими бывают многие школяры в Англии в десять лет. Если так и есть, тогда его скандальное и пренебрежительное поведение может и вправду быть исправлено превосходнейше воспитанной королевой.

Фердинанд встретил свою невесту на неаполитанской границе и оттуда сопровождал ее во дворец в Казерте. Брачная ночь, похоже, оставила его равнодушным. Он встал рано утром, как обычно, и отправился на охоту; разумеется, в тот день окружение не могло не поинтересоваться, как все прошло. Его величество отвечал в своей обычной манере: «Dorme come una' ammazzata, et suda come un rogo», то есть «Она спит крепко, будто убитая, и

потеет как свинья». Впрочем, очень быстро его восприятие коренным образом изменилось. Он восхищался – фактически поражался – кипучей энергией молодой жены, ее предприимчивостью и не в последнюю очередь ее мягкостью и заботливостью по отношению к себе. Единственным поводом для критики в ее адрес стал упрек, что она читает слишком много книг – это занятие Фердинанд решительно не одобрял.

К счастью для Марии-Каролины – не будем забывать, что ей едва-едва исполнилось семнадцать, – у нее было отличное чувство юмора; иначе она вряд ли бы пережила такой брак. Как она признавалась своей старой гувернантке в Вене, она знала, что никогда не полюбит своего мужа и не будет смотреть на него так, как должна взирать на супруга послушная жена. С другой стороны, она со временем сильно привязалась к Фердинанду; несмотря на зачастую до смешного детские выходки, нрав короля оказался не настолько дурным, как она ожидала; Фердинанд, как королева позднее охарактеризовала его своему брату, был «ein recht guter Narr», то есть «правильным хорошим глупцом». Она не обращала внимания на его уродливость (а если и обращала, то скоро привыкла); гораздо сильнее ее раздражало то, что сам Фердинанд, казалось, считал себя привлекательным. Он часто вынуждал ее тосковать до иступления; втайне она скучала по Вене и по родному дому. Тем не менее она была королевой, а потому, разыграв, так сказать, партию правильно, могла сделаться весьма могущественной особой. Уже замужней Марии-Каролине ее мать дала однозначно понять, что, едва родив сына, она должна стать членом Тайного совета; королеве потребовалось на это семь лет, зато сорок следующих она доминировала в совете.

В 1769 году император Иосиф приехал в Неаполь навестить сестру; именно ему принадлежит наилучшее описание неаполитанской придворной жизни и самого короля:

У него мускулистые руки и запястья, грубые смуглые ладони вечно грязные, поскольку никогда не носит перчаток, ни выезжая верхом, ни на охоте. Голова довольно маленькая и увенчана настоящим гнездом волос кофейного оттенка; свои волосы он не пудрит. Нос начинается ото лба и тянется, разбухая, по прямой линии до самых губ, а рот кажется очень большим из-за торчащей нижней губы, за которой видны достаточно крепкие, но редкие зубы...

Совсем не прекрасный принц, он не выглядит все же совершенно отталкивающе. Кожа у него довольно гладкая и здоровая, хотя и желтоватого отлива. Он опрятен, если не считать рук; и от него, по крайней мере, не пахнет...

Я хотел было завести общую беседу, но король предложил устроить салонную игру... Пять или шесть придворных дам, моя сестра, король и я начал играть в прятки и предаваться иным развлечениям... Король отнюдь не церемонился с дамами и щедро раздавал им увесистые шлепки... Он постоянно преследовал дам, очевидно, привычных к подобному обращению, и те регулярно валялись на пол. Это неизменно смешило короля, и он принимался громогласно хохотать. Поскольку он редко говорит, не срываясь на крик, и обладает пронзительным голосом, его легко отличить среди тысяч людей...

Потом был организован бал, на котором

Король приветствовал меня могучим ударом по моему сидищу в тот миг, когда я менее всего ожидал подобного и в присутствии минимум четырех человек. Далее мне выпала честь носить его на своей спине, и более чем два десятка раз он клал руки мне на плечи и как бы обмякал всем телом, чтобы я был вынужден его тащить... Наш отъезд на этот бал оказался поистине внушительным... Все начиналось торжественно и в надлежащем порядке... Но король, по-видимому, быстро заскучал и принялся кричать, уподобляясь постильонам^[120], и щедро раздавать тычки, направо и налево, что, похоже, было сигналом перейти в галоп. Двор целиком, сановники и слуги, министры и почтенные старцы, поскакали вперед, а король гнал их перед собою и не переставал громогласно вопить.

Французский посол Шуазель, к несчастью для себя, оказался на пути его величества и удостоился удара мимоходом. Телом он слаб, а потому не удержался в седле и врезался носом в стену.

В ходе официального визита в монастырь Чертоза Сан-Мартино король

обследовал самые сокровенные уголки монастыря, не переставая резвиться с детской непосредственностью, и все завершилось на кухне, где он принялся собственноручно готовить яичницу... Все мужчины нашего отряда удостоились либо омовения водой в лицо из королевских дланей, либо кусочков льда в карманах, либо мармелада в головных уборах. Пострадал даже посол Кауниц. К сожалению для него, он боялся щекотки, и это забавляло короля, который то и дело заставлял беднягу заходиться криком.

Интересно порассуждать о том, как подобное поведение воспринимал сверхутонченный сэр Уильям Гамильтон. Похоже, он так или иначе постепенно свыкся с такими шуточками, которые, в общем-то, казались невысокой ценой за ту восхитительную жизнь, какую посол вел в Неаполе. Увы, впереди ему было уготовано множество несчастий. В августе 1782 года умерла его возлюбленная жена Кэтрин. «Я обречен вечно оплакивать эту утрату, – писал он своей племяннице Мэри, – эту потерю самой достойной, нежной и благородной спутницы, какой небеса когда-либо оделяли мужчину». На следующий год он ненадолго вернулся в Англию и предпринял короткую поездку в Шотландию со своим племянником Чарльзом Гревиллом, членом парламента от Уорика и младшим сыном его сестры Элизабет. Именно тогда он впервые познакомился с любовницей Гревилла Эммой Харт.

Происхождение этой девушки было, мягко говоря, скромным. Дочь кузнеца, который умер, когда ей исполнилось всего два месяца, она сначала росла под присмотром матери и в двенадцать лет уже служила домработницей. Впрочем, пребывание на службе не затянулось. Спустя год или два она устроилась танцовщицей в «Храм здоровья», заведение, которым управлял шотландский врач-шарлатан по имени Джеймс Грэм. Среди прочих достопримечательностей этого «храма» была электрическая кушетка, которая била тех, кто ложился на нее, слабым разрядом, дабы (цитируя доктора Грэма, сколотившего на этой кровати состояние) обеспечить успешное раннее зачатие. Затем, в возрасте пятнадцати лет, она прибилась к сэру Гарри Фезерстонхофу, который представлял ее в качестве «хозяйки» своим друзьям в поместье Аппарк в Сассексе, и там она зарабатывала на жизнь, как сообщается, танцуя голой на обеденном столе. С самим сэром Гарри ее мало что связывало, хотя она понесла от него и родила дочь^[121]; куда больше Эмму интересовал его друг Гревилл, с которым она жила, пока ей не исполнилось восемнадцать.

Именно тогда, в 1783 году, их отношения завершились. Гревилл к тому времени растратил значительное семейное состояние и потому нуждался в богатой жене, а Эмма являлась серьезным препятствием к реализации этого плана. Он ломал голову, как поступить с любовницей, и тут его посетило озарение: почему бы не передать ее опечаленному и одинокому дядюшке? Сэр Уильям не стал возражать. Ему требовалась женщина, причем не только для постельных утех, но и в качестве хозяйки салона, а Эмма (она славилась красотой, и ее уже неоднократно рисовал Джордж Ромни^[122]) наверняка будет иметь шумный успех в неаполитанском обществе. Словом, он принял предложение своего племянника и даже согласился оплатить переезд Эммы в Италию.

Со своей стороны, Эмма испытывала смешанные чувства. Гревилл не посмел сказать ей правду. Он просто велел Эмме отправиться в Неаполь на продолжительный праздник, пока он улаживает некие дела в Шотландии, и она пришла в ярость, когда сэр Уильям (ему перевалило за пятьдесят, то есть он был старше своей нареченной минимум вдвое) мягко сообщил ей, что новое «назначение» будет постоянным и что ей предстоит сделаться его любовницей. Но – сэр Уильям был человеком вполне обеспеченным и подобающе

воспитанным, жил в красивом доме посреди прекрасного города и поклялся, что она станет вести жизнь даже роскошнее той, к какой уже успела привыкнуть. Вскоре Эмма поняла, что ей выпала невероятная удача.

Поскольку мать Эммы сопровождала дочь – ради соблюдения внешних приличий – в качестве компаньонки, не было никаких оснований спешить с браком, который в итоге заключили только в 1791 году, когда сэру Уильяму исполнилось шестьдесят, а Эмме двадцать шесть лет. Разница в возрасте не имела значения: она наконец стала леди Гамильтон, под этим именем вошла в историю и сохранила его до конца своих дней. К тому времени сэр Уильям обучил ее французскому и итальянскому языкам, пению и танцам; ее красота, неотразимое очарование и необыкновенный театральный дар сделали все остальное.

Она действительно имела успех. Сам Иоганн Вольфганг фон Гете, который провел два года в Италии (1786–1788), восхищался тем представлением, которое она именовала «живыми картинами»:

Гамильтон – человек тонкого всеобъемлющего вкуса; познав все царствия подлунного мира, он, наконец, удовлетворился прекрасной женщиной – лучшим творением величайшего из художников... Она англичанка около двадцати лет... Старый рыцарь заказал для нее греческий костюм, который ей поразительно идет. В тунике, с распущенными волосами, манипулируя парой шалей, она принимает самые разнообразные позы, меняет выражение глаз и лица, причем столь искусно, что зрителю кажется, будто он грезит наяву. Творения художников, которые считали их своей удачей, зритель видит в движении, в восхитительном разнообразии и совершенстве. Вот она стоит, вот опускается на колени, сидит, потом ложится. Мы видим ее серьезной или печальной, игривой или ликующей, кающейся или бездумной; она то угрожает, то страждет – все эти состояния души быстро сменяют друг друга. С удивительным вкусом она драпирует шали по-разному в зависимости от выражения лица; из одной и той же косынки она способна сделать различные головные уборы. Старый рыцарь держит в руках лампу и всей душой сопереживает этому зрелищу. Он уверен, что может разглядеть в ней сходство со всеми известнейшими древностями, со всеми чеканными профилями сицилийских монет – даже с самим Аполлоном Бельведерским. Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что представление уникально. Мы любовались им два вечера подряд с несказанным наслаждением.

Что же касается ее пения, она пела достаточно хорошо для того, чтобы несколько лет спустя исполнить одну из сольных партий в гайдновской «Мессе по Нельсону». Более того, она даже получила предложение (которое решила не принимать) петь ведущие партии в Мадридской опере. Словом, Эмма была феноменом своего времени, и не будет преувеличением сказать, что она взяла благопристойное, лишенное творческого воображения общество Неаполя буквально штурмом.

Среди ее «жертв» оказались и король с королевой. Она и ее муж часто обедали с монаршей парой в семейной обстановке, а после обеда Эмма и Фердинанд пели дуэтом. Луиза Виже Лебрэн, написавшая ее портрет (и бежавшая в Италию с дочерью от ужасов французской революции), утверждала, что леди Гамильтон делилась с королевой лакомыми кусочками политических сплетен; сама же Эмма писала своему бывшему любовнику Гревиллу:

Пришлите мне новостей, политических и частных; ибо, против моей воли и в силу моего положения здесь, я угодила в политику, и мне нужны новости для нашей дорогой и любимой королевы, которую я обожаю всем сердцем. Я просто не могу жить без нее, потому что она мне как подруга и даже больше... У нее чистейшая душа, такая строгая и праведная...

Бедной Марии-Каролине и вправду требовалось утешение. Французская революция приобретала все больший размах, и королева изрядно тревожилась за свою сестру

Марию-Антуанетту; в марте 1792 года пришло известие о внезапной смерти ее брата, императора Леопольда^[123]. Проживи тот достаточно долго, он мог бы, пожалуй, спасти французскую монархию. Единственным среди прочих правителей Европы о том же помышлял король Швеции Густав III, но он погиб еще до завершения того же месяца. Правда, старшая дочь королевы стала императрицей – она вышла замуж за сына Леопольда, Франца, в 1790 году, – однако никто из них не имел возможности помочь одинокой, заключенной в тюрьму Марии-Антуанетте.

Ситуация стабильно ухудшалась на протяжении лета, а 20 ноября сардинский посол доносил своему правительству:

Решено, что французская эскадра отплывет в Неаполь и Чивитавеккью, чтобы атаковать и разграбить эти поселения... Указанная эскадра, которая ныне должна находиться в Ливорно, способна достичь Неаполя в течение двух дней... Этого вполне достаточно, чтобы породить неописуемую тревогу. Шевалье Актон^[124], безусловно, наделен великими качествами... но он почти не получает поддержки... Его Величество ежедневно убывает на охоту, как будто ничего не происходит; большинство подчиненных главного министра – омерзительные посредственности. Ему приходится заниматься всем сразу и непрерывно отбиваться от интриг, проявлений невежества и недоброжелательности. Между тем все настолько перепуганы, что каждый думает о спасении имущества и бегстве.

Эскадра прибыла 12 декабря в составе тринадцати вымпелов. Адмирал, ею командовавший, хотел вручить королю ультиматум – отправить Актона во Францию в качестве заложника («в течение часа генерал Актон должен быть передан в мои руки или Неаполь будет уничтожен»); однако его сумели успокоить, и он в конечном счете согласился удовольствоваться тем фактом, что король признает французскую республику и подберет кандидатуру на роль посла в Париже. Всего двадцать восемь часов спустя корабли двинулись к Сардинии; к несчастью для них, на следующий день они попали в шторм у Чивитавеккьи, флагман лишился грот-мачты, и эскадра была вынуждена вернуться в Неаполь для ремонта.

Чуть больше двух месяцев спустя пришла весть, что 21 января 1793 года королю Людовику XVI отрубили голову на гильотине. Весь Неаполь погрузился в траур, на заупокойной мессе в соборе присутствовали король, королева и весь двор. Мария-Каролина, успевшая стать бабушкой, была беременна в восемнадцатый раз. Ее страдания были велики, как никогда. Она записала 5 марта:

Мне сообщают жуткие подробности из того ада, которым стал Париж. Передают все – каждое мгновение, каждый звук и стон, каждое появление палачей в камере; я словно вижу воочию, как моя несчастная сестра преклоняет колени, молится и готовится к смерти. Бесчеловечные злодеи вокруг насмеваются над нею; днем и ночью они вопят, чтобы запугать ее, чтобы она стала бояться смерти в тысячу раз сильнее. Смерть, мне кажется, будет для бедняжки истинным спасением, и я молю Господа ниспослать ей скорейшее избавление от мучений.

Муки Марии-Антуанетты длились до 16 октября, когда ее жизнь оборвалась на гильотине на площади Согласия. Ровно пятью неделями ранее, 11 сентября, британский военный корабль «Агамемнон» бросил якорь в гавани Неаполя. Он доставил депеши для сэра Уильяма Гамильтона, и командир корабля привез эти документы лично. Мужчины коротко обсудили дела, после чего сэр Уильям пригласил жену. По его собственным словам, он хотел представить ей невысокого офицера, не слишком привлекательного внешне, зато способного «однажды удивить мир».

Вот так в нашей истории появляется капитан Королевского флота Горацио Нельсон.

Глава 11

Наполеон, Нельсон и Гамильтоны

Капитану Нельсону исполнилось тридцать три года. Его влияние на сэра Уильяма тем более примечательно, что в ту пору капитан находился на последней стадии истощения. За минувшие четыре месяца он сходил на берег всего дважды и, заодно с экипажем, был вынужден обходиться без свежего мяса, фруктов и овощей. Однако он заметно приободрился после радушного приема, оказанного Неаполем, где его пригласили на обед во дворце и усадили по правую руку от короля. Поскольку он не знал ни словечка на иностранных языках, Эмма переводила ему застольные речи. Вполне возможно, что он влюбился в нее прямо там; она была ослепительно красива и лучилась обаянием – а вдобавок бравый капитан уже давно не видел женщин воочию.

Депеши, которые он доставил сэру Уильяму, касались порта Тулон, занятого неделей или двумя ранее французскими роялистами при поддержке британцев и испанцев. Теперь этот порт очутился в плотной осаде республиканцев и отчаянно нуждался в подкреплениях, о которых и просили депеши в Неаполь. Шевалье Актон сразу пообещал отправить 6000 человек, и этот корпус поспешно отбыл на север. Но было уже слишком поздно: спасти Тулон не представлялось возможным, и 18 декабря английские корабли снялись с якоря и направились в открытое море. Никто не сомневался в том, кому республиканцы обязаны этой победой. Осада стала успешной благодаря гению еще одного молодого капитана (двадцати четырех лет от роду), Наполеона Бонапарта, который фактически возглавлял всю операцию. Номинальный командир и старший офицер Жак-Франсуа Дюгомье не мешкая отослал срочное донесение военному министру в Париже: «*Récompensez, avancez ce jeune homme; car si l'on était ingrat vers lui, il s'avancerait de lui-même*»^[125].

Дюгомье вряд ли подозревал, что окажется невольным пророком. В марте 1795 года Наполеон начал свою первую продолжительную кампанию, которая одновременно стала одной из величайших им проведенных. Эта кампания напрямую не угрожала Неаполю; ее цель состояла в том, чтобы сначала «очистить» Северную Италию, затем двинуться через Тироль в Австрию и в итоге соединиться с Рейнской армией и перенести войну на территорию Баварии. Началось все с вторжения в Пьемонт. Никто (кроме, быть может, самого Бонапарта) не предвидел масштаб и темпы успеха; почти каждый день приходили вести об очередной победе. Ближе к концу апреля Пьемонт присоединился к Франции, король Карл Эммануил IV отрекся и удалился на Сардинию, которая продолжала ему подчиняться. 8 мая французы перешли реку По; 15 мая Бонапарт официально вступил в Милан.

Его армия, разумеется, добывала все необходимое на завоеванных землях, реквизируя продовольствие и кров, когда требовалось, но для членов Директории в Париже этого было недостаточно. Их инструкции настаивали на обложении чудовищной контрибуцией как итальянских государств, так и католической церкви, причем следовало не просто находить таким образом средства на поддержание боеспособности войск, но и отсылать в Париж захваченные произведения искусства. Наполеон соблюдал эти инструкции. Нейтральному герцогству Пармы, чтобы обойтись одним примером, пришлось выплатить два миллиона французских ливров и отдать двадцать лучших картин из коллекции правителя, отобранных лично Бонапартом; лишь немногие крупные города избежали расставания со своими Рафаэлями, Тицианами и Леонардо. Большинство шедевров очутилось в Лувре и в других французских музеях; некоторые из них хранятся там до сих пор.

После захвата Милана в руках французов оказалась вся Ломбардия, за исключением Мантуи, – которая, благодаря упорному сопротивлению австрийского гарнизона,

продержалась до февраля 1797 года. Наконец и эта последняя преграда к вторжению в Австрию исчезла. Правда, требовалось по пути миновать нейтральную территорию Венеции, но этого нельзя было избежать. Венецианцы отправили к Наполеону двух посланников с просьбой не воевать, но Бонапарт ответил яростной диатрибой, которая убедила венецианцев, что уговоры бесполезны, и которая завершалась жуткими словами, вскоре вселившими ужас в сердце каждого венецианца: «Io saro un Attila per lo stato Veneto» – «Я буду Атиллой венецианского государства». В пятницу, 12 мая 1797 года, Большой совет республики собрался в последний раз. Дож как раз заканчивал свою вступительную речь, когда снаружи донеслись звуки стрельбы. Немедленно началась суматоха. Члены совета восприняли эти звуки как свидетельство народного восстания, которого власти Венеции так долго опасались. Спустя несколько минут, впрочем, удалось установить, кто стрелял: далматинские части, выведенные из города по приказу Бонапарта, символически выстрелили в воздух в качестве прощального салюта. Увы, паника уже началась и стремительно распространялась. Побросав на пол дворца свои торжественные одеяния, члены совета Венецианской республики выскользнули наружу через боковые двери. Серениссима^[126] существовала более тысячи лет; значительную часть этого срока она являлась подлинной хозяйкой Средиземноморья. Финал вряд ли мог быть еще позорнее. Заключительной трагедией Венеции стала не смерть, а та манера, в какой она приняла свою кончину.

Когда Наполеон Бонапарт подписал договор в Кампо-Формио 17 октября, он передал саму Венецию и область Венето Австрии – и нисколько о том не пожалел. Пусть его нога никогда не ступала на набережные города, он всегда ненавидел Венецию и все, что та собой олицетворяла, и считал – вероятно, справедливо, – что сможет властвовать в Италии, пока Апеннинский полуостров остается разделенным. В остальной же континентальной Европе царил мир. Врагом виделась лишь Англия. Следует ли ее уничтожить? Директория высказывалась одобрительно, однако сам Бонапарт, проведя в размышлениях большую часть года, отверг этот план по стратегическим соображениям. Французский флот, как ему было известно, находился в плачевном состоянии и не имел командующего, способного соперничать на равных с Гудом, Родни или Сент-Винсентом, не говоря уже о Нельсоне.

Альтернативой виделся Египет. Французы высадили в Александрии войско численностью 20 или 25 тысяч человек и заняли Каир. Оттуда можно было предпринимать поход против Британской Индии – например, через наспех прорытый канал у Суэца. Директория вновь выразила полное одобрение такой экспедиции. Этот план позволял занять армию делом и удержать чрезмерно бойкого молодого генерала на безопасном расстоянии от Парижа, а также сулил возможность покончить с британским владычеством в Индии и предоставить Франции важную новую колонию в восточной части Средиземного моря. Кроме того, этот план отвлекал существенную часть английских морских сил на восток, вследствие чего могло все-таки реализоваться отложенное вторжение на Британские острова.

Наполеон, что едва ли нужно уточнять, принял командование с восторгом. Убежденный в том, что экспедиция должна добиться не только чисто политических и военных целей, он пригласил не менее 167 savants, ученых, в том числе математиков, астрономов и инженеров, а еще архитекторов и художников. Египет хранил свои древние тайны слишком долго; этот плод давно созрел и был готов упасть прямо в руки. Страной с 1250 года правили мамелюки^[127]. В 1517 году тех победили турки, включившие Египет в состав Османской империи, в каковом статусе он формально пребывал до сих пор; но столетие спустя мамелюки сумели вернуться к власти. Французское вторжение неминуемо грозило обернуться громкими протестами султана из Константинополя; но его империя, еще не получившая известности в качестве «больного человека Европы», клонилась к упадку и представляла собой деморализованную тень былого, а потому не могла считаться серьезной угрозой. Правда, имелись и другие риски, куда более существенные. Три сотни французских транспортов были плохо вооружены, их экипажи собирали наскоро. Да, транспорты

сопровождали двадцать семь линейных кораблей^[128] и фрегатов, но Нельсон уже крейсерствовал в Средиземноморье. Перехвати он этот флот, шансы на спасение для 31 000 мужчин на борту будут невелики.

Наполеон покинул Тулон на флагмане «Ориент» 19 мая 1798 года. Прежде всего он направился к Мальте. С 1530 года остров находился во владении рыцарей ордена Святого Иоанна. Они добросовестно оказывали приют страждущим и героически противостояли страшной турецкой осаде в 1565 году, но с тех пор минуло много времени. Их насчитывалось 550 человек, причем более половины были французами, а прочие оказались слишком старыми, чтобы сражаться; после двухдневного символического сопротивления они сдались. Наполеон продолжил свой путь и в ночь на 1 июля прибыл в Александрию, где полуразрушенные стены и крошечный гарнизон не стали для него помехой и не отсрочили неизбежного. То же самое произошло в Каире. Мечи мамелюков, сколь бы искусно те ими ни владели, негодились против французских ружей; так называемая битва у пирамид стала легкой прогулкой.

Нельсон между тем преследовал французские корабли через Средиземное море. Наполеон фактически покинул Мальту 19 июня; введенный в заблуждение сведениями с генуэзского судна, будто французы отплыли тремя днями раньше, Нельсон поспешил в Александрию; затем, не найдя никаких следов французского флота, он вновь вышел в море 29 июня и долго искал врага у побережья Сирии. В результате этой путаницы он вернулся в Египет только 1 августа, чтобы обнаружить тринадцать французских линкоров – у него самого было четырнадцать – и четыре фрегата на якоре, выстроенных в линию две мили длиной в Абукирской бухте, в одном из устьев Нила. Противников разделяло около девяти миль, а уже перевалило за полдень, и потребуется как минимум два часа, чтобы подойти к врагу, и куда больше времени, чтобы поставить собственные корабли в регулярную боевую линию. Ночные сражения в ту пору таили немало опасностей: существовал риск сесть на мель в незнакомых водах, а в сумятице боя было очень просто обстрелять своих вместо чужих. Большинство адмиралов в подобных обстоятельствах предпочли бы дожидаться утра; однако Нельсон, заметив, что французы не готовы к битве, а ветер с северо-запада ему благоприятствует, решил атаковать немедленно. Он выслал четыре корабля вдоль берега, с фланга французской линии, а сам на своем флагмане «Вэнгард» повел второй отряд, мористее. Каждый корабль противника таким образом оказывался под прицелом с обеих сторон. Сражение началось примерно в шесть часов и длилось всю ночь. На рассвете все французские корабли, кроме четырех, были уничтожены или захвачены, в том числе флагман «Ориент». Этот корабль по-прежнему лежит на дне бухты, и его трюмы полны сокровищ, награбленных во дворцах и храмах Мальты.

Битва при Абукире – или, как ее иногда называют, Нильская битва – состоялась 1–2 августа 1798 года и стала одной из величайших побед в карьере Нельсона. Своими действиями он не только уничтожил французский флот, но и разорвал коммуникационную линию с Францией, оставив Наполеона без подкреплений, и расстроил все французские планы по завоеванию Ближнего Востока. Благодаря Нельсону великая египетская экспедиция – которая предусматривала краткий (и неудачный) набег на Палестину – сорвалась. Как всегда, Наполеон сделал все возможное, чтобы превратить поражение в победу. Турецких пленников провели парадом, захваченные турецкие стяги с гордостью демонстрировали публике. Но никто, меньше всего египтяне, не был введен в заблуждение. Впервые в своей карьере – но не в последний раз – Наполеон покинул армию и самостоятельно отправился домой; в пять часов утра 22 августа 1799 года он украдкой выбрался из лагеря и отплыл во Францию. Даже его преемник на посту командира, генерал Жан-Батист Клебер, не знал о бегстве Бонапарта.

Весть о победе Нельсона на Ниле была радостно встречена неаполитанским двором. В самом Неаполе ситуация быстро ухудшалась. Французы завладели Римом, где до того был послом брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Генерал Луи Бертье привел армию в феврале 1798 года и,

не встречая сопротивления, занял город. Храмы, дворцы и виллы подверглись разграблению. На форуме провозгласили республику. Престарелый папа Пий VI удостоился чудовищного обращения – с его пальцев насильно сорвали все кольца – и был отправлен во Францию, где вскоре и умер.

Что было делать Неаполю? Французы стояли буквально на пороге королевства; что может помешать им пересечь границу и кто способен их остановить? С захватом Наполеоном Мальты угроза сделалась еще ощутимее; как однажды обронил сам Нельсон, «Мальта – это прямая дорога к Сицилии». Неудивительно, что неаполитанцы возликовали, услышав о победе в устье Нила. Сэр Уильям Гамильтон писал Нельсону:

Поспешите сюда, ради всего святого, мой дорогой друг, как только служба Вам позволит. В моем доме Вас ожидает радушиная встреча, и Эмма уже приготовила мягчайшие подушки, чтобы Вы могли дать отдых своим усталым конечностям...

Нельсон прибыл в Неаполь в конце сентября и был встречен как герой. Его чествовали не просто как человека, одержавшего блестящую победу над французским флотом, но и как спасителя города от неминуемого вторжения. Более пятисот лодок и барж окружили «Вэнгард», стоило кораблю войти в залив. Гамильтоны поднялись на борт, и Эмма устроила целое представление, которое репетировала на протяжении последних трех недель. Нельсон писал своей жене:

Ее светлость бросилась ко мне и с возгласом «Боже, разве это возможно?» она упала мне на руку [так в оригинале. – Авт.], будто лишившись чувств. Впрочем, слезы быстро сменились смехом.

Король тоже взошел на борт, но без Марии-Каролины, которая оплакивала смерть своей младшей дочери. Правда, королева, как и все придворные дамы, надела особый пояс с надписью «Viva Nelson». Через несколько дней, 29 сентября, Гамильтоны закатили роскошное пиршество на 1800 человек в честь сорокалетия героя; но для Нельсона посещение этого мероприятия стало досадной обузой. На следующее утро он написал лорду Сент-Винсенту:

Я верю, Ваша светлость, что спустя неделю мы все окажемся в море... Здоровье мое оставляет желать лучшего, а ликование этого несчастного двора нисколько не унимает мое раздражение. Это страна скрипачей и поэтов, шлюх и негодяев.

Следующие три месяца и вправду оказались кошмаром. Было решено перейти от обороны к наступлению. Австрийский фельдмаршал барон Карл Мак фон Лейберих^[129] в начале октября 1798 года прибыл принять командование неаполитанскими войсками, которые выступили на север, имея в своих рядах дрожащего от возбуждения короля. (Тот факт, что он забыл объявить войну Франции, кажется, ускользнул от его внимания.) Публично объявили, что целью похода является восстановление Святого престола и освобождение Рима от французов. Разумеется, эта цель оказалась совершенно недостижимой: к началу декабря все больше и больше неаполитанцев, офицеров и простых солдат избавлялось от униформы и возвращалось домой. Королева – ни на миг не забывавшая о страшной судьбе своей сестры – несколько раз писала Эмме Гамильтон, упрекая народ в трусости, но когда и ее собственный супруг дезертировал, данная тема из ее писем исчезла. 18 декабря поступила депеша от совершенно деморализованного Мака, который признавался, что его армия, еще не участвовавшая ни в одном сражении, бежит без оглядки; фельдмаршал умолял их величеств отбыть на Сицилию, пока еще возможно. «Мне в голову не приходило, – писал Нельсон посланнику в Константинополе, – что вся королевская семья, заодно с 3000 неаполитанских эмигрантов, вдруг окажется под защитой флага Его Величества этой ночью».

Именно так все и было. Мария-Каролина паковала вещи три дня подряд, переправляя свою одежду, драгоценности и прочие ценные вещи по ночам в британское посольство, откуда под присмотром Эммы забирал королевское имущество на борт экипаж «Вэнгарда». Затем венценосное семейство, с Актоном и другими приближенными, покинуло дворец – в девять часов вечера в пятницу, 21 декабря 1798 года. Они бежали не в одиночку; большая часть английских и французских семей, проживавших в Неаполе, пожелала присоединиться к ним. Общее число беженцев приближалось, похоже, к двум тысячам человек (Нельсон говорил о трех тысячах), и подобное количество, безусловно, порождало серьезные проблемы с эвакуацией. К счастью, было известно, что в Неаполь идут другие корабли, в том числе один португальский и два неаполитанских линкора, около двадцати местных торговых судов и два малых греческих судна, предусмотрительно зафрахтованных сэром Уильямом.

Между тем погода отнюдь не благоприятствовала отплытию. Ветер усилился до штормового, переправа на шлюпках с берега, казалось, длилась вечно, многие из замерзших и промокших пассажиров пребывали в состоянии ступора, из которого их не могло вывести даже восхождение на борт корабля в ранние утренние часы. Нельсон разместил королевскую семью с теми удобствами, какие только мог обеспечить: собственную каюту он предоставил в распоряжение женщин и детей, а мужчин поместили в кают-компанию; корабль продолжал стоять на якоре, но его качало и швыряло из стороны в сторону, будто в открытом море. Мучения затянулись на добрые сорок восемь часов, и конвой оставался в заливе из-за ураганного ветра – и обычной неаполитанской сумятицы.

Тем временем жители Неаполя прознали о том, что монарх собирается их покинуть. Было объявлено, что король отправляется на Сицилию за подкреплением, – но какие подкрепления можно найти на Сицилии? Целые делегации устремились к «Вэнгарду», умоляя его величество остаться, но Фердинанд был непреклонен. Подданные, сказал он, его предали; он вернется только после того, как они предъявят убедительные доказательства своей верности. А пока оставаться в столице означает подвергать жизнь угрозе.

Лишь вечером в воскресенье, 23 декабря, конвой наконец снялся с якоря. Погода не стала лучше; на самом деле на следующий день – в канун Рождества – Нельсон записал, что «ветер дует сильнее, чем мне когда-либо приходилось видеть с тех пор, как я вышел в море». Паруса разрывало в клочья; поступила даже команда приготовиться срубить грот-мачту. Среди благородных пассажиров «Вэнгарда» царила настоящая паника; лишь Эмма Гамильтон и один из советников короля не утратили присутствия духа. Эмма вела себя превосходно: она ухаживала за стонущей королевой, утешала королевских отпрысков, словно это были ее собственные дети, и отдала им свое постельное белье, когда выяснилось, что на всех белья не хватает. Нельсон не скрывал своего восхищения и подчеркивал в письме, что она ни на миг не прилегла за все время пребывания на борту. Что касается сэра Уильяма, тот сидел в каюте с заряженным пистолетом в каждой руке – он объяснил жене, что не намерен погибать, «нахлебавшись соленой воды». Австрийский посол граф Эстергази выкинул за борт инкрустированную самоцветами табакерку, на внутренней крышке которой была миниатюра его обнаженной любовницы, ибо «поистине нечестиво хранить при себе столь неподобающий предмет на пороге (как он думал) вечности».

Рождество 1798 года ознаменовалось трагедией, никак не связанной с погодой. В тот вечер маленький шестилетний принц Карло Альберто умер от истощения на руках Эммы. Лишь в два часа ночи 26 декабря «Вэнгард» и сопровождавшие его суда наконец бросили якорь в гавани Палермо. Мария-Каролина, не в силах оставаться лишней минуты на борту, высадилась первой и отправилась в королевскую резиденцию Палаццо Колли. Король, с другой стороны, крепко спал и съел плотный завтрак, прежде чем официально высадиться (впервые за время правления) во второй столице своего королевства. Радужный прием его порадовал, а вот королева записала, что монаршую чету встретили «без чрезмерного восторга». Фердинанда, похоже, несколько не тяготили ни утрата Неаполя, ни смерть сына.

Он продолжал твердить, что все наладится само собой достаточно скоро; а пока нужно пользоваться случаем, ведь на Сицилии отличная охота.

С учетом того, что жители Палермо никогда прежде не видели воочию своих короля и королеву, их радушие, каким бы оно ни казалось со стороны, выглядело примечательным. Безусловно, оно подпитывалось материальными надеждами, но во многом проистекало из того факта, что они наконец-то перестали ощущать себя безнадежными провинциалами, – во всяком случае, пока королевская семья оставалась на Сицилии, Палермо – а не Неаполь – был истинной столицей королевства. Для самой же монаршей четы Палаццо Колли, их официальная резиденция, стал настоящим шоком. Темный и сырой, этот дворец производил впечатление места, где никто не жил много лет (впрочем, здесь король и королева могли винить только самих себя). Кроме того, во дворце не было ни прислуги, ни даже каминов, поскольку в мягкие местные зимы таковых обычно не требовались, – однако зима 1798/99 года выдалась удивительно студеной, самой холодной в истории острова. Не нашлось и ни одного ковра. Власти Палермо не получали заблаговременного предупреждения о прибытии монархов, поэтому первые несколько дней должны были показаться тем поистине адскими, особенно после кошмарного путешествия. Мария-Каролина не делала секрета из своих чувств. Она писала герцогу ди Галло, неаполитанскому послу в Вене:

Я живу слишком долго, горе убивает меня... Я уверена, что не смогу жить дальше таким образом, и вряд ли выживу... Моя невестка страдает от чахотки и не заживет на этом свете. Что касается отца моих детей, мне лучше промолчать. Он не испытывает никаких чувств, кроме самолюбования, да и о том не слишком задумывается. Ему следовало бы осознать, что он утратил лучшую часть своих владений и доходов; но он озабочен лишь новшествами, которые его развлекают, и не беспокоится о том, что наш доход составляет всего четверть прежнего, что мы обесщечены, несчастны и втягиваем других в наши злоключения... Все здесь отталкивает меня. Наши провинции или Сорренто – я бы предпочла любое другое место.

Оправданно ли бегство Фердинанда и Марии-Каролины из Неаполя, да еще столь поспешное? Вероятно, да; они, конечно, не заслуживают обвинений в трусости, которым их так часто осыпали. Останься они в городе, их ожидало бы изгнание или даже насильственная смерть, и тем самым династия бы прервалась. Отбытием в Палермо, где они до сих пор считались правителями, монархи сохранили свой королевский статус в неприкосновенности и рассчитывали – если и когда ситуация на материке нормализуется – вернуть себе неаполитанскую корону. Не следует также забывать, что, принимая решение о бегстве, они следовали совету самого Нельсона. Тот между тем поселился у Гамильтонов. Он был полностью истощен и еще не до конца оправился от ранения в голову, полученного при Абукире. Он продолжал ссориться с адмиралтейством, и отношения с женой тоже доставляли ему немало проблем. Словом, он отчаянно нуждался в эмоциональной поддержке – и получил ее от Эммы Гамильтон. Многолетний опыт на поприще куртизанки сделал все остальное. Почти наверняка именно здесь, на Сицилии, началась их знаменитая любовная история.

Когда французские войска под командованием генерала Жана-Этьена Шампионне вошли в Неаполь в середине января 1799 года, выяснилось, что народные массы ведут себя куда воодушевленнее армии. Простолюдины – лаццарони – были готовы рвать захватчиков зубами и голыми руками; на протяжении трех дней в городе шли бои буквально за каждый дом. В конце концов лаццарони, конечно, сдались, но не раньше чем взяли штурмом и разграбили королевский дворец. Они сделали это с чистой – ну, или почти с чистой – совестью. Разве их король не носил прозвище *il re lazzarone*, то есть разве он не был одним из них? Пускай он их бросил, разве он не предпочел бы, чтобы его сокровища достались подданным короны, а не врагам-французам? Когда порядок удалось восстановить, некий

французский офицер заметил: будь Бонапарт здесь лично, он бы, скорее всего, не оставил от города камня на камне; Неаполю действительно повезло, что Шампионне оказался умеренным и гуманным человеком. Он без лишнего шума и действуя дипломатично установил в городе Партенопейскую республику, по образцу французской революционной модели. Республику провозгласили 23 января, и она приобрела ряд сторонников среди итальянцев – хотя для всех было совершенно очевидно, что она возникла в результате завоевания и что единственной опорой новой власти является французская оккупационная армия.

Весть о разграблении королевского дворца стала для бедной Марии-Каролины очередным ударом судьбы. Хуже того, собственный муж обратился против королевы, стал обвинять ее в том, что это она заставила его ввязаться в «позорную» кампанию и уговорила призвать бесполезного фельдмаршала Мака. В начале февраля в Палермо случились беспорядки из-за роста цен на продовольствие. Королева писала тому же ди Галло:

Палермо охвачен бунтом, и я ожидаю серьезных волнений. Не имея ни войск, ни оружия, не располагая, в сущности, ничем, я готова ко всему, но совсем отчаялась. Здеишие священники полностью развращены золотом, люди ведут себя, как дикари, знать колеблется в своих пристрастиях и отличается сомнительной верностью. Народ и духовенство, наверное, позволят нам уехать, если мы пообещаем согласиться на установление республики. Но знать против нашего отъезда, поскольку это сулит ей гибель, и она опасается демократии в стране. Она предпочла бы встать во главе народного движения и уничтожить нас, то есть королей и всех неаполитанцев...

Но спасение было близко – ближе, чем догадывалась королева. Кардиналу Фабрицио Руффо было в ту пору уже за шестьдесят. Он служил казначеем при папе Пие VI, но, когда его реформаторские предложения отвергли как чрезмерно радикальные, удалился в Неаполь, откуда вместе со двором перебрался в Палермо. Теперь он предложил высадить отряд в своей родной Калабрии – во-первых, чтобы защитить область от дальнейших французских аннексий и от итальянских республиканцев, а во-вторых, чтобы в конечном счете вернуть Неаполь короне. Он подчеркивал, что это будет поистине новый крестовый поход, и у него не было ни малейших сомнений в том, что все калабрийцы сплотятся вокруг креста.

При полной поддержке короля, королевы и Актона Руффо высадился на материк, как и планировалось, 7 февраля, всего с восемью спутниками. У него не было никакого оружия и боеприпасов; снаряжение составлял только стяг с королевским гербом на одной стороне и крестом на другой; под крестом была вышита надпись: «Сим победиши!»^[130]. Этот стяг он вывесил на балконе принадлежавшей его брату виллы, а сам разослал энциклику всем окрестным епископам, духовенству, магистратам и важным людям, призывая каждого защитить религию, короля, отечество и честь семьи. Как различные адресаты отреагировали на этот призыв, к сожалению, неизвестно, но восемьдесят вооруженных лаццарони присоединился к Руффо почти сразу, а к концу месяца численность «христианской армии Святой Веры» выросла до 17 000 человек. Руффо был прирожденным вожаком и быстро завоевал любовь и доверие; а в 1799 году, писал его секретарь и биограф Сачинелли, «всякий из беднейших крестьян Калабрии держал распятие с одной стороны ложа и оружие с другой». 1 марта кардинал разместил свою «штаб-квартиру» в городе Монтелеоне, где располагалось казначейство области; ему выделили 10 000 дукатов и одиннадцать великолепных лошадей. Примеру последовали Катандзаро и Кротоне. Следует признать, что без проблем не обошлось. Разношерстное войско не имело понятия о дисциплине, новые «крестоносцы» вели себя ничуть не лучше своих средневековых предшественников; Кротоне, например, разграбили, да так, что город впредь не оправился. Подобные зверства не могли не повредить репутации самого кардинала, хотя он был мягок и милосерден и всегда предпочитал насилию мирные преобразования. Так или иначе, он, как говорится, задал тон, и его успехи вдохновили других: аналогичные движения стали появляться по всей

Южной Италии. Сам Руффо, вернув короне Калабрию, пошел на восток, в Апулию, где его ожидал не меньший успех. К началу июня он стоял у ворот Неаполя – который, из-за блокады залива британским флотом, находился на грани голода.

Одиннадцатого июня, услышав о приближении кардинала, жители Неаполя подняли восстание. Бои шли по всему городу. Оголодавшие, беспощадно обстреливаемые французами из замков Сан-Эльмо, Нуово и Ово, лаццарони нападали на каждого якобинца, не важно, француза или итальянца, который встречался им на пути, и проявляли необузданное варварство. Сообщали о всевозможных жестокостях – о расчленениях, каннибализме, отрубленных головах на пиках (или пинаемых ногами, точно футбольные мячи), о бесцеремонном обращении с женщинами, которых подозревали в якобинстве. Устрашенный разгулом насилия, кардинал Руффо пытался вмешаться, но и многие из его людей охотно вовлеклись в кровопролитие; в любом случае, против охваченной истерией толпы он был бессилен. Оргия разрушения продолжалась неделю. Переговоры серьезно тормозила неспособность командиров трех замков договариваться друг с другом, и потому лишь 19 июня французы наконец-то капитулировали. Условия капитуляции, благодаря Руффо, оказались удивительно мягкими. Французским солдатам разрешили, если они того пожелают, вернуться в Тулон и оставаться в замках, пока для них не подготовят корабли; более того, им предстояло уйти со всеми воинскими почестями.

Мудрость подобного шага была очевидной; Чарльз Локк, британский консул в Палермо, писал, что, по его мнению, «это фактически избавило королевство от недовольных». Но данный шаг противоречил официальной политике короля и королевы, которые заявляли – при полном одобрении Гамильтонов, – что уцелевшим якобинцам не следует давать ни малейшей пощады. Руффо и его соратники слишком ясно видели опасность возвращения домой королевской четы, которая помышляла исключительно о мести, но воспрепятствовать не могли; прибытие Нельсона с восемнадцатью линейными кораблями 24 июня отнюдь не исправило ситуацию. Он вел бесплодные поиски франко-испанского флота, который будто бы шел к Неаполю с жизненно важными подкреплениями; вернувшись, он заглянул в Палермо, чтобы переговорить с Фердинандом и Марией-Каролиной – и тайком принять на борт Гамильтонов. Его задачей теперь было навязать королевскую волю Неаполю. Когда «Фудройант» приблизился к берегу и стали видны белые флаги на замках, Эмма, как передают, воскликнула: «Велите спустить эти флаги! Никакого перемирия с мятежниками!»

Ее муж был мрачен, но по своим причинам. Он никогда не возражал против отношений Эммы с Нельсоном – более того, кажется, что он гордился этими отношениями; гораздо больше беспокойства ему доставляла только что полученная новость, что корабль «Колосс» затонул по дороге в Англию – и унес с собой на дно всю коллекцию греческих и римских древностей, собиранию которой сэр Уильям посвятил свою жизнь. Справедливо или нет, он винил в этом французов и потому упорно стремился им отомстить.

Что же касается Нельсона, вряд ли нужно уточнять, что он целиком был на стороне монархистов. В политике он проявлял крайнюю наивность, его представление о ситуации в Неаполе сводилось к следованию чрезвычайно тенденциозным мнениям короля, королевы и Гамильтонов. Будучи приземленным протестантом-консерватором, он категорически не доверял кардиналу Руффо и потому, когда тот прибыл в Неаполь, настоял (заодно с единомышленниками) на том, чтобы все мятежники немедленно сложили оружие. Около полутора тысяч человек, спасенных Руффо от безумств толпы и укрывавшихся в муниципальном зернохранилище, подчинились, рассчитывая, что их сопроводят по домам. К несказанному изумлению этих людей, их вместо того поместили под арест и многих позднее казнили. Возмущенный Руффо сразу подал в отставку, но возник вопрос, на который до сих пор нет ответа: Нельсон ли отдал трагический приказ? Наверное, все-таки нет. Из того, что известно о характере Нельсона, вытекает, что он никогда не отдал бы сознательно подобного

приказа; однако влияние Гамильтонов на двор было подавляющим, а адмирал всегда с ними соглашался.

Кроме того, его обвиняли (на сей раз с куда более вескими основаниями) в недостойном обращении с коммодором^[131] Франческо Караччоло, бывшим старшим офицером неаполитанского флота, переметнувшимся на сторону республиканцев. Караччоло десять дней скрывался, меняя внешность, но его отыскивали в каком-то колодце и доставили к Нельсону на борт «Фудройанта». В десять часов утра 30 июня начался военный трибунал, в полдень Караччоло признали виновным и приговорили к смертной казни, в пять часов вечера его повесили на рее. Его тело провисело так до захода солнца, потом веревку перерезали, и труп упал в море. На суд не позвали ни свидетелей защиты, ни священника, который выслушал бы последнее признание приговоренного. Просьбу заменить повешение расстрелом проигнорировали. Пускай Караччоло был предателем, он все же заслуживал лучшей участи. Почему Нельсон допустил подобное? Да просто потому, что был увлечен Эммой. На борту корабля в открытом море он был непобедим и непогрешим; а вот на суше он буквально оказывался вне своей стихии и, попадая в объятия любовницы, становился послушным, как ребенок.

Оставив Марию-Каролину (к ее немалому разочарованию) в Палермо, король вернулся в Неаполь на неаполитанском фрегате в первую неделю июля. Подданные встретили его радостно – что бы ни случилось, Фердинанд никогда не утрачивал популярности в народе; однако из-за королевской неуступчивости боевые действия возобновились, и французы по-прежнему обстреливали улицы из замка Сан-Эльмо. Вечером в день своего прибытия он сел на «Фудройант» и следующие четыре недели вовсе не ступал на берег. Именно тогда произошел примечательный инцидент: местный рыбак сообщил, что видел тело Караччоло, плывущее в Неаполь. Сперва ему никто не поверил, но вскоре тело, несомое сильным течением, заметили и с «Фудройанта». Это и вправду оказалось тело Караччоло: из-за груза, привязанного к ногам, труп оставался в вертикальном положении, и казалось, будто мертвец плывет. Король, человек глубоко суеверный, пришел в ужас; он немного оправился, лишь когда капеллан заверил, что Караччоло вернулся вымолить у его величества помилование и удостоиться христианского погребения. Фердинанд велел поднять тело, отвезти на берег и похоронить в церкви Санта-Мария-ла-Катена.

К концу месяца сдались последние мятежники. Французы возвратились в Тулон; неаполитанцев заковали в кандалы в ожидании суда. Кардинала Руффо разве что сухо поблагодарили за спасение монархии – все почести так или иначе достались Нельсону – и в знак признательности и уважения к прошлым заслугам назначили генерал-капитаном королевства. Нашлись и такие, кто считает, что после добровольной отставки кардинала не следует впредь приближать ко двору; однако он по-прежнему хранил верность своему монарху и нисколько не пекся об уроне собственной чести – куда важнее для него была польза для государства. Его назначение, по сути, означало, что он стал председателем Suprema Giunta, Высшего судейского совета, которому подчинялись два других судейских комитета, – один разбирал дела военных, второй ведал гражданскими делами. О деятельности этих комитетов написано много; как правило, их приводят в пример, чтобы засвидетельствовать жестокость и бесчеловечность правления Бурбонов. В Неаполе, впрочем, судейские проявили поразительное милосердие. Из примерно 8000 политических заключенных 105 приговорили к смерти (шестерых позже помиловали), 222 получили пожизненное заключение, 322 – более короткий тюремный срок, 288 человек депортировали и 67 отправили в ссылку, из которой многие впоследствии вернулись. Остальных отпустили на свободу.

Таков был конец помпезно поименованной Партенопейской республики. Ее основатели стремились насадить через завоевание ту форму правления, которой не желали ни страна, ни народ и которая уже в значительной степени дискредитировала себя даже во Франции. Если

бы республика уцелела, она бы держалась исключительно на насилии или на угрозе насилия. Возникшее полицейское государство стало бы гораздо хуже любого творения Бурбонов.

В первую неделю августа 1799 года король Фердинанд, которого, как всегда, сопровождали Гамильтоны, отплыл на «Фудройанте» на Сицилию. За все сорок лет пребывания на неаполитанском троне король ни единожды не подумал, что у него есть враги в городе; теперь он убедился в обратном, и это открытие потрясло его до глубины души. Отныне красота Неаполя он предпочитал безопасность Палермо. 8 августа корабль вошел в гавань, и Фердинанд стоял на мостике рядом с Нельсоном. Королева с детьми поднялась на борт, а во второй половине дня вся королевская семья высадилась на берег под залпы двадцати одной пушки и торжественно проследовала по заполненным ликующим народом улицам на праздничную мессу в соборе. Следующие три дня город отмечал праздник своей святой покровительницы Санта-Розалии, который специально отложили на месяц ради его величества.

Далее наступила пора награждений. Эмме королева вручила бриллиантовое ожерелье со своим портретом и надписью «Вечно благодарна», а еще – два сундука изящнейших платьев взамен тех, которых леди Гамильтон лишилась в дни бегства из Неаполя; сэр Уильям удостоился портрета короля в драгоценной оправе. Нельсона наградили сицилийским герцогством Бронте с годовым доходом около 3000 фунтов стерлингов и мечом с украшенной алмазами рукоятью (Людовик XIV подарил этот меч деду Фердинанда Филиппу V). Английским офицерам щедро раздаривали золотые табакерки, часы и кольца.

Для Фердинанда и Марии-Каролины, для Гамильтонов и для Нельсона жизнь во многом стала напоминать прежнюю, за исключением того, что не имелось сколько-нибудь убедительных причин оставаться в Палермо. Королева тосковала по Неаполю; король, с другой стороны, настолько накрутил сам себя, что нелюбовь к городу переросла у него в отвращение. Никогда, заявил он, никогда по доброй воле он не вернется туда. Пожалуй, именно это, а не все прочее, привело к заметному охлаждению прежде по-настоящему сердечных отношений между Фердинандом и Марией-Каролиной. Вдобавок король внезапно сделался почти патологически скардным, выделял семье жалкие крохи на жизнь и крайне неохотно платил своим слугам. Правда, у его жены имелось тайное оружие. Она знала, что ее муж равнодушен к женским рукам, особенно если те затянуты в белые перчатки до плеч. Граф Роже де Дамас, французский эмигрант и придворный неаполитанского двора, писал:

Его дух воспаряет, когда он видит перчатку, облегающую изящной формы ручку. Это одержимость, которой он страдал всегда и которая действовала безотказно. Сколь многие важнейшие дела удавалось решать на моих глазах, стоило королеве натянуть перчатки на свои прекрасные руки при обсуждении вопросов, ее беспокоивших! Король сразу это замечал, улыбался – и выполнял ее пожелание.

Притом сама королева ощущала себя глубоко несчастной и проводила дни за составлением бесконечных писем, исполненных жалости к себе и адресованных всем, кого она могла вспомнить.

Именно тогда Фердинанд совершил поступок, ставший его величайшим даром Сицилии. В 1802 году, всего через четыре года после того, как Эдуард Дженнер опубликовал свои заметки о вакцинации, король пригласил английского врача приехать на остров и продемонстрировать свое открытие. Выступление Дженнера было столь убедительным, что Фердинанд велел открыть медицинские центры в каждом городе и объявил вакцинацию обязательной. Себе он тоже сделал прививку – и в соборе Палермо пропели «Te Deum», когда король поправился.

Со стороны придворная жизнь казалась блестящей, как обычно, с балами, концертами и зваными ужинами, за которыми почти всегда следовала игра в карты. Ставки были высоки,

Эмма Гамильтон отличалась азартом и безрассудством, а Нельсон неизменно ее сопровождал, хотя зачастую просто дремал в кресле. Наблюдателей шокировала эта публичная связь; одна очевидица, леди Элгин, высказалась в том духе, что, по ее мнению, всему *menage a trois*^[132] пора вернуться домой. «Поистине унижительно, – писала она, – видеть лорда Нельсона, который выглядит так, будто вот-вот скончается, но все равно следует за нею, словно у него нет иных забот». Муж леди Элгин добавлял, что Нельсон кажется «ветхим старцем, лишился верхних зубов, плохо видит одним глазом^[133] и носит повязку на лице».

Гамильтоны, которые из политических соображений поддерживали идею о возвращении двора в Неаполь, на самом деле были совершенно довольны своим текущим положением. Сэр Уильям, аккредитованный лично при Фердинанде, был вынужден оставаться рядом с королем, да и Неаполь наверняка изводил его горькими воспоминаниями об утрате бесценной коллекции древностей. Гораздо печальнее была судьба Нельсона. Ему пришлось оставаться на берегу, в Палермо, до июня 1800 года, целых десять месяцев, и увлечение Эммой Гамильтон не только сказалось на его репутации, но и, похоже, обернулось угрызениями совести и повлияло на чувство долга. Первую половину этого срока он исполнял обязанности главнокомандующего в Средиземноморье, однако переложил практически всю работу на плечи подчиненных. Он не перехватил Наполеона Бонапарта, когда тот возвращался из Египта; а ведь поступи он иначе и добейся успеха, история человечества могла пойти бы по иному пути. Соратники беспокоились за него все сильнее, тревожные сообщения достигли Лондона, адмиралтейство начало терять терпение, и Первый лорд, лорд Спенсер, чуть не освободил Нельсона от командования. В январе 1800 года командир Нельсона лорд Кит вернулся в строй и приказал адмиралу присоединиться к нему для проверки блокады Мальты; едва проверка завершилась, Нельсон поспешил в Палермо, где Эмма, уже не в состоянии скрыть свою беременность, публично встретила его с распростертыми объятиями.

Для Марии-Каролины 1800-е годы начались ужасно. После тридцати шести лет, проведенных в Неаполе и Палермо, сэра Уильяма Гамильтона отозвали в Лондон, а Нельсон лишился статуса главнокомандующего в Средиземноморье. Бедная королева мало что могла сделать относительно Нельсона, но она отказывалась жить в Палермо, если город покинут Гамильтоны, и была полна решимости до последнего противиться их отъезду. В этом ее, разумеется, горячо поддерживала Эмма, не имевшая ни малейшего желания расставаться с блестящим двором и почти постоянным солнцем ради сумрачной Англии и одинокой жизни с мужчиной старше ее на тридцать четыре года; но задача была отнюдь не из легких. Во-первых, следовало принимать во внимание отношение короля. Тот привязался к Гамильтону, однако испытывал неприязнь к Эмме, а потому категорически отказался вмешиваться. Во-вторых, преемник сэра Уильяма уже направлялся на остров.

Достопочтенный сэр Артур Паже, третий сын лорда Аксбриджа^[134], прибыл в Палермо в марте и натолкнулся на подчеркнуто холодный прием. С самого начала Гамильтоны поставили себе целью избавиться от него, что сделало его жизнь – и даже официальное вручение верительных грамот – весьма затруднительными. Он писал министру иностранных дел лорду Гренвиллу:

Прождав почти три четверти часа, я наконец увидел его величество, который вошел в зал в сопровождении сэра Уильяма и леди Гамильтон, лорда Нельсона и других, и на глазах всего двора он произнес одну или две фразы, обращаясь ко мне. Уверяю Вас, милорд, что я не стал бы упоминать об этом, если бы не выяснилось, что русского посланника, прибывшего с той же миссией, пригласили на частную аудиенцию, которая длилась более часа. Это обстоятельство, в сочетании с крайне нелицеприятными замечаниями, которые ее величество неизменно отпускала в мой адрес, побуждают предположить, что она будет делать все от нее зависящее, дабы от меня избавиться.

У него нашелся при дворе единственный друг, готовый, казалось, проявлять рассудительность и вежливость, – сэр Джон Актон, который сделал больше всех прочих для сохранения Сицилийского королевства в целости. Но в 1799 году Актон, которому исполнилось шестьдесят четыре, женился – по особому разрешению папы – на своей тринадцатилетней племяннице, а потому его приверженность делу начала ослабевать. Между тем всюду копилось недовольство. Неаполитанцы жаждали возвращения короля; Фердинанд наотрез отказывался. Мария-Каролина всем сердцем рвалась в Вену; Фердинанд был совсем не против отпустить жену, но Актон возражал, как из-за непредвиденных расходов казны, так и из-за потенциального политического ущерба (он не доверял королеве ни на грош). В конечном счете король и королева договорились. Паже сообщал:

Королева Неаполя совершенно точно отбывает в Вену. Эти два двора вечно враждуют друг с другом, и она попытается достичь примирения, но у меня имеются некоторые подозрения насчет того, что она может обойти эти спорные вопросы стороной, поскольку мсье де Тугут^[135] ее на дух не выносит... Она берет с собою двух или трех дочерей, чтобы продать по наилучшей цене.

Наконец все было готово. Нельсон и Гамильтоны только что вернулись из короткой поездки на Мальту, недавняя блокада которой оказалась вполне успешной; остров теперь, по собственному желанию, сделался британским доминионом. Старания королевы отложить их отъезд ни к чему не привели, и 10 июня все взойшли на борт «Фудройанта», в том числе десятилетний принц Леопольд и принцессы Кристина и Амелия (двадцати одного года и восемнадцати лет соответственно). Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы семейство отправилось в Вену без сопровождения; было очевидно, что Нельсон и Гамильтоны проделают с ними весь путь. 14 июня корабль достиг Ливорно, где возникла серьезная проблема. Бонапарт, ныне первый консул, снова вторгся в Италию и за день до прибытия «Фудройанта» сошелся с австрийской армией в сражении при Маренго. Первые сообщения, прибывшие в Ливорно на следующий день, гласили, что австрийцы одержали решительную победу. Будь так на самом деле, это, вероятно, означало бы крах карьеры Наполеона; но тем же вечером на поле битвы появилось французское подкрепление, 6000 человек, свежих и отдохнувших, что перевернуло ход схватки масштаб. К вечеру австрийцы отступили в полном беспорядке^[136].

Теперь для королевы и ее детей дальнейшее путешествие в Вену сделалось, мягко говоря, сомнительным. Они прождали в Ливорно почти месяц, причем Мария-Каролина не скрывала опасений, что им придется вернуться в Палермо. Нельсон тем временем продемонстрировал нарушение субординации, нарушив приказ присоединиться к основному флоту. Под влиянием Эммы он, казалось, разлагается на глазах. «Действительно грустно, – замечал сэр Джон Мур, которому случилось проезжать через город в те дни, – видеть храброго и доброго человека, столь славно послужившего своей стране, в таком жалком положении». В итоге лорд Кит, командир Нельсона, лично явился в Ливорно, чтобы «выслушать от лорда Нельсона настойчивую просьбу позволить ему доставить королеву в Палермо, а принцев и принцесс – в другие уголки земного шара». Леди Гамильтон, добавлял Мур, явно командовала флотом достаточно долго.

Наконец было решено, что семейство отправится во Флоренцию, а оттуда в Анкону, где переседет на корабль, который отвезет их в Триест. Они покинули Ливорно 13 июля. Путешествие выдалось опасным: многие дороги были сильно разрушены, порою приходилось передвигаться буквально на расстоянии нескольких миль от французских войск. В Анконе их приняла на борт небольшая русская эскадра, вызвавшая снисходительную усмешку Нельсона: мол, хватит сильного порыва ветра, чтобы все эти корабли перевернулись. Но они благополучно достигли Вены, и через три недели Нельсон и Гамильтоны попрощались с королевой и отбыли в Прагу и далее в Дрезден, Дессау и Гамбург. Оттуда они сели на пакетбот до Грейт-Ярмута и прибыли в порт 6 ноября.

Нельсона ожидал очередной триумфальный прием, но теперь он вынужден был разбираться с собственной женой Фанни. На Рождество та поставила ультиматум: ее мужу следовало сделать выбор между нею и Эммой. Конечно же, он выбрал Эмму.

Год 1801 начался удачно, с рождения в январе дочери Эммы и Нельсона Горации. Очень скоро после этого Нельсону пришлось уйти в море – сначала во флот Ла-Манша, а затем на Балтику, где он участвовал в битве за Копенгаген. По возвращении в Лондон он получил титул виконта и купил обветшавший дом в Мертоне – тогда это был самостоятельный приход, а ныне часть пригородного Уимблдона, – где *ménage à trois* существовал до самой смерти сэра Уильяма в 1803 году. Потом возобновилась война с Францией, и Нельсона вызвали обратно на Средиземное море. Оставалось еще два года до Трафальгара, но больше он никогда не видел Эмму.

Бедняжка Эмма, овдовев, страдала от одиночества. Несмотря на отличия, которых удостоился ее покойный муж, сделанные им тщательные распоряжения по обеспечению жены и Горации были проигнорированы, а малая пенсия из его жалованья быстро исчерпалась. После его смерти и без того немногочисленные друзья отделились; в глазах общества она была падшей женщиной. Она стала пить, а в 1813 году провела год вместе с Горацией в долговой тюрьме в Сауторке; затем уехала во Францию, чтобы сбежать от кредиторов. Там она провела свои последние годы в нищете и умерла в Кале в 1815 году – в возрасте сорока девяти лет.

Глава 12

Жозеф и Иоахим

Для Марии-Каролины было радостью и огромным облегчением вернуться в любимую Вену. Минуло десять лет с тех пор, как она видела свою старшую дочь Марию-Терезу, которая вышла замуж за будущего императора Франца II в 1790 году; теперь же Мария-Каролина наконец-то познакомилась с первым из своих пяти внуков. Впрочем, если она надеялась побудить Франца к более активному сопротивлению Наполеону Бонапарту, ее ожидало разочарование. Император строго держал дистанцию; ситуация и без того складывалась достаточно печально, чтобы прислушиваться к советам тещи. Наполеон ждал, что он запросит мира после катастрофы при Маренго, но император недавно подписал договор с Британией, по которому – за компенсацию в размере двух с половиной миллионов фунтов стерлингов – обязался не совершать подобного шага до февраля 1801 года. В результате французы одержали новую, еще более убедительную победу при Гогенлиндене (в двадцати милях к востоку от Мюнхена) в декабре 1800 года, и австрийцы потеряли убитыми и ранеными почти 20 000 человек. Через две недели отступающую армию оттеснили на двести миль в сторону Вены. На Рождество впавший в отчаяние Франц заключил перемирие, и, когда в январе 1801 года очередная французская армия принялась выдавливать австрийцев из Северной Италии, император «созрел» для полноценного мира. Он вытерпел еще неделю-другую из уважения к просьбе англичан, а затем 9 февраля подписал Люневильский договор, который фактически вывел Австрию из войны. Французы приобрели Бельгию, Люксембург и левый берег Рейна. Англия и Неаполь – чьи интересы австрийцы напрочь проигнорировали в Люневиле – оставались двумя странами, продолжавшими воевать с Наполеоном.

Между тем в Палермо король Фердинанд пребывал под возрастающим давлением со стороны сэра Артура Паже и со стороны своих подданных-неаполитанцев, которые просили монарха вернуться в Неаполь. Он упорно сопротивлялся; ему была ненавистна сама идея. Он считал (или притворялся, будто так считает), что его жизнь окажется в серьезной опасности; на самом же деле он наслаждался спокойной жизнью на Сицилии, где – особенно теперь, когда королева уехала – мог передоверить все малоприятные государственные дела Актону и

проводить время на охоте. В конце концов он согласился отправить на материк своего сына и наследника, Франциска, вместе с его женой Марией-Клементиной Австрийской, сестрой императора. Наследнику и его супруге было двадцать три года, они страстно любили друг друга. «Ее муж приходит к ней исполнять свои обязанности дважды или трижды за сутки, – писала королева, – он обожает ее во всех смыслах этого слова. Он говорит, что она любит его, а она выказывает и требует много доказательств любви». Для неаполитанцев, надеявшихся увидеть его отца, Франциск был, конечно, «не совсем тем», но когда королевская чета прибыла в город 31 января 1801-го, их встретили весьма тепло, а когда Мария-Клементина вышла на дворцовый балкон и с улыбкой подняла на руки поочередно двоих своих детей, восторгу толпы не было предела.

Но никакое количество праздников не могло замаскировать того факта, что Наполеон продолжал воевать с Неаполем и что Неаполь во многом зависит от его милости. Наконец мирный договор был согласован и подписан во Флоренции 28 марта. Неаполю пришлось отдать остров Эльба и часть прилегающей материковой территории, вывести свои войска из Папской области, закрыть свои порты для британского судоходства, освободить всех французских и республиканских заключенных и разместить французские гарнизоны (за собственный счет) на своих землях сроком на год. Последнее условие привело к прибытию 10 000 солдат под командованием генерала Жана де-Дье Сульта, который занял порты Отранто, Таранто и Бриндизи, чтобы наладить контакты с армией, брошенной Наполеоном в Египте в 1799 году и все еще ожидавшей возвращения домой. В мае французский посол, барон Карл-Жан-Мари Алькиер, который был когда-то членом революционного Конвента, проголосовавшего за казнь Людовика XVI, представил верительные грамоты наследному принцу. Остальная часть дипломатического корпуса (помимо русского посланника) оставалась с королем в Палермо. Британия отныне являлась единственным «официальным» врагом Наполеона.

В ноябре того же катастрофического 1801 года скончалась Мария-Клементина – вероятнее всего, от чахотки. Всего за четыре месяца до этого умер ее младенец-сын, не доживший до своего первого дня рождения. Франциск впал в отчаяние, но ему быстро подыскивали новую жену – двоюродную сестру Марию-Изабеллу, дочь Карла IV Испанского^[137]. Также было согласовано, что брак будет двойным – брата невесты, принца Астурийского, будущего Фердинанда VII, предполагалось женить на сестре жениха, принцессе Марии-Антонiette^[138]. Королева Мария-Каролина была в ярости из-за такого выбора невесты для сына; она всегда ненавидела испанских Бурбонов и рассчитывала, что все ее дети станут заключать браки с солидными и уважаемыми австрийцами. Еще ее шокировало поведение сына. «Я видела собственными глазами его письмо с нарочным генералу [Актону], – писала она, – всего через десять дней после кончины его добродетельной жены. Он жаловался, что его угнетает столь длительное воздержание. И это мой сын!» Возможно, сильнее ее шокировало осознание того, что новой невесте Франциска только тринадцать лет.

Пока Неаполь оплакивал смерть юной принцессы, Наполеон усердно трудился. Он реорганизовал новую французскую республику, а также налаживал дееспособное управление в Италии, Голландии, Германии и Швейцарии. В подобных обстоятельствах ему стало не до продолжения активных боевых действий с Англией. Переговоры шли долго и тяжело, но в итоге мирный договор был подписан в Амьене в марте 1802 года. Это единственный договор, когда-либо заключенный между Англией и Бонапартом, и действовал он всего год; принципиальное условие договора обязывало Францию вывести свои войска из Неаполитанского королевства, а Британию – освободить Египет. Остров Менорка, за который в предыдущем столетии велась затяжная схватка между Британией и Испанией, признавался владением испанской короны. Кроме того, Британия соглашалась уйти с Мальты в течение трех месяцев и вернуть остров рыцарям; впрочем, это условие (по причинам, которые вскоре прояснятся) не реализовалось.

Наполеону, естественно, хотелось, как когда-то в Египте, замаскировать отступление из Неаполя и представить данное событие как очередную победу. Он мудро наделил своего зятя Иоахима Мюрата рангом чрезвычайного посланника, дабы тот контролировал ход отступления; никто не годился лучше для этого занятия. Неаполитанцы ожидали увидеть скучного и деловитого республиканца; харизматичный, лихой, блистательный Мюрат в великолепно пошитом мундире попросту не мог их не восхитить. Ему устроили роскошный прием в королевском дворце в Казерте, где, на тщательно продуманной церемонии, он вручил наследному принцу пару пистолетов, изготовленных в мастерских Версаля. Зрелище оказалось настолько пышным, что многие из присутствующих сделали однозначный вывод: с республиканством покончено и Франция вскоре снова станет монархией. Мало кто подозревал, как быстро сбудется это пророчество.

С уходом французов у короля Фердинанда не осталось никакой мыслимой причины продолжать скрываться на Сицилии. Он медлил, сколько мог, но наконец сдался. После двух с половиной лет отсутствия король 27 июня 1802 года въехал в Неаполь со стороны Портичи. Сообщалось, что население города увеличилось почти втрое за счет подданных со всего королевства, которые желали приветствовать монарха. Чем, собственно, он сумел заслужить столь поразительную популярность, сказать сложно; вероятно, это как-то связано с отождествлением короля (*il re l'azzarone*) с низшим сословием его подданных. Лаццарони окружили Фердинанда, устроили ему четырехчасовую овацию и почти стащили с лошади от восторга. Что ж, Фердинанду новая жизнь в Неаполе сулила гораздо больше приятного, чем неприятного (чего он так опасался).

А вот королева продолжала избегать города и, что характерно, не делала секрета из своего страха. В Вене ее задержала мучительная операция по удалению геморроя, но в конце концов она прибыла в Неаполь 17 августа, почти тайком. Она не разделяла с мужем популярность в народе и не пыталась хоть как-то сблизиться с теми, кого презирала. Предстоящий двойной брак тоже не обещал ни утешения, ни радости. Она любила свою дочь Антониетту, которая отплывала в Испанию, и боялась, что больше никогда ее не увидит; что касается сына Франциска, который дожидался новой жены в Неаполе, к нему она испытывала разве что брезгливость. А Франциск казалось, не интересовался ничем, кроме секса, и никто при дворе не обращал на него внимания.

На самом деле оба брака даже превзошли наихудшие ожидания Марии-Каролины. «Антониетта в отчаянии, – писала королева. – Она уезжала, исполненная светлейших чаяний, но это все в прошлом. У ее мужа отвратительное лицо, грубый голос и полное отсутствие ума. Жизнь там столь же омерзительна, как и пять веков назад». Принцесса, несмотря на строгие инструкции неаполитанского посла отправлять только радостные письма домой, признавалась матери, что предпочла бы уйти в монастырь. Все это было достаточно плохо, но когда неаполитанский двор увидел воочию девочку-невесту наследного принца, стало просто ужасно. Король охарактеризовал ее как «крошечную и круглую, точно мячик»; королева, как обычно, не жалела слов:

Не Бурбон ни в малейшей степени, белокожая, румяная, с черными глазами. Она очень пухлая и крепкая, но ее ноги очень коротки. На сем хватит о внешности. Остальное не поддается описанию, ибо я сама не могу ничего понять. Она равна нулю во всех отношениях, будь то знания, идеи, любознательность... Ничего, абсолютно ничего. Она говорит немного по-испански, но не знает ни итальянского, ни французского, отвечает односложно, «да» или «нет», в любой ситуации. Она все время улыбается, не имеет значения, довольна она или нет... У четырехлетнего ребенка Франциска и то гораздо больше ума. Это просто невероятно. Франциск приглашает наставников, чтобы обучить ее итальянскому и основам географии и арифметики. Она не знает ничего, кроме маленького пианино. Я попыталась похвалить и растормошить ее. Она ничего не чувствует, только улыбается.

Но в эту игру обычно играют вдвоем. Для королевы Марии-Луизы Испанской ее новая невестка была «отпрыском своей матери, ядовитой гадюкой, тварью, что брызжет желчью и ядом вместо крови, бесовским аспидом». Она твердо верила, что Мария-Каролина прислала дочь отравить ее, и когда бедная девочка умерла в возрасте двадцати одного года – после двух выкидышей, – поползли мутные слухи, будто свекровь сумела опередить невестку. Мария-Каролина, конечно же, в том не сомневалась.

К концу весны 1803 года Амьенский договор явно доживал последние дни. Бонапарт присоединил Пьемонт и Эльбу и занял Швейцарию; куда он повернет теперь? Недавний материал во французской газете «Монитор» за авторством некоего полковника Себастиани гласил, что 6000 французских солдат будет вполне достаточно для покорения Египта. Первая попытка Наполеона добиться этого завершилась умеренно унижительным поражением; возможно, настала пора предпринять вторую? Самой этой возможности оказалось довольно, чтобы убедить британское правительство не выводить войска с Мальты. Эта новость ввергла Наполеона в бешенство. Он сам нарушал соглашения и договоры, когда считал полезным, но не терпел подобного со стороны других. 18 мая он объявил войну Англии; 31 мая уведомил правительство Неаполя, что отправляет армию численностью 13 000 человек в качестве гарнизона Апулии – разумеется, за счет неаполитанцев – под командованием генерала Лорана де Гувион-Сен-Сира. К тому времени, в значительной мере благодаря усилиям посланника Шарля-Жана-Мари Алькиера, у Бонапарта появился новый повод обращаться с королевством соответственно, а именно – сэр Джон Актон. Наполеон писал королеве:

Что прикажете думать о Неаполитанском королевстве... когда я вижу во главе его правительства человека, чужого в этой стране, человека, чьи богатства и чья верность принадлежат Англии? Между тем королевство управляется не столько по воле и принципам его сюзерена, сколько по воле и принципам министра. Поэтому я решил, в качестве разумной меры предосторожности, полагать Неаполь, как страной, которой управляет английский министр.

По иронии судьбы, королева согласилась, хотя и проявила естественную осторожность, не сказав об этом вслух. Она ненавидела Актона и давно интриговала против него. Без Актона, казалось ей, будет намного проще влиять на мужа; тогда восстановится былая искренность, по которой она тосковала. Но Фердинанд был непреклонен. Если его главный министр должен уйти в отставку, заявил король, тогда он сам отречется от престола. Он доверял Актону больше, чем кому-либо еще – уж всяко больше, конечно, чем жене, – и потому не желает слушать наветы, менее всего от нее.

Тут как раз в Неаполь прибыл новый британский посол Хью Эллиот^[139]. Он по морю доходил до Гибралтара с Нельсоном, которого недавно назначили главнокомандующим флотом в Средиземноморье и который, несомненно, максимально полно описал, чего следует ожидать (включая предупреждения насчет зловредности Сицилии). Нельсон уже писал Актону об острове, который он полагал центром и опорой монархии, – более важным, чем даже Неаполь. Если город захватят, указывал он, Сицилию еще можно будет сохранить; но если потерять Сицилию, это будет означать гибель королевства. Поэтому Эллиот с самого начала не тешил себя иллюзиями. Человек с сильным характером, он значительно укрепил позиции Актона. Если Наполеон будет настаивать на выполнении своих требований закрыть неаполитанские порты для британского судоходства, его следует спокойно информировать – тут явно ощущается влияние Нельсона, – что англичане оккупируют Мессину. Но важно, с другой стороны, не совершать никаких глупостей: Британия будет бессильна, если Сен-Сир решит пойти на столицу. Между тем стоит укрепить береговую оборону Сицилии и Калабрии и собрать канонерки^[140] в Мессине, дабы предотвратить любую попытку вторжения. Наконец военный корабль «Гибралтар» останется в неаполитанских водах, чтобы

защитить – а при необходимости снова спасти – королевскую семью в случае чрезвычайной ситуации.

Год 1803-й сменился 1804-м, и Алькиер с Сен-Сиром усилили давление на королеву. Не проходило дня без протестов или жалоб со стороны посла или новых выходов генерала – который вел себя в Апулии как диктатор, игнорируя постановления правительства, размещал солдат, где ему заблагорассудится, опустошал зернохранилища и даже приказывал казнить неаполитанских граждан. Оба они продолжали требовать ухода Актона, который, окруженный врагами со всех сторон, наконец подал в отставку. Король, как обычно, впал в ярость и пригрозил уплыть на Сицилию; но когда он узнал, что Наполеон решил объявить войну, если главный министр не покинет столицу в течение нескольких дней, то неохотно согласился принять расклад, представленный как компромисс: Актон отойдет от дел в Палермо с щедрой пенсией и обширным поместьем в Модике, но фактически сохранит свою должность, и ему будут пересылаться все важные отчеты и донесения. Так называемые преемники, таким образом, окажутся не более чем секретарями.

Подобное решение могло бы спасти репутацию Актона – и репутацию самого двора; однако оно представлялось неосуществимым. Министр никогда не был особенно популярен в народе и не предпринимал никаких усилий к тому, чтобы ближе сойтись с местной аристократией; при этом он был практически всемогущим правителем страны на протяжении четверти века и сделал себя незаменимым. Отныне всякая надежная рука у руля исчезла; хуже того, теперь никто не контролировал королеву. А та писала:

Король вечно в Бельведере. Он заглядывает сюда время от времени, всего на несколько минут. Порою я отправляюсь к нему, и это немалое испытание по здешней ужасной жаре и пыли. Мы полностью разделены и вынуждены переписываться друг с другом... Принц приходит на заседания совета в отсутствие своего отца, я бываю на них только от имени короля... Король не любит город и жаждет одиночества, ибо он не может привыкнуть и не желает мириться с владычеством французов и выполнять приказы, будь то генерала или Бонапарта. Он тоскует по Сицилии, где его никогда не унижали и не оскорбляли. На самом деле он пребывает в постоянной ярости, которая угнетает меня. Он категорически отказывается принимать грамоты Алькиера, но позволяет сыну представлять себя... Он утверждает, что у него непременно случатся судороги или удар и это его убьет...

Мы слышали, что генерал Актон прибыл в Палермо 31-го числа [май 1804 года]. Его встретили овацией, а сицилийцы говорят: «Человек, которого преследуют французы, наверняка неподкупен».

Лишь после того как Наполеон короновался императором 2 декабря 1804 года, Мария-Каролина удостоилась крохотной «компенсации». Впредь, едва Алькиер, пламенный республиканец, голосовавший за казнь Людовика XVI, обращался к ней, она с наслаждением наблюдала за его лицом, произнося немыслимые прежде слова: «Император, ваш господин».

Двадцать шестого мая 1805 года в Миланском соборе Наполеон Бонапарт короновался повторно – на сей раз Железным венцом Ломбардии – и объявил себя королем Италии. Для Фердинанда и Марии-Каролины подобный поступок олицетворял непосредственную угрозу их собственному королевству; поэтому, несмотря на свою уязвимость, они потребовали объяснений. Наполеон предсказуемо пришел в ярость, которую усугубило известие о недавней высадке значительного русского десанта на Корфу, а также о прибытии британских подкреплений на Мальту. Позднее, принимая неаполитанского посла, манерного принца Кардито, он заставил того выслушивать разглагольствования того рода, что уже быстро становились знаменитыми, – обозвал Марию-Каролину лесбиянкой и «коварной Мессалиной нашего времени». Британский корабль, который по-прежнему стоит в заливе, заявил он, не помешает свергнуть ее с трона. Когда эти слова передали королеве, она сделала логичный вывод, что французского вторжения не избежать. У нее было два союзника, англичане и

русские, и оба обещали защитить королевство, а русские даже прислали двух генералов с довольно неожиданными фамилиями Лейси и Опперманн, чтобы изучить положение дел на месте. Ни один из них не добился уважения; король находил их забавными и не пытался скрывать свое отношение. Лейси, ирландец по происхождению, охотнее говорил по-русски, чем по-английски, когда у него прорезался сильный ирландский акцент. Чрезвычайно старый, он имел привычку доставать из кармана ночной колпак и крепко засыпать на совещаниях. Эльзасец Опперманн постоянно жаловался. Именно он принимал все решения.

С толикой помощи этих двоих королеве удалось – хотя она понимала, что надежда не допустить полномасштабное вторжение крайне мала, – заключить новое соглашение в сентябре, и русский царь согласился прислать вооруженный отряд, способный дополнить 6000 британских солдат на Мальте. Это соглашение, пожалуй, было не столь спасительным, каким казалось; Санкт-Петербург находился далеко, и Неаполь попадал в полную зависимость от самодурства русского командующего экспедиционным корпусом. Неделей или двумя позже пришли обнадеживающие новости из Парижа: французские войска покинут королевство в течение месяца. За это Фердинанд обязывался строго соблюдать нейтралитет и не пускать никакие корабли воюющих государств в свои порты. Кроме того, ему запрещалось привлекать французских эмигрантов и подданных любой державы, враждебной Франции, к военному командованию. По сути это означало, что, по мнению Наполеона, от Сен-Сира и его людей будет больше пользы в Ломбардии, чем в Апулии; по крайней мере, Неаполь получил отсрочку.

Та оказалась короткой. 19 ноября первый русский конвой вошел в Неаполитанский залив. Вскоре после того 7000 британцев высадились в Кастелламаре – примерно в двадцати милях к юго-востоку от Неаполя, – а около 13 000 русских и албанцев сошли на берег в самом городе. Численность неаполитанской армии, какой бы та ни была, чуть не дотягивала до 10 000 человек; ее боевой дух был низок, дисциплина, конечно, хромала. Спешно проведенный рекрутский набор обернулся катастрофой: мужчины преднамеренно калечили себя, чтобы увернуться от призыва. Мария-Каролина приветствовали вновь прибывших, радуясь, что положение наконец-то начинает выправляться; Фердинанд, на сей раз проявив больше мудрости, нежели супруга, твердил, что его страна обречена. Он помышлял исключительно о возвращении на Сицилию и утешал себя тем, что не оставил французам на материке ни одного дикого кабана. Известен, кстати, исторический анекдот об албанском полковнике, которого король повстречал на обратном пути с охоты.

«Куда идешь?» – спросил король.

«В Абруцци», – отвечал полковник.

«Зачем?»

«Чтобы воевать».

«Против кого?»

«Против французов, ваше величество».

«Бог в помощь», – пробормотал король и уехал прочь.

* * *

Второго декабря 1805 года в одном из самых судьбоносных сражений в своей карьере Наполеон, численность армии которого составляла 68 000 человек, одолел объединенное войско русских и австрийцев численностью 90 000 человек при Аустерлице в Моравии. На следующий день после Рождества, согласно условиям договора, подписанного в Прессбурге (ныне Братислава), Австрия вынужденно возвратила Франции все венецианские территории, которые приобрела в 1797 году по договору в Кампо-Формио; вместе с побережьями Истрии

и Далмации они вошли в состав нового Итальянского королевства Наполеона. Император отказался включать в договор какие-либо положения, касавшиеся Неаполя; более того, в день подписания договора он заявил, что намерен «свергнуть с престола эту преступницу, которая столь бесстыдно нарушает правила, священные среди мужчин». В своем последующем обращении к армии он развил эту мысль: «Должны ли мы верить двору, который не соблюдает верности, не ведает чести и не слышит голос разума? Нет нет и нет! Неаполитанская династия прекратила править, ее существование несовместимо с миром в Европе и с честью моей короны».

Новость о поражении под Аустерлицем как будто вселила панику в сердца и умы русских, которые решили немедленно отступить в Калабрию. Британский генерал сэр Джеймс Крейг возражал, но все-таки последовал их примеру. Мария-Каролина гневалась, как умела она одна. Признаться, она почти ожидала чего-то подобного от русских, но для британцев это было поистине непростительно:

Запах пороха отравляет изнеженное обоняние генерала Крейга, и он потому жаждет ускользнуть даже от слабого дуновения. Надеюсь, он уцелеет и уйдет в монахи, опозорив свою страну и принудив ее утратить всякое влияние на торговлю в Средиземноморье, Леванте и Египте; британцам предстоит долго ощущать последствия этого шага. Я полностью разуверилась в англичанах.

Затем, 10 января 1806 года, генералы союзников передумали. Они решили вовсе не защищать Калабрию и отправиться прямиком домой. Для короля Фердинанда этого было вполне достаточно: как Неаполь может сопротивляться армии, разгромившей Австрийскую империю? 23 января король отплыл на Сицилию, оставив королеву и наследного принца заниматься подготовкой к обороне города. Чуть более двух недель спустя принц объявил, что уезжает в Калабрию «объединить предпринимаемые усилия»; Мария-Каролина наконец осознала, что ситуация безнадежна и в Неаполе оставаться бессмысленно и опасно. Вместе с двумя незамужними дочерьми, невесткой (наследной принцессой), двумя внучками и одиннадцатью придворными она во второй половине дня 11 февраля взшла на борт неаполитанского фрегата «Архимед», мысленно готовясь к зимним невзгодам в Палермо. Но ее беды еще не закончились. Погода выдалась немногим лучше той, что отравляла их путешествие с Нельсоном и Гамильтонами. Сильный шторм расстроил конвой, двадцать шесть транспортов оказались выброшенными на берег, где их захватили французы (или они сами сдались французам). Несколько судов лишились всего груза, а вся переписка правительства попала в руки врага. Минуло пять жутких суток, прежде чем «Архимед», оставшийся почти в полном одиночестве, бросил якорь в гавани Палермо.

Королева уплыла как раз вовремя; по календарю (такое вот стечение обстоятельств) наступил День святого Валентина, когда, под проливным дождем, французский отряд под командованием генерала Луи Партоно вступил в Неаполь. Это был авангард армии численностью 40 000 человек под командованием маршала Андре Массены, и с этим авангардом двигался старший брат императора Жозеф Бонапарт, личный представитель Наполеона. Никакого сопротивления французы не встретили. Хотя семь лет назад лаццарони сражались, как тигры, и устроили настоящую резню, на сей раз они реагировали вяло, равнодушно, и не протестовали, когда Жозеф на следующий день организовал торжественное шествие и занял под резиденцию королевский дворец. Через шесть недель, 30 марта, Жозеф короновался. «Шаткое и грозившее рухнуть регентство», по выражению сэра Гарольда Актона, было озабочено исключительно сохранением мира. Получив строгое указание не сдавать городские замки французам, регент мгновенно уступил все три, заодно с островами Искья и Прочида, дабы гарантировать благорасположение со стороны завоевателей.

«Неаполь захвачен, теперь все сдадутся», – писал Наполеон Жозефу. Что ж, далеко не в первый раз император недооценил своего противника. Калабрия оказалась куда более твердым орешком. 1 июля 1806 года британский отряд из Палермо под командованием генерала сэра Джона Стюарта в составе 4800 пехотинцев и шестнадцати пушек высадился на западном побережье; спустя три дня британцы напали на французов близ деревни Маида и стремительной штыковой атакой обратили врага в бегство. Эта победа вызвала восторженные отклики не только в самой Калабрии, но и в Англии, где о месте сражения до сих пор напоминает географическое название Майда-Вэйл^[141]. Кое-кто упрекал Стюарта – мол, пойдя он дальше на север, «ничто не помешало бы ему достичь окрестностей Неаполя»; однако эти люди забывали, что его крошечное войско было измучено жарой и малярией. Так или иначе, ему удалось заставить французов отложить на неопределенный срок намечавшееся вторжение на Сицилию – а это, несомненно, достижение. Впрочем, достигнутое следовало закрепить. Сицилия оставалась единственной – помимо Сардинии – частью Италии, свободной от французской оккупации, и британское стремление не допустить захвата острова было очевидным. Поэтому британцы гарантировали острову свою военную защиту и перебросили туда до 10 000 солдат и офицеров.

К сожалению, падение (после героического сопротивления, длившегося полгода) города Гаэта, вкупе с решением Массены сосредоточить намного более крупные силы, вынудило Стюарта в сентябре увести свое войско на корабли. Это означало партизанскую войну, причем сопровождаемую обычными зверствами – с обеих сторон. Калабрийцы не испытывали особой любви к Бурбонам, но все же предпочитали тех французским захватчикам; вдобавок разве папа не отказался признавать Жозефа Бонапарта королем? Эти люди были в основном крестьянами, а потому, когда началась партизанская война, нисколько не миндальничали.

Что касается Сицилии, остров, которым правили только король Фердинанд и королева Мария-Каролина, вряд ли сулил Массене серьезные проблемы. Нельсон погиб, а королевская чета по прибытии в Палермо удостоилась гораздо более холодного приема, нежели в их предыдущий визит. Сицилийцы успели как следует узнать своего государя и отлично понимали, что для Фердинанда их остров является всего лишь охотничьими угодьями (и временным убежищем). Он даже ухитрился уничтожить в Палатинской капелле несколько превосходных мозаик двенадцатого столетия, чтобы обеспечить себе более удобный проход в здание. Кроме того, все главные административные должности на острове занимали неаполитанцы, а многие островитяне, прежде всего младшие сыновья знатных семейств, остались в итоге не у дел. В подобных обстоятельствах французское вторжение, случись оно в реальности, могло, пожалуй, и не столкнуться с сопротивлением.

Но вторжения не произошло. Во-первых, Фердинанд попросил англичан взять на себя защиту острова – вероятно, они поступили бы так и без его приглашения: теперь в Мессинском проливе постоянно патрулировали британские канонерки. Во-вторых, британцы не собирались ограничиваться исключительно обороной Сицилии; во всем, кроме названия, они сделались полновластными хозяевами острова, поскольку на Сицилии их было много – свыше 17 000 военных и около тридцати гражданских консулов и вице-консулов. Сицилия также получала прямые субсидии от Британии, не говоря уже о значительных кредитах и немалых частных инвестициях; воздействие этих денег на прежде апатичную сицилийскую экономику легко себе представить. В результате остров охватила неудержимая англофилия: «сливки» Палермо теперь говорили на сицилийском диалекте с сильным английским акцентом.

Возвращению королевской семьи в Палермо обрадовался в первую очередь сэр Джон Актон. Прошло больше года с момента его изгнания на Сицилию, и ко времени прибытия королевы он сумел восстановить свою прежнюю власть. Мария-Каролина всегда его ненавидела, и их встреча, по ее словам, ознаменовалась «нарочитыми сетованиями и слезами». Актон, как писала королева, считал калабрийскую кампанию пустой тратой времени и средств (но,

вследствие настояния Марии-Каролины, эта кампания растянулась в целом еще на четыре года); гораздо больше его заботило спасение Сицилии, а не возрождение былой славы Неаполя. Благодаря Актону английские войска уже заняли ряд фортов вокруг Мессины и на северо-востоке; он также написал адмиралу лорду Коллингвуду, который сменил Нельсона в качестве главнокомандующего в Средиземноморье, с просьбой прислать флот на защиту острова.

У Коллингвуда имелась другая, более важная цель – помешать французскому Атлантическому флоту войти в Средиземное море. Однако он отправил на Сицилию надежного заместителя. Контр-адмирал сэр Сидни Смит обрел, так сказать, новую жизнь при сицилийском дворе. За его плечами значилась великолепная военная карьера, упорное сопротивление Наполеону в ходе осады Акко в 1799 году (он поставил свои корабли на якорь на мелководье и накрыл общими залпами французский лагерь). Энергичный, буйный и громогласный, он мгновенно нашел общий язык с королевой, которая не сомневалась, что нашла в нем нового Нельсона. «Шмидт», как она неизменно его величала, был твердо намерен не разочаровывать правительницу. 11 мая он повел корабли в Неаполитанский залив. Разумеется, он не собирался подвергать город бомбардировке, но захватил Капри и, спустя некоторое время, остров Понца (которому вскоре предстояло стать оплотом роялистских заговоров и интриг). Также Смит порадовал королеву тем, что принялся тайно высаживать вожаков партизан вдоль побережья Калабрии (они распространяли прокламации, призывавшие к восстанию против французов) и поставлять оружие и продовольствие в Гаэту, которая до сих пор героически держалась. 28 июня королева поручила Смиту командованием всеми неаполитанскими и сицилийскими силами на суше и на море; принимая это назначение, Смит поклялся «сделать больше, чем Бонапарту когда-либо грезилось».

Вряд ли может вызвать удивление тот факт, что сэр Сидни оказался не слишком популярен среди своих английских товарищей. Июньское назначение, которое состоялось без каких-либо консультаций с сэром Джоном Стюартом, привело самого Стюарта в ярость. К счастью для всех заинтересованных сторон, его почти сразу перевели на новое место службы – а преемником Стюарта оказался генерал Генри Фокс, откровенно больной человек, который передоверил большинство решений, которые необходимо принять своему первому заместителю (и в конечном счете «наследнику») сэру Джону Муру. Но у Мура Смит вызывал не меньше раздражения, чем у Стюарта; вдобавок он полагал, что сэр Сидни наносит непоправимый урон.

из-за вмешательства в дела Калабрии, где в своем воображении он командует армейскими операциями, но где на самом деле он лишь провоцирует убийства и грабежи и способствует поддержанию в тех несчастных, кого мы вовсе не намереваемся поддерживать, мятежного духа, тогда как оный оборачивается для них все более суровым мщением со стороны французского правительства. Пока у сэра Сидни были деньги, он щедро их тратил; теперь, не задумываясь о последствиях, он раздает оружие, боеприпасы и продовольствие...

Все очевидцы событий сходятся в том, что калабрийцы не нуждались в «провоцировании» сэра Сидни Смита. Даже без его вмешательства война в Калабрии была куда более кровопролитной, чем большинство подобных кампаний, и противники не чурались творить кошмарные злодеяния, на которые обычно следовал не менее жестокий ответ; на площади маленького городка Кассано – достаточно будет единственного примера – пятьдесят два итальянца были расстреляны своими соотечественниками. В основном это были решительные противники французов. Грубые, страстные, богобоязненные, калабрийцы восприняли отказ папы римского признать Жозефа Бонапарта королем достаточным основанием для действий. Объявленное Жозефом грядущее закрытие всех мужских и женских монастырей в регионе усугубило ситуацию.

Отзыв сэра Сидни в январе 1807 года стал огромным облегчением практически для всех его соотечественников на Сицилии. Теперь лишь королева жаждала войны. По ее мнению, настала пора для полномасштабного нападения на Неаполь. Все советники, равно английские и сицилийские, пытались ее переубедить (насколько возможно вежливо), но она отказывалась их слушать. Хью Эллиот записал, что «ее величество... обладает неукротимым нравом, чрезвычайно живым и образным воображением и предприимчивым духом, а потому не замечает (или, возможно, не желает замечать) те трудности, каковые препятствуют достижению сколько-нибудь значимой цели». Постепенно, только благодаря настойчивости Марии-Каролины, удалось собрать отряд численностью около 4000 человек под командованием генерала принца Луи Гессен-Филипштальского, героя недавней осады Гаэты; этот отряд пересек Мессинский пролив и двинулся на север по Калабрии. Едва начавшись, экспедиция закончилась катастрофой. В ходе краткого сражения близ Милето принц потерял 1633 солдата и шесть артиллерийских орудий. Мария-Каролина приняла весть о случившемся экспрессивно (как всегда), но отказалась признать свою причастность к этому фиаско. Она по-прежнему мечтала о Неаполе.

В июле 1807 года сэр Артур Паже коротко остановился в Палермо на пути к месту своего нового назначения, Константинополю. Он надеялся избежать встречи с королевой, но та, заранее оповещенная о его прибытии, призвала дипломата во дворец. Она жаловалась ему на протяжении двух часов, сетуя на поведение англичан в целом и сэра Джона Мура в частности. Впоследствии Паже писал:

Располагая возможностью захватить остров, сам Бонапарт вряд ли мог пожелать лучшего для себя состояния дел на Сицилии... Очевидна убежденность обоих генералов, Фокса и Мура, в том, что ни в коем случае нельзя полагаться на сицилийское правительство, правящее островом так, как оно правит сейчас, пока королева заправляет в государственном совете; сицилийская же армия, если можно так ее назвать, пребывает в столь плачевном состоянии, что в нынешних обстоятельствах неразумно ожидать от нее какого бы то ни было содействия.

Марию-Каролину вдобавок потрясло Тильзитское соглашение, подписанное Наполеоном и царем Александром I в июле 1807 года на плоту посреди реки Неман. Царь, бывший союзник Неаполя, согласился признать Жозефа Бонапарта неаполитанским правителем; «Жду смертного приговора», – записала королева. Впрочем, одновременно ей пришлось оправляться от гораздо большего удара: два месяца назад умерла ее старшая дочь Мария-Тереза, жена австрийского императора^[142]. Когда император женился снова, всего восемь месяцев спустя (и усугубил этот грех признанием королевского статуса Жозефа Бонапарта), остатки эмоциональной связи с бывшей тещей исчезли; отныне эти двое старались общаться как можно меньше – и сугубо формально.

Тильзитский мир определил будущее Восточной Европы – по крайней мере, на текущий момент. Наполеон теперь получил возможность уделить внимание западу, то есть Пиренейскому полуострову. С Португалией разобрались быстро; осенью 1807 года, когда португальцы отказались закрыть свои порты для британского судоходства, император отправил армию численностью 30 000 человек. Португальская королевская семья бежала в Бразилию, оставив страну на милость французов. Большая часть армии вторжения затем переправилась в Северную Испанию, а император отправил своего зятя Иоахима Мюрата занять Мадрид и заставить испанского короля Карла IV и его сына Фернандо^[143] встретиться с Наполеоном в Байонне. 5 мая 1808 года Карл и Фернандо одновременно отреклись от своих прав на престол; взамен Наполеон пообещал, что Испания останется католической и независимой, а править ею будет тот, чье имя он назовет очень скоро. Он сдержал свое обещание – и назвал имя своего брата Жозефа.

Жозеф начал свое правление в Неаполе достаточно хорошо; по распоряжению брата он приступил к ликвидации громадных феодальных владений на острове и делал все возможное, чтобы упорядочить местные финансовую, образовательную и судебную системы. Но он не был счастлив на Сицилии и, когда Наполеон предложил ему корону Испании, охотно согласился. Увы, новое королевство погибло, фактически не родившись. 2 мая, еще до совместного отречения монархов, жители Мадрида восстали против захватчиков^[144]. Этот мятеж быстро и жестоко подавили, но восстание распространилось по всей Испании, где народ продемонстрировал врожденный талант к партизанской войне. 23 июля французский генерал Пьер Дюпон был вынужден сдаться со всей своей армией. Повстанцы двинулись на Мадрид – и изгнали Жозефа несколько недель спустя.

Иоахим Мюрат по приказу императора тем временем сменил Жозефа на неаполитанском троне. Вообще-то он надеялся получить в управление Испанию; если же это окажется невозможным, он был готов довольствоваться Польшей или Вестфалией. Неаполь, по его мнению, был для него слишком мал, и это чувство разделяла его жена Каролина, сестра Наполеона; неаполитанская корона, говорила она, маловата для ее головы. В итоге чета решила провести лето в Пиренеях; лишь в сентябре они официально приняли на себя управление королевством. Между тем в июне высадился в Мессине будущий «король французов» Луи-Филипп, герцог Орлеанский, прибывший на остров как претендент на руку принцессы Марии-Амалии, двадцативосьмилетней и последней незамужней дочери королевы^[145]. Будучи сыном Филиппа Эгалите^[146], который искренне поддерживал революцию, но закончил свои дни на гильотине, Луи-Филипп отчаянно пытался восстановить семейную честь; брак с Бурбонами – лучшего в этом отношении не оставалось и желать. Много лет спустя он вспоминал:

Адмирал Коллингвуд... заблаговременно предостерегал меня: «Если вы отправляетесь в Палермо, упаси вас Господь от королевы Каролины! Это зловреднейшая женщина среди всех, какие только рождались на свет». Она и вправду не ангел, но лично мне она понравилась... Едва о моем прибытии известили, она вышла на крыльцо меня встречать, и когда я представился ей, она взяла меня за руку и, не говоря ни слова, повела в свои покои. Там, в оконной нише, она взяла мою голову в ладони и некоторое время молча смотрела на меня. «Я должна ненавидеть вас, – сказала она наконец, – ведь вы воевали с нами: но вы мне приглянулись. Вы прибыли сюда жениться на моей дочери; я не стану вам мешать, но ответьте честно – какое участие вы принимали во французской революции? Я прощаю вам все заранее, при условии, что получу честный ответ».

По-видимому, Луи-Филипп выполнил просьбу королевы. В 1791 году, в возрасте младше восемнадцати лет, он доблестно сражался с австрийцами и пруссаками; когда же установилось «Царство террора», он мудро решил бежать и провел следующие пятнадцать лет за пределами страны. Верная слову, Мария-Каролина дала благословение на брак, таинство которого совершилось в неожиданной обстановке королевской опочивальни, – Фердинанд был прикован к постели после падения с лестницы несколькими неделями ранее; затем церемонию провели повторно, день или два спустя, в великолепии Палатинской капеллы. «Непоседливая Амалия вышла замуж за герцога Орлеанского, – писала Мария-Каролина. – У них нет средств к существованию, они бедны, но счастливы и любят друг друга бесконечно». Так и было на самом деле; этот брак доказал свою прочность десятью детьми, а в 1830 году Мария-Амалия, как супруга своего мужа, стала королевой французов. К тому времени ее мать давно умерла, но она наверняка была бы счастлива.

После прибытия 6 сентября 1808 года «Иоахима Наполеона, милостью Божией и по конституции короля Обеих Сицилий и гранд-адмирала империи», Неаполь словно превратился в этакую Руританию^[147]. Облаченный в роскошный мундир самолично придуманного покроя, горделиво выставя усы и вообще выказывая склонность к фанфаронству и показушности, Мюрат произвел впечатление на своих новых подданных,

которые подпали под его обаяние. Первоначальное нежелание оставаться в Неаполе быстро забылось, и он с головой погрузился в решение задачи по «перетаскиванию» Неаполя в девятнадцатое столетие – в частности, заменил былые, отчасти ветхозаветные законы суровым кодексом Наполеона. Его жена Каролина, младшая сестра Наполеона, носила, в восприятии местных жителей, не слишком удачное имя; но, как и ее тезка в Палермо, была особой весьма энергичной, амбициозной и готовой править.

Остров Капри обычно не воспринимают как пятно, «пачкающее» ландшафт. Но для Иоакима и Каролины он был именно таким пятном. До сих пор удерживаемый Бурбонами, остров не выказывал ни малейшего намерения сдаваться; такого мнения, в частности, придерживался командир тамошнего гарнизона Хадсон Лоу (будущий тюремщик Наполеона на острове Святой Елены), который по прибытии на Капри приказал доставить ему «четыре дюжины шампанского, три дюжины трехлетнего бургундского, три дюжины четырехлетнего бургундского, шесть дюжин лучших вин вроде фронтиньяна^[148], а также любых других, что ценятся высоко». Увы, ему не пришлось насладиться этими запасами. В начале октября 1808 года французы напали на Анакапри. Лоу, гарнизон которого состоял исключительно из корсиканцев и мальтийцев, сумел продержаться две долгих недели, ежедневно ожидая появления фрегата «Эмбускейд» или любого другого английского военного корабля; но подмога не пришла, и 16 октября (при полных винных подвалах) он был вынужден сдаться.

Захват Капри не имел реального значения для сложившейся политической ситуации, зато позволил Мюрату устроить пышные торжества^[149] – и, что называется, подбросил дров в костер ненависти по отношению к британцам в груди Марии-Каролины. Ничто не могло поколебать ее стойкого убеждения в том, что Неаполь представляет собой пороховую бочку, готовую взорваться. «Не думаю, что вернуть Неаполь будет трудно, – писала она в апреле 1809 года. – Вся Италия жаждет объединиться и изгнать угнетателей». Насколько она ошибалась, стало очевидно через два месяца, когда небольшая британская эскадра под командой не желавшего этого похода сэра Джона Стюарта вошла в воды залива. Неаполитанцы никак не продемонстрировали готовности восстать. В одном из самых мелких морских сражений в истории – в нем участвовали один британский и один французский фрегат – британцы уступили; острова Искья и Прочида, ненадолго захваченные, пришлось спешно эвакуировать. Побитая экспедиция возвратилась на Сицилию.

Глава 13

Конец династии Мюратов

Мария-Каролина сильно привязалась к своему новому зятю. Умный и энергичный, он воплощал собою резкий контраст с удивительно «бесцветным» наследным принцем (среди главных увлечений которого секс уступил место разведению молочного скота) и оказал неоценимую помощь в улаживании отношений между королевой и сицилийскими баронами (тем она инстинктивно не доверяла). Ему даже удалось уговорить ее ввести кое-кого из представителей местной знати в правительство. Но с возрастом – в 1810 году ей исполнилось пятьдесят восемь – королева становилась все более деспотичной и подозревала всех вокруг. Она сама не предпринимала попыток замаскировать тот факт, что для нее Сицилия – этакий перевалочный пункт, куда двор удалился, пока Неаполь остается в руках врага; с другой стороны, она прекрасно понимала, что былые союзники-англичане утратили всякий интерес к восстановлению Неаполитанского королевства. Они стремились разве что сохранить независимость Сицилии – то есть, по сути, управлять островом самостоятельно. Мария-Каролина не могла примириться с тем, что они остались ее единственными союзниками и хорошие отношения с ними чрезвычайно важны.

Что касается соотечественников-австрийцев, те ее разочаровали. Шенбруннский договор, подписанный Австрией в октябре 1809 года, признавал все завоевания Наполеона – и тем

самым, по мнению королевы, «погубил Австрийский дом». Но худшее было впереди. Всего пять месяцев спустя Наполеон женился на старшей внучке королевы, эрцгерцогине Марии-Луизе. «Я попрощалась навсегда, – писала Мария-Каролина, – с моей родной страной, которую я так любила. Если тирана и его наложницу (ибо такова она есть) ожидает участь всех тиранов, что уготовано другим детям императора, кроме позора, вследствие этого постыдного союза?» Королева нисколько не рисовалась, потрясение было вполне искренним, но далее она (это вообще было для нее характерно), когда миновал первоначальный шок, попыталась использовать брак в собственных целях и вступила – уже не в первый раз – через свою внучку в тайную переписку с Наполеоном. О подобной «переменчивости настроений» королевы подозревали не только британцы; эти подозрения целиком разделял Иоахим Мюрат, который настойчиво отговаривал Наполеона от брака с Марией-Луизой, полагая, что брачный союз может помешать его вторжению на Сицилию, подготовка к которому шла полным ходом. Он исправно доносил о «слухах» своему господину, который – к немалому раздражению Мюрата – отказывался обращать на них внимание.

Реальность показала, что запланированное вторжение обернулось фиаско. В том не было ни малейшей заслуги Марии-Каролины с ее «махинациями»; истинная причина заключалась в том, что сам Наполеон опасался столкновения французской армии на Сицилии с британским флотом – который после Трафальгара был во много раз сильнее французского. Поговаривали даже, что генерал Поль Гренье, начальник штаба Мюрата и командир двух дивизий в Калабрии, получил строгий приказ – из Парижа, не из Неаполя – ни в коем случае не пересекать Мессинский пролив. Поэтому, когда отряд численностью 3000 неаполитанцев и корсиканцев высадился к югу от Мессины 18 сентября 1810 года, этому десанту не оказали никакой помощи с материка, и «инсургентам» пришлось поспешно отступить, потеряв 800 корсиканцев. Наполеон (по чьей вине это, похоже, во многом и произошло) впал в ярость и обрушился с бранью на своего зятя; Мюрат пытался оправдаться, но не преуспел, и к концу года отношения между родственниками заметно остыли.

То же самое можно сказать об отношениях между королевой и сицилийскими баронами. Последние были слишком хорошо осведомлены о том, с каким презрением королева относится к острову. 28 июля бароны обратились к британскому послу в Палермо лорду Амхерсту за помощью в предоставлении Сицилии конституции, «максимально схожей с конституцией Великобритании». Они прибавили, что собственной конституции острова было бы вполне достаточно, соблюдаясь она должным образом; увы, как Амхерст писал министру иностранных дел, лорду Уэлсли:

они жалуется, что король уже многократно и грубо нарушал установления, на которых зиждется власть короны, и что они никоим образом не защищены от тирании, каковая нисколько не сочетается с исходными свободами, издревле присущими населению Сицилии. Они заявили о намерении донести свои требования до короля посредством правового органа, то есть парламента, однако ожидают противодействие со стороны государя, преодолеть которое способно лишь вмешательство Англии; если же Англия откажется вмешиваться, ситуация побуждает их к восстанию и, возможно, в конечном счете приведет остров в объятия Франции.

Поскольку сам посол собирался в отставку, он завершил письмо советом Уэлсли наделить его преемника полномочиями так или иначе контролировать королеву, потребовать, чтобы неаполитанской армией командовал британский генерал, и настоять на том, чтобы в сицилийском правительстве были сицилийцы.

К тому времени уже было трудно поверить, что Мария-Каролина сохраняет здравость рассудка. Герцог Орлеанский и Мария-Амалия умоляли королеву проявлять терпимость и не обвинять в якобинстве всех, кто осмеливался с нею не соглашаться, но она, как всегда, не

желала ничего слушать. В июле 1811 года пятеро наиболее активных баронов, в том числе их главный представитель князь Бельмонте, были арестованы и высланы на различные малые острова за «стремление к нарушению общественного спокойствия». Луи-Филиппа тоже вызвали во дворец, но, опасаясь разделить судьбу баронов, он отказался идти. Его лошадь стояла под седлом на случай, если придется искать убежища в сельской местности, однако, по счастью, не понадобилась.

А потом у королевы наконец-то появился достойный соперник. Лорд Уильям Бентинк прибыл в Палермо через четыре дня после ареста баронов – в качестве посла при сицилийском дворе и в качестве главнокомандующего британскими силами на острове. Сын того самого третьего герцога Портленда, который дважды становился премьер-министром, он в двадцать девять лет сделался губернатором Мадраса, затем вернулся в Европу, чтобы принять участие в войне на Пиренейском полуострове, и был произведен в генерал-лейтенанты в тридцать четыре года после битвы при Корунье. Ныне ему было тридцать шесть лет. Он получил множество подробных инструкций от Амхерста и прочих дипломатов и, твердо настроенный игнорировать «бредни» Марии-Каролины, начал деятельность на новом поприще ровно так, как собирался продолжать. Но даже его, по-видимому, поразило стойкое неприятие, с каким королева отвергала любые его предложения. Через месяц после своего прибытия он вернулся в Лондон за более широкими полномочиями.

Шестнадцатого сентября, когда сэр Уильям находился далеко от Сицилии, королева перенесла апоплексический удар^[150]. Иные женщины в ее возрасте искали бы тишины и покоя для постепенного выздоровления: она же, едва позволило здоровье, вернулась за свой рабочий стол и вновь устремилась в бой. Крайняя слабость и регулярное употребление опиума помешали ей противостоять Бентинку, который вернулся на остров 7 декабря, с прежней энергичностью; но ее решительность вовсе не ослабла, и потому Бентинк предпочел больше не тратить время впустую. Он выдвинул короне свои требования и дал понять, что выделение ежегодной субсидии, которую выплачивали англичане, будет приостановлено, пока все эти требования не будут удовлетворены. Первым и наиболее важным среди них являлось условие передать ему верховное командование неаполитано-сицилийскими силами (личная инициатива Бентинка); другие включали возвращение Бельмонте и его соратников из изгнания и формирование нового правительства во главе с князем Кассаро. Ни король, ни королева не должны участвовать в управлении страной. Если последуют возражения, прибавил Бентинк, он без колебаний отошлет обоих монархов – и при необходимости наследного принца – на Мальту и передаст престол двухлетнему сыну принца, регентом при котором будет герцог Орлеанский. К счастью, последняя угроза возымела эффект; но Бентинк уже приказал британским частям в Мессине, Милаццо и Трапани идти на Палермо, когда 16 января 1812 года король официально передал полномочия своему сыну.

Новый правитель был далек от идеала. Аккуратный, методичный, вездливый бюрократ, добропорядочный муж и отец, он наверняка оказался бы умеренно компетентным управляющим местного банка, но не обладал ни политическим «чувством», ни мужеством, ни харизмой. Его инстинктивная осторожность, робость и «мелочность ума» часто доводили Бентинка до иступления; но все же этот новый монарх послужит намеченной цели.

Одним из первых действия князя-викария, как стал теперь именоваться наследный принц, поскольку он «замещал» своего отца, стало возвращение изгнанных баронов, причем трое из них немедленно получили посты в новом правительстве (князь Бельмонте стал министром иностранных дел). Важнейшей их задачей, подчеркивал Бентинк, было составить новую конституцию, по британскому образцу, и ликвидировать феодализм, этот давний бич сицилийской общественной жизни. Далее следовало избавиться от королевы. Ее здоровье ныне стремительно ухудшалось, но она упорно продолжала интриговать, на сей раз против нового правительства. Еще у нее развивалась мания преследования. «Французское

правительство убило мою сестру, – говорила она британскому консулу Роберту Фэйгану, – и я уверена, что ваше правительство намерено сделать то же самое со мною – вероятно, в Англии». Быть может, именно по этой причине она отчаянно стремилась остаться в Палермо, а муж и сын приняли ее сторону – не потому, что не возмущались ее поведением, как и все прочие, а просто потому, что они всегда подчинялись ей и не находили в себе сил отказаться от этой привычки.

Как-то Бентинк решил просить аудиенции у Фердинанда в надежде убедить короля «вразумить» супругу и объяснить, какой ущерб она наносит общему делу; но король наотрез отказал. Единственным каналом общения являлся королевский духовник, отец Каккамо, который охотно поведал об истинных чувствах Фердинанда к своей жене. Его величество, сказал он, постоянно пишет ей «Andate via, andate via!»^[151] и называет свой брак длительностью сорок четыре года «мученичеством». Но, как сформулировал духовник, «ему недостает решительности и мужества, чтобы прогнать жену с острова». Сын Фердинанда, князь-викарий, испытывал к матери схожие чувства.

Отношения принца с матерью отнюдь не были дружелюбными – скорее наоборот. Она никогда не простила ему принятие регентства, называла его революционером и предателем; когда вечером 26 сентября 1812 года он внезапно и тяжело заболел, первой ее реакцией стало не беспокойство о его здоровье, а требование немедленно подать в отставку. Симптомы болезни, как сообщал Бентинк министру иностранных дел Великобритании лорду Каслри^[152], наводили на мысль об отравлении – и «всеобщее подозрение пало на королеву. Это подозрение в полной мере разделял сам принц. Когда Бентинк предположил в разговоре с врачом, что болезнь могла спровоцировать необычно жаркая погода, пациент, дрожащий в лихорадке, воскликнул: «Ce n'est pa la chaleur, c'est ma mère, ma mère!»^[153]. Преднамеренное отравление доказать не удалось, но принц так никогда и не оправился; болезнь преждевременно превратила его в старика – согбенного, хромящего, серого лицом.

Между тем в июле 1812 года новая конституция была составлена и надлежащим образом обнародована. Ее пятнадцать статей гарантировали населению Сицилии автономию, которой остров никогда прежде не пользовался. Исполнительную и законодательную власть строго разделили, феодальные практики, которым остров следовал семь столетий, наконец-то отменялись. Все это оказалось, однако, удивительно хорошими новостями для Бурбонов – по крайней мере, в Неаполе. В городе усиливались антифранцузские настроения, поскольку Мюрат вел себя как диктатор, а Фердинанд (пусть в это сложно поверить) в представлении горожан являлся просвещенным конституционным монархом. В сельской местности конституция была гораздо менее популярной; многие попросту не могли понять, для чего она нужна. Бароны, голосовавшие за нее, тоже в большинстве своем тосковали о полномочиях и привилегиях, исчезнувших навсегда.

Пятого января 1813 года Мария-Каролина предприняла последнюю отчаянную попытку спасти монархию (какой та виделась ей). Тайно встретившись с мужем в его охотничьем домике возле Фикуццы, она призвала Фердинанда отменить новую конституцию, «громоздкий инструмент, лишивший нас власти» и снова взять бразды правления в свои руки. Король, как обычно, повиновался и по возвращении в Палермо 6 февраля решил действовать. Его подданные были в восторге. Сообщалось, что, несмотря на сильный дождь, более ста экипажей выехали ему навстречу за три мили от города и что огромная толпа ждала монарха, чтобы приветствовать его на дворцовой площади. 9 марта Фердинанд объявил о своем намерении восстановить королевскую власть на Сицилии, и после церковной службы на следующее утро горожане попытались выпрячь лошадей и сами повезти его карету. Ни праздность Фердинанда, ни его бесконечные отлучки явно не уменьшили любовь народа к монарху.

Но подобной любви было уже недостаточно. В глазах Бентинка Сицилия стремительно скатывалась к хаосу. Когда он обратился к королю два дня спустя, о дипломатическом

этикету и даже о простой вежливости было забыто. Разгневанный сэр Уильям сообщил Фердинанду, что отныне расценивает короля как врага Англии наряду с королевой. «Ваше величество пожалеет о своем поведении», – заключил он. Король, который ненавидел скандалы и всегда изрядно расстраивался, удалился к себе, сославшись на внезапную сильную мигрень; но тут к нему прорвался губернатор Палермо и принес тревожные новости: 8000 британских солдат вошли в город и заняли основные стратегические пункты. Одновременно бароны, по понятным причинам разъяренные «выкрутасами» Фердинанда, грозили устроить мятеж, если королева не покинет Сицилию, а сам король не поклянется соблюдать одобренную ими конституцию.

Словом, Фердинанд был готов, что называется, сорваться с поводка. 16 марта состоялась продолжительная беседа с герцогом Орлеанским. Луи-Филипп тоже отказался заступаться за тестя и напомнил тому, что Бентинк в текущем настроении представляет собою прямую и явную угрозу. Если король позволит, чтобы сложившаяся ситуация переросла в войну, все договоренности с Англией окажутся недействительными; единственным законом, который станут соблюдать, будет закон военного времени, и к Сицилии станут относиться как к любой другой завоеванной территории. Король возразил, что у него нет никаких иллюзий. Кризис имел катастрофические последствия для его здоровья; он не мог ни есть, ни спать. «Возможно, лорд Уильям и вправду прибудет со своими войсками, расставит пушки на площади и выпалит картечью по моим окнам. О, Иисус и Мария! Только этой канонады мне еще не доставало, в придачу ко всему!»

На следующий день он сдался. В письме к своему сыну он восстановил викариат и пообещал не предпринимать никаких самостоятельных действий без согласия британцев. Теперь требовалось утихомирить королеву. Та удалилась в Кастельветрано на крайнем западе острова, где (нужно ли уточнять?) занялась подготовкой восстания. С Бентинка было уже достаточно. Он отправил в Кастельветрано своего заместителя, генерала Роберта Макфарлейна, с отрядом в 5000 человек. Мария-Каролина встретила генерала с обычным апломбом и назвала Бентинка «*quella bestia feroce*»^[154]. Макфарлейн несколько не смутился, хотя позже вспоминал, что королева была ужасна в своей ярости; тем не менее она потерпела поражение – и сама это понимала. Она написала Бентинку гордое и страстное письмо, где утверждала, что решила уступить лишь ради своего мужа и семьи, и требовала щедрой финансовой компенсации в размере миллиона фунтов стерлингов. А потом она начала готовиться к отъезду.

Несколько месяцев назад она уже списалась со своим зятем, австрийским императором, добиваясь от него разрешения вернуться в Вену. Эту просьбу не одобрили – князь Меттерних, министр иностранных дел, горячо убеждал Леопольда ни в коем случае не принимать «эту коварную интриганку», которая никогда не перестанет строить козни, – однако император, в целом соглашаясь, не мог просто отказать. Поэтому королева планировала сначала отправиться в Константинополь со своим сыном, тоже Леопольдом, на борту британского фрегата «Юнити» (этот фрегат предоставил в ее полное распоряжение Бентинк, заодно с двумя линейными кораблями для защиты от алжирских пиратов, что бесчинствовали в Центральном Средиземноморье). Эскадра отплыла из Мадзары 14 июня. Спустя две недели корабли достигли острова Закинф в Ионическом море и в конце концов 13 сентября пришли в Константинополь. Там королева наняла торговое судно до Одессы, где ей пришлось провести в карантине больше двух месяцев.

Путешествие затягивалось и доставляло неприятности, но худшее было еще впереди. В начале девятнадцатого столетия Восточная Европа могла похвастаться весьма малым количеством постоянных дворов, и, разумеется, ни один из них не подходил для королевы и ее свиты. К счастью, польская аристократия вполне могла обеспечить гостеприимство на протяжении большей части пути; но позднее у королевской кареты лопнула ось и экипаж перевернулся, а задолго до окончания ремонта погода резко ухудшилась. Через час или два все вокруг замело снегом. В конце концов кров удалось отыскать в крестьянской лачуге.

«Лишь королева, – вспоминал очевидец, – выказывала спокойствие и добродушие, шутила по поводу происшествия и... играла с крестьянскими детьми, а их родителям задавала через переводчика несколько доброжелательных вопросов».

Мария-Каролина прибыла в Вену 2 февраля 1814 года. Меттерних велел ей не подъезжать к императорскому двору ближе шести миль, но она проигнорировала этот запрет. «Поглядим, посмеют ли они прогнать последнюю дочь Марии-Терезии из Шенбрунна», – сказала она. Никто этого сделать не посмел, и королева с сыном поселились в Хетцендорфе, всего в двух с половиной милях от дворца. Это обстоятельство, увы, вовсе не подразумевало хоть какого-либо улучшения отношений с ее зятем-императором. Утомленный ее постоянными жалобами и вечным самолюбованием, император избегал встречаться с тещей, насколько это было в человеческих силах; да и сама она отнюдь не рвалась увидеться с человеком, который признал Мюрата правителем Неаполитанского королевства и поклялся его поддерживать. Когда ее внучка Мария-Луиза вернулась в Вену в мае, отказавшись сопровождать мужа на Эльбу, она удостоилась холодного приема у королевы – не потому, что вышла замуж за Наполеона, а потому, что бросила супруга. Королева была прекрасно осведомлена о том, какие усилия приложил отец Марии-Луизы, дабы уговорить дочь поступить именно так; тем не менее она во всеуслышание заявляла, что Мария-Луиза должна вернуться к мужу, если необходимо, связав простыни в веревку и сбежав из дворца. «Я бы повела себя так на ее месте, – прибавила она. – Когда выходишь замуж, это навсегда».

Разобравшись с обоими, королем и королевой, и даровав Сицилии замечательную новую конституцию, Бентинк, который никогда не забывал, что был и остается солдатом, решил принять свежепоступившее предложение присоединиться к армии Веллингтона в Каталонии. Краткая кампания не принесла успеха и никоим образом не способствовала его репутации военачальника. 12 сентября 1813 года он потерпел сокрушительное поражение от армии наполеоновского маршала Суше и вскоре был вынужден отказаться от командования и вернуться на Сицилию, куда прибыл 3 октября. Вскоре он понял, что ему вовсе не следовало уезжать с острова. Бентинк писал лорду Каслри:

Я убежден в безоговорочной слабости наследного принца и в недееспособности любого числа людей, которые могут быть поставлены во главе правительства; равно я убежден в невежестве и развращенности местного населения, вследствие чего невозможно для британской политической власти куда-либо отлучаться отсюда.

По возвращении он вновь обнаружил остров в состоянии хаоса. Велись жаркие споры относительно конституции, полный текст которой еще не опубликовали. Бельмонте, которого сэр Уильям однажды назвал «главной надеждой страны», порвал со своим дядей и бывшим соратником князем Кастельнуово, что привело к расколу их движения. В парламенте между тем спорадические попытки «приструнить» цены вызывали такое негодование, что бури протеста выплескивались на улицы Палермо и других городов. По счастью, британские войска на Сицилии быстро навели порядок; двоих зачинщиков народного недовольства схватили и повесили. Помимо всего прочего, вспышку смертоносной чумы зафиксировали на Мальте, и стали расползаться слухи, будто англичане намереваются сознательно ввезти болезнь на Сицилию.

Бентинк понял, что ему не остается ничего другого, кроме как восстановить свои диктаторские полномочия. Он объявил, что ни в коем случае не является приверженцем деспотизма, однако в подобных условиях деспотизм предпочтительнее анархии. Был разогнан парламент (князь-викарий послушно подписал указ), сформировали новое правительство и опубликовали указ, гласивший, что всех «возмутителей общественного спокойствия, убийц и других противников конституции» будут карать в соответствии с требованиями военного положения. Затем Бентинк отправился в долгое путешествие по острову, впервые посетил все крупные города и всюду растолковывал колоссальные выгоды

конституции. По завершении этого «турне» он перебрался на материк, дабы «решить проблему» Иоахима Мюрата.

Последнему пришлось принимать несколько непростых решений. После поражения при Лейпциге 16 октября 1813 года Наполеон явно утратил полноту власти; если Мюрат намеревался сохранить свое королевство (а такое намерение у него имелось), следовало найти нового союзника; сам он почти не сомневался в том, кто должен стать этим союзником. Поэтому он откровенно обрадовался, когда, ближе к концу года, князь Меттерних направил своего посла, графа Найпперга, обсудить будущее сотрудничество и, если получится, согласовать основные положения мирного договора. Предложение австрийцев выглядело действительно заманчиво: если Мюрат перейдет на сторону союзников, Австрия не только гарантирует ему сохранение трона, но и поддержит его притязания на венец Итальянского королевства. Единственным, кто мог бы возражать против этого плана, была его жена Каролина, приходившаяся сестрой Наполеону. С другой стороны, она также была любовницей Меттерниха и хорошо сознавала, как говорится, с какой стороны хлеб намазан маслом. Посему она публично одобрила соглашение, и 11 января 1814 года Австрия подписала мирный договор с Мюратом. В секретном приложении к договору Мюрат отказывался от всяких притязаний на Сицилию, тогда как Австрия обещала сделать все возможное, чтобы убедить короля Фердинанда отказаться от своих претензий на Неаполь.

То ли потому, что ему была ненавистна мысль о присутствии австрийцев в Италии, то ли из-за того, что презирал Мюрата за его отступничество, Бентинк не скрывал своего негативного отношения к этому договору. Плачевно видеть, писал он, «что подобные преимущества и привилегии достаются человеку, вся жизнь которого – сплошное преступление, который был активным сторонником Бонапарта на протяжении многих лет, а потом бросил своего благодетеля на произвол судьбы ради удовлетворения собственных амбиций и под давлением необходимости». Но лорд Каслри приказал провести переговоры о мире между Сицилией и Неаполем, и Бентинк, конечно, подчинился – хотя и был достаточно осторожен, чтобы избегать в документе формулировок, каковые могли счесть фактическим признанием за Иоахимом Мюратом статуса короля. На самом деле, вероятно, Мюрата это вряд ли заботило; его взор был устремлен куда выше – к цели сделаться монархом всего Апеннинского полуострова. Когда он выступил со своей армией на север, дабы присоединиться к союзникам, его солдаты раздавали во всех деревнях, через которые они проходили, листовки с призывом к итальянскому народу сплотиться под знаменем Мюрата. Между тем королева Каролина, оставленная регентом, проявила себя значительно более суровой противницей французов, чем ее муж. Он старательно уклонялся от сколько-нибудь близкого контакта с французской армией; она, с другой стороны, изгнала из королевства всех французских чиновников и закрыла неаполитанские порты для французского судоходства.

Тут Бентинк серьезно превысил свои полномочия. Отринув всякую дипломатическую маскировку, он открыто поддержал стремление итальянцев к независимости, высадился с многочисленным англо-сицилийским отрядом в Ливорно и оттуда выпустил прокламацию, призывавшую всех итальянцев отстаивать право на свободу. 15 марта Бентинк и Мюрат столкнулись в Реджо-Эмилии. Сэр Уильям пригрозил, что если Мюрат не выведет немедленно свои войска из Тосканы, он, Бентинк, изгонит тех самостоятельно, восстановит на троне великого князя Фердинанда III и вторгнется в пределы Неаполитанского королевства под стягом Бурбонов. Не давая Мюрату времени на ответ, он повел свой отряд вдоль побережья к Генуе, где французский гарнизон мгновенно сдался. По собственным словам Бентинка, он возродил старую республику; если верить генуэзцам, те сделали это сами; в любом случае, наполеоновская империя лишилась очередного владения.

Темп перемен убыстрялся. 31 марта союзники вступили в Париж; 2 апреля появился «Acte de déchéance de l'Empereur»^[155], которым провозгласил свержение Наполеона. В тот же день он отрекся от престола в пользу своего малолетнего сына и назначил Марию-Луизу регентом;

но союзники отказались принять такую расстановку сил, и безусловное отречение последовало два дня спустя. 23 апреля Мария-Амалия записала в своем дневнике:

Мой муж внезапно ворвался в мои покои с криком «С Бонапартом покончено! Людовик XVIII на троне, я улываю на корабле, который прислали за мной». Я пала без чувств в его объятия.

Луи-Филипп поспешил передать новость своему тестю. Фердинанд залился слезами, это были слезы радости и облегчения. Он уже предвкушал свое возвращение в Неаполь. Князь Бельмонте публично заявил, что с падением Наполеона нет никаких причин для короля оставаться без трона. Понимая, что минул всего год с тех пор, как он пообещал британцам не предпринимать ничего без их согласия, Фердинанд решил, что называется, соблюсти приличия и испросить разрешения у Бентинка. Сэр Уильям лично освободил короля от клятвы годичной давности, и 4 июля Фердинанд вернулся в свою столицу, встреченный всеобщим ликованием. Но лорда Бентинка среди встречающих не было. Его своевольные действия не остались незамеченными, и по воле британского правительства двенадцать дней спустя он покинул Сицилию навсегда.

Мария-Каролина, естественно, была вне себя от радости, когда пришла весть о триумфальном возвращении ее мужа в Неаполь. Несмотря на тяготы путешествия в Вену, она захотела поскорее вернуться на Сицилию, чтобы разделить этот триумф; договорились, что в Триест немедленно отправится достойное королевы судно. Увы, плавание оказалось напрасным. Незадолго до полуночи 7 сентября 1814 года горничная подумала, что королева ее зовет, и вошла к ней. Ее хозяйка лежала на полу в бессознательном состоянии, протянув руку к колокольчику для вызова прислуги. Королеву настиг новый удар, на сей раз со смертельным исходом. Она умерла в возрасте шестидесяти двух лет.

Реакция на смерть королевы в Вене и в Палермо представляет любопытный контраст. В Вене уже происходил конгресс союзных наций; балы поэтому устраивались почти каждую ночь. Двор скорбел – но и только. Министр иностранных дел Франции Талейран^[156] писал Людовику XVIII: «О королеве Неаполя едва ли вспоминают. Ее смерть, кажется, доставила изрядное облегчение мсье де Меттерниху». В Палермо, с другой стороны, все театры закрылись на месяц, а официальный траур длился полгода. Поминальные мессы служили в каждом городском храме. В Неаполе Мюраты, получив это известие, приостановили формальный прием. Что касается Фердинанда, тот повел себя не слишком сообразно обстоятельствам. 27 ноября, когда не прошло и трех месяцев после смерти супруги, шестидесятитрехлетний король женился на своей давней любовнице, сорокачетырехлетней принцессе Партаннской, которая ныне, по некоей сицилийской причуде, сделалась герцогиней Флоридийской. Несмотря на семерых детей, которых родила своему покойному мужу, она, если верить слухам, бродившим по Палермо, щедро расточала свою благосклонность; наследный принц, в частности, не скрывал своего неодобрения, чем заслужил знаменитую отповедь отца: «Penza a Mammeta, figlio mio, penza a Mammeta!»^[157] Но после Марии-Каролины принцесса-герцогиня казалась глотком свежего воздуха – она всегда улыбалась, охотно смеялась, не выказывала ни малейшего интереса к политике и дарила Фердинанду – по всеобщему мнению – подлинное счастье.

Немалое напряжение возникло в том числе и для тех, кто состоял в делегациях Венского конгресса, в конце февраля 1815 года, когда Наполеон бежал с Эльбы, собрал армию (преимущественно из солдат Людовика XVIII, отправленных его остановить) и триумфально вступил в Париж. Заметным исключением оказался Иоахим Мюрат, который немедленно переметнулся на сторону бывшего повелителя, ибо увидел (или ему почудилось) возможность создания объединенной Италии – разумеется, с собою в качестве ее короля. Располагая армией примерно в 40 000 штыков, он пошел на Милан, в очередной раз призывая всех итальянских патриотов под свои знамена. На этот призыв никто не

откликнулся. Люди устали воевать. Кое-кто одобрительно покивал – но и только. Австрийцы поначалу отступили, поскольку их силы в этой местности были малочисленными; но в апреле они перешли в наступление и 3 мая при Толентино дали Мюрату генеральное сражение. Мюрат воевал, как обычно, доблестно, однако он безнадежно уступал врагу в численности, потерял 4000 человек и всю артиллерию и был вынужден оставить поле боя. Через две недели, обескураженный, он вернулся в Неаполь.

Его жена Каролина старалась сплотить и уберечь город. Как и сам Мюрат, она никогда не страдала дефицитом мужества. Англо-сицилийский флот под началом коммодора сэра Джорджа Кэмпбелла бросил якорь в заливе, угрожая бомбардировкой, а городские лаццарони становились все беспокойнее, тоскуя по королю, который говорил на одном с ними языке и был для этой публики одним из них. Каролина отказывалась покидать город и ежедневно проезжала по улицам, дабы показать, что она все еще владеет ситуацией. На самом деле она, как и ее муж, понимала, что «великое приключение» закончилось. Оставалось лишь надеяться на такое соглашение с союзниками, которое позволит им сохранить хотя бы остатки чести и достоинства. 20 мая в Казаланце близ Капуи был подписан договор, который предусматривал возвращение Фердинанда на трон Неаполитанского королевства; тот помиловал бывших врагов, военных и политических, и как бы начал правление с чистого листа.

Мюрата не было среди тех, кто поставил свою подпись под документом. Он снял свой великолепный мундир и в скромной гражданской одежде, в сопровождении нескольких офицеров и камердинера, выехал из города накануне. К тому времени его жена, с четырьмя детьми и двумя гувернантками-англичанками, уже находилась на борту «Тремендоуса» коммодора Кэмпбелла и плыла в Триест. По словам одной из гувернанток, мисс Кэтрин Дэвис, Каролине «позволили забрать из дворца все, что она сочтет необходимым». Это необходимое включало в том числе «любимую однорогую корову, носившую имя Каролина в честь правительницы, чтобы она могла поить детей молоком в ходе плавания». Бывшей королеве предстояло перенести еще одно унижение, прежде чем она покинула неаполитанские воды: на выходе из залива «Тремендоус» разошелся с кораблем короля Фердинанда. Кэмпбелл не стал скрывать от Каролины данное обстоятельство и объяснил, что должен дать его величеству салют из двадцати одной пушки («без этой церемонии, – позже прокомментировала Каролина, – мы вполне могли бы обойтись»).

Между тем Неаполь предавался ликованию. Принц Леопольд прибыл 22 мая из Вены; когда он отправился вознести благодарность покровителю города святому Дженнаро – чье изображение предсказуемо начало кровоточить, как нельзя более вовремя, – очевидцев поразила простота одяния принца (они успели привыкнуть к опереточному блеску мундиров Мюрата). Это изумление в полной мере разделил двор, который наблюдал за преобразованием королевского дворца, произведенным Каролиной; дворец заполняли мебель и картины, которые она привезла из Елисейского дворца в Париже – и не задумываясь бросила ради собственного спасения^[158].

Седьмого июня Фердинанд высадился в Портичи, после сильного шторма, который он в шутку приписал козням Каролины. Король радовался, словно ребенок, то смеялся, то плакал, и пообещал возвести большую церковь в честь святого Франциска из Паолы, который, по легенде, раскинул свой плащ, точно парус, и данным чудесным способом пересек пролив между Калабрией и Сицилией^[159]. Официальное вступление в Неаполь оказалось не менее трогательным: огромная толпа приветственно махала и ликовала, а по королевским щекам бежали слезы. Очевидная и искренняя радость Фердинанда была неаполитанцам куда милее всей утонченности Иоахима Мюрата; вот перед ними, наконец-то, их законный король, которого они знали и любили более полувека. Менее двух недель спустя, 19 июня, появление Фердинанда в королевской ложе (оперный театр Сан-Карло специально украсили и осветили) было встречено оглушительной овацией.

Ликование, пожалуй, сделалось бы еще более бурным, прознай кто-либо о событии, случившемся накануне. Наполеон Бонапарт потерпел поражение при Ватерлоо. Оставалась лишь тень бывшего наполеоновского владычества: Мюрат, который бежал на Корсику. В начале октября он высадился в Калабрии, в маленьком порту Пиццо. Почему он продолжал верить, будто ему довольно показаться народу, чтобы все вокруг кинулись его поддерживать, мы вряд ли поймем; так или иначе, в одиннадцать часов утра в воскресенье он высадился в Пиццо в очередном роскошном мундире и призвал следовать за собой. Как и следовало ожидать, призыв обернулся катастрофой. Мюрата арестовали, продержали несколько дней в замке, что господствовал над городом, судили по обвинению в разжигании гражданской войны и в выступлении с оружием против законного короля и 13 октября расстреляли в главном зале замка. Он встретил конец, как сообщалось, с образцовой храбростью, отказался от табурета и от повязки на глаза – и сам отдал команду стрелять.

Глава 14

Карбонарии и Quarantotto

Окончательное возвращение в Неаполь позволило королю наконец-то озаботиться собственным титулом. Он именовался одновременно Фердинандом III Сицилийским и Фердинандом IV Неаполитанским, что смущало умы и сбивало подданных с толку. 8 декабря 1816 года он официально принял титул Фердинанда I, короля Обеих Сицилий. Как мы уже видели, не было ничего принципиально нового в этой концепции, которая возникла в свое время благодаря упорству Карла Анжуйского, который продолжал претендовать на титул короля Сицилии даже после того, как остров отошел короне Арагона после Сицилийской вечерни. Кроме того, Венский конгресс постановил, что королевство Обеих Сицилий в дальнейшем должно действовать как единое государственное образование. На самой Сицилии это постановление встретили не то чтобы радостно – ведь из него вытекали отмена, после всего четырех лет действия, сицилийской конституции и теоретической независимости острова; а в будущем данное решение сулило (далеко не впервые в истории) превращение Сицилии в провинцию Неаполя. С финансовой точки зрения отъезд двора из Палермо тоже нанес острову тяжелый удар. Торговля расширялась в значительной степени, количество иностранных предпринимателей (львиную долю среди них составляли британцы) неуклонно росло, но теперь многие из них поспешили перебраться на материк. Британское коммерческое влияние ныне ощущалось в основном лишь в двух ключевых отраслях – виноторговле (в западной Сицилии, вокруг города Марсала) и добыче серы, которая становилась все важнее по мере развития промышленной революции.

В конце апреля 1819 года император и императрица Австрии прибыли в Неаполь с официальным визитом. Францу I^[160] исполнился пятьдесят один год. Его вторая жена Мария-Тереза, старшая дочь Фердинанда и Марии-Каролины, умерла в 1807 году, принеся мужу двенадцать детей^[161]; теперь Франца сопровождала четвертая жена, дочь короля Баварского (они были женаты всего два с половиной года). При них, как всегда, был министр иностранных дел Австрии князь Меттерних. Фердинанд вместе со своим сыном Леопольдом, ныне принцем Салернским, который несколько опрометчиво женился на собственной племяннице и внучке императора Марии-Клементине^[162], встретил гостей в порту Гаэта; бывший наследный принц и его жена, ставшие герцогом и герцогиней Калабрийскими, ожидали во дворце. В честь гостей устроили экстравагантные празднества – среди прочих особняком стоит колоссальный пир на тысячу с лишним персон в Каподимонте; словом, поговаривали, что король своей расточительностью превзошел даже Мюратов. Другие памятные события включали в себя полет на воздушном шаре четырнадцатилетней девочки мадемуазель Сесилии (не очень-то удачный: ее позднее привезли обратно с расстояния в несколько миль, едва не задохнувшуюся от дыма горелки; а вот итог прыжка с парашютом, о

котором сэр Гарольд Актон записал, что «за борт спустили некое неопознаваемое четвероногое», остался, к сожалению, без внимания очевидцев).

Именно сейчас в нашей истории возникает замечательный персонаж, могучий калабрийский генерал по имени Гульельмо Пепе. Родившийся в 1783 году, Пепе сначала воевал против *Sanfedisti* кардинала Руффо, был схвачен и изгнан во Францию, где присоединился к армии Наполеона, а в дальнейшем выказал себя убежденным бонапартистом, сражался за Жозефа Бонапарта и Иоахима Мюрата и командовал неаполитанской бригадой в ходе войны в Испании. Он мужественно дрался под знаменем Мюрата при Толентино и весьма неохотно согласился с договором в Казаланце, по условиям которого за ним сохранялся выслуженный армейский чин. Всю свою жизнь он сражался против Бурбонов, и было слишком поздно менять верность. Поэтому он, ведя ожесточенное преследование разбойников в Капитанате^[163], одновременно пытался сплотить неорганизованную массу из недовольных итальянцев в союз *carbonari*, то есть «углежогов», и сколотить из карбонариев национальное ополчение.

Карбонарии были организованы (насколько тут вообще можно рассуждать об организованности) по принципу масонского общества, делились на мелкие тайные ячейки, разбросанные по всему полуострову. Даже цели ячеек могли сильно различаться: одни поддерживали республиканцев, другие предпочитали конституционную монархию; впрочем, их объединяла ненависть к абсолютизму, Бурбонам, австрийцам и папству. Все (или почти все) они грезил независимой, либеральной и объединенной Италией. В 1814 году они отстаивали сицилийскую конституцию и были за свое усердие объявлены вне закона папой; в 1817 году их стараниями начались мятежи и бунты в Папской области. По воспоминаниям Пепе (которые не кажутся абсолютно достоверными), он планировал воспользоваться военным парадом в честь императора в Авеллино, где предполагалось задействовать свыше 5000 человек, чтобы захватить императорскую и королевскую семьи и потребовать за них выкуп. Результат подобного выступления, удайся эта затея, сложно себе представить; к счастью, императора и короля предупредили в последний момент – не о заговоре, а просто о том, что дорога в Авеллино находился в отвратительном состоянии и вполне может оказаться непроезжей. Поэтому монархи отказались от идеи побывать на параде и вернулись в Неаполь.

Некоторое время ряды карбонариев быстро пополнялись; если верить Пепе, их насчитывалось более четверти миллиона в одной только Италии, и можно не сомневаться, что Сицилия, с ее долгой историей подпольной деятельности и бандитизма, сполна внесла свою лепту. Общее ощущение разочарования после Наполеоновских войн усугублялось «скукой повседневности» в тех же войсках – полезных занятий не осталось, продвижение по службе опять сделалось медленным. Неудивительно, что столь многие военные устремились в ложи карбонариев. Вдобавок движение постепенно, если можно так выразиться, сфокусировалось, его цели стали яснее; первой из этих целей была задача убедить короля дать стране конституцию. В текущей ситуации это виделось трудновыполнимым; британский посол сэр Уильям Экурт докладывал, что «Неаполь медленно и исподволь движется к обретению силы и значимости, какими никогда прежде не обладал»; один из военачальников Фердинанда, генерал Пьетро Коллета, служивший при Мюрате, но, как и Пепе, получивший разрешение сохранить свое звание, был еще откровеннее:

Правители доброжелательны, финансы в порядке, ведутся общественные работы и процветает благотворительность, государство стабильно и счастливо, будущее кажется совершенно безоблачным; Неаполь принадлежит к числу наилучшим образом управляемых королевств Европы и сумел уберечь и осуществить на практике большую часть тех новых идей, ради которых было пролито столько крови.

Можно было бы сказать, что оба наших источника страдали предубеждением; но то же самое было верно в отношении большинства карбонариев. Неаполь, тут нет сомнений, отнюдь не мнился воплощенным земным раем, но он обладал одним существенным преимуществом перед прочими абсолютными монархиями – местный король пользовался любовью народа. Как отмечал будущий начальник полиции, заговорщики, вероятно, ограничились бы отдельными выступлениями и развешиванием подстрекательских плакатов, – но вмешалась Испания, которая воодушевила их на продолжение борьбы.

Был он сыном короля Карла IV или любовника своей матери Мануэля де Годоя, король Фернандо VII Испанский оказался настоящим бедствием на троне. Наполеон заставил его отречься от престола вместе с отцом в мае 1808 года, но в декабре 1813-го – когда император еще ощущал последствия поражения под Лейпцигом двухмесячной давности – Фернандо подписал Валансенский договор, позволивший ему вернуться в Испанию. Он почти мгновенно отменил конституцию и стал править страной посредством малочисленной камарильи фаворитов, причем менял министров каждые несколько месяцев. Германский государственный деятель Фридрих фон Генц писал в 1814 году, что «король лично врывается в дома своих премьер-министров, арестовывает их и передает в руки врагов». Шесть недель спустя фон Генц записал: «Король настолько унизил себя, что превратился в обыкновенного полицейского агента и главного тюремного надзирателя своей страны».

К 1820 году страна решила, что с нее достаточно. 1 января взбунтовалась армия, во главе бунта стоял военачальник Рафаэль дель Риго. Начавшись в Галиции, мятеж быстро распространился по всей Испании. 7 марта войска окружили королевский дворец в Мадриде, 10 марта Фернандо капитулировал. Мятежникам следовало бы избавиться от него прямо там и тогда, но они – видимо, в приступе безумия – захотели дать королю еще один шанс. В итоге он оставался у власти до 1833 года и на нем лежит ответственность за трехлетнюю деспотию террора, ужаснувшую подданных. Среди жертв террора был и дель Риго, которого повесили на Пласа-де-ла-Себада. Последние десять лет правления короля известны как «Зловещее десятилетие»; была введена суровая цензура, университет реорганизовали фактически по средневековым образцам, всякая оппозиция подавлялась, а реакционный абсолютизм торжествовал.

Иными словами, мятеж не увенчался успехом. Зато он вдохновил итальянских карбонариев. Даже в этих условиях они не торопились; лишь 1 июля крохотное восстание (в нем участвовало чуть больше ста человек) вспыхнуло в Авеллино. Новости достигли Неаполя одновременно с возвращением герцога Калабрийского и его жены из Палермо, где герцог добросовестно и с полного одобрения островитян исполнял обязанности вице-короля с 1815 года. Король, всегда радовавшийся в окружении своих детей, не сильно обеспокоился, однако возразил – к счастью, как выяснилось, – когда его министры предложили отправить генерала Пепе «уладить проблемы». Пепе оставался в Неаполе вплоть до 5 июля, когда он покинул город во главе полуроты пехоты и семидесяти драгун; по прибытии в Авеллино он немедленно принял на себя командование повстанческими силами. Затем издал прокламацию, гласившую, что он и его люди не сложат оружия, пока король не подпишет конституцию. Поскольку на тот момент всякая конституция отсутствовала, испанскую выбрали произвольно в качестве образца; то обстоятельство, что никто из карбонариев на самом деле ее не читал, не вызвал, похоже, серьезных затруднений.

В ночь отъезда Пепе отряд карбонариев прибыл в полночь к королевскому дворцу и потребовал встречи с королем. После долгих переговоров они довольствовались беседой с секретарем, герцогом Асколи, который заверил, что его величество уже решил даровать стране конституцию. Но карбонарии предупредили, что у монарха в распоряжении всего два часа. Поскольку был час ночи, данное условие выглядело несколько неразумным; так или иначе, рано утром король опубликовал указ, суть которого сводилась к тому, что государь согласен на конституционное правительство, а подробности нового государственного устройства будут обнародованы в течение недели. Увы, это было чересчур долго.

Мятежники требовали конституцию «как у испанцев и прямо сейчас». Поэтому появился следующий указ; король подписал документ о формировании нового правительства. В кабинет вошли и некоторые из тех, кто служил Мюрату.

По замечанию австрийского посланника, князя Яблоновского, революцию можно было ожидать скорее на Луне, чем в Неаполе; как писал Экурт, «королевство в высочайшей степени процветающее и счастливое под мягким управлением, отнюдь не угнетенное бременем налогообложения, в мгновение ока рухнуло перед горсткой повстанцев, которую разогнала бы половина батальона крепких солдат». Он прибавлял: «Едва ли две недели минуло с той поры, когда меня заверяли, король и генерал Наджент^[164], что на армию можно положиться, от генерала до последнего солдата».

Следующий шаг предпринял уже Пепе, который заявил, что торжественно въедет в Неаполь 8 июля. На самом деле он задержался на сутки и прибыл в город 9-го, приведя с собою около 14 000 человек – первыми шли регулярные войска, затем карбонарии. Английский очевидец Ричард Кеппел Крейвен наблюдал происходившее в Неаполе воочию и оставил подробное описание:

Зрелище, представленное радениями провинциального ополчения, было поистине уникальным до невероятности; все они были чрезвычайно грозно вооружены, но их оружие различалось в той же степени, как и одеяния: лишь немногие выступали в военных мундирах, большая же часть облачилась в различные костюмы, соответствующие привычкам мест проживания, зато, вне сомнения, весьма и весьма воинственные. Следует признать, что патронташи, сандалии на ногах, ножи с широким лезвием, короткие мушкеты и серые островерхие шляпы, столь причудливо и своевольно преобразованные художниками в наряд типичного разбойника, здесь как будто олицетворяли все идеи и мысли, имеющиеся у жителей Севера относительно подобных персонажей; а загорелые лица, густые темные волосы и усы вносили немалый вклад в придание дополнительного сходства реальных людей с героями картин...

Почти все эти люди отсутствовали дома девять дней, на протяжении которых они ни разу не спали в кровати или даже под крышей, но все они, казалось, пребывали в отменном расположении духа и в прекрасном настроении и явно полагали, что судьба достойно вознаградила их все трудности, какие им довелось испытать, и успех к ним все-таки пришел.

Король между тем (как было у него заведено в минуты кризиса) удалился в постель, хотя даже это не избавило его от визита генерала Пепе, причем визит, насколько можно судить, сопровождался громогласными обвинениями с обеих сторон. Но 13 июля король принял вертикальное положение и в королевской часовне принял конституционную присягу.

В Вене сообщения об этих событиях были встречены с большой тревогой. Считалось, что подобные бунты могут оказаться заразными; возможно, например, что восстание в Неаполе было вызвано «инфекцией», занесенной из Испании. Быть может, налицо серьезный риск того, что она может распространиться далее, если этого вовремя не предотвратить. Князь Меттерних, конечно, думал именно так и 25 июля объявил о своем намерении подавить восстание – при необходимости, оружием. Его мнение разделял русский царь Александр I; была созвана конференция союзников Австрии – помимо России в ней участвовали Англия, Франция и Пруссия – в ближайшем октябре в городе Троппау в Силезии^[165]. В Британии лорд Каслри был против любых действий, которые превратят союзников в «вооруженную охрану всех престолов»; Франция колебалась; поэтому лишь три восточные автократические державы поставили свои подписи под протоколом конференции. Перед отъездом они решили встретиться снова в январе, на сей раз в Лайбахе, теперь более известном как словенская Любляна; на новую встречу было решено пригласить короля Фердинанда. Такое приглашение, по мнению великих держав, давало королю шанс спастись.

Сам король Фердинанд был далек от счастья. Неаполь еще бурлил. Генерал Пепе, цитируя Экурта, маршировал по городу «во главе огромной толпы людей, вооруженных пистолетами, ножами, палками, дубинками, мечами и прочим; они несли трехцветный флаг... и заполняли улицы суматохой, причем клич «Король и конституция» изменился на клич «Свобода или смерть!». В августе появились сообщения о заговоре с целью убийства короля. Фердинанд пришел в ужас (доблесть никогда не была его сильной стороной), а герцогиня Флоридийская тайно обратилась к Экурту с просьбой вызвать один-два британских корабля, чтобы, если понадобится, вывезти ее мужа, ее саму и семью. Когда два фрегата вошли в залив в начале октября, карбонарии предсказуемо возмутились, и от министра иностранных дел герцога Кампокьяро потребовали «убрать англичан». Ему пришлось подчиниться полученным распоряжениям, но он доверительно сообщил Экурту: «Ради всего святого, игнорируйте записки, которые я вынужден посылать насчет вашей эскадры. Если она уйдет, мы все пропали».

Стоит задаться вопросом, как новость о принятии в Неаполе испанской конституции была встречена на Сицилии. Островитяне тоже возмутились, но по другим причинам. Во-первых, с ними никто не посоветовался; во-вторых, у них же есть собственная, вполне пригодная конституция. И вообще, какое им дело до Неаполя? Они принялись настаивать на полной независимости. Начались беспорядки, которые привели к ситуации, опасно схожей с приближающейся гражданской войной. Правительство в Неаполе действовало быстро, передав всех людей, которые могли оказаться полезными, под командованием генерала Флорестано Пепе, куда более надежного, нежели его родич, брат Гульельмо. Палермо попал в осаду, запасы воды стремительно сокращались, горожанам грозила смерть от жажды, но 5 октября состоялась капитуляция. По условиям соглашения Неаполь получал в свое распоряжение форты и крепости, а испанская конституция признавалась действующей на острове – по крайней мере, временно. Вопросы о единстве и независимости Сицилии предстояло решать парламенту. Не то, чтобы имелись сколько-нибудь позитивные ожидания на этот парламент, члены которого, как писал Экурт, «занимают себя чем угодно, кроме того, что действительно требует внимания. На прошлой неделе, к примеру, велись долгие дебаты, едва не обернувшиеся расколом, относительно того, является или нет Господь законодателем вселенной. Вопрос удалось решить в пользу Всемогущего незначительным большинством голосов».

Фердинанду пришлось приложить немало усилий, чтобы получить разрешение покинуть Неаполь; но он все-таки добился своего и 13 декабря с облегчением взойшел на борт британского фрегата «Вангер». Погода стояла малоприятная, но на борту было лучше, чем в городе с карбонариями. В конце концов король высадился в Ливорно 21 декабря и провел Рождество во Флоренции со своим племянником, великим герцогом Тосканским. Его супруга-герцогиня приплыла отдельно, но тоже благополучно, и ей предстояло задержаться во Флоренции до его возвращения. Сам Фердинанд через неделю или чуть дольше снова отправился в путь, миновал Болонью, Модену и Виченцу, прежде чем повернуть на восток. Стояли холода, и он отморозил себе руки – но никак не ум; создавалось впечатление, что он предпочитает итальянские морозы пеклу австрийских печей, уготованному в Лайбахе, и потому даже потерял сон.

Конференция началась 26 января 1821 года. Император Франц и царь Александр оба присутствовали лично; Пруссия отправила полномочного представителя. Зато Британия вновь решила держаться в стороне и ограничилась появлением посла в Вене, лорда Стюарта, который, по большому счету, исполнял сугубо обязанности наблюдателя. Франция тоже не торопилась определяться со своим отношением. Фердинанд не смог вести себя подобающим образом. Дважды он клялся соблюдать конституцию, но теперь утверждал, что давал клятву исключительно под угрозой применения силы и потому его клятвы следует признать недействительными. Он не возражал, когда Меттерних предложил двинуть имперскую армию на Неаполь; ничто другое не могло вернуть ему утраченное мужество.

Итоговый вывод (о чем догадывались все участники) конференции мало чем отличался от вывода встречи в Троппау: регенту отправили сообщение, гласившее, что мятеж карбонариев ставит под угрозу мир в Европе, а потому австрийская армия, при полной поддержке России, уже идет к мятежному королевству – идет как друг, если данное королевство намерено восстановить былой режим правления, или как противник, если оно не свернет с нынешнего гибельного пути. Регент ответил, что выбор между этими двумя вариантами должен сделать парламент, заседание которого созывается в срочном порядке.

Парламент проголосовал за войну. Если бы он руководствовался здравым смыслом и не пошел на поводу «сиюминутного порыва воинственного энтузиазма»^[166], то должен был предвидеть последствия подобного шага. Всего шесть лет назад, при Толентино, австрийцы разгромили армию Мюрата, по сравнению с которой войско карбонариев выглядело безнадежно недисциплинированным сбродом. Гульельмо Пепе, который сам сражался при Толентино, должен был бы, казалось, понимать, когда шел к Абруцци, что у него нет ни малейшего шанса на победу; реальность соотношения сил была продемонстрирована 7 марта, когда Пепе решился на стычку с австрийским авангардом у Риети. Прежде чем раздался первый выстрел, его войско попросту разбежалось. После этого все закончилось довольно быстро. Он вернулся в Неаполь 15 марта и обнаружил, что парламент изменил прежнее мнение и готов повиноваться королю. Через неделю австрийцы вошли в Неаполь. Большинство вожаков карбонариев попрятались, и регент нисколько не собирался их ловить. Пепе уехал в Лондон (ему было суждено вернуться в Неаполь в ходе событий 1848 года), как и некоторые его бывшие соратники, которым Экурт охотно предоставил паспорта – при условии, что они покинут город и страну.

Король Фердинанд получил большое удовольствие от поездки в Лайбах, а позднее, как и планировалось, встретился со своей женой-герцогиней во Флоренции. Находясь на безопасном удалении от своих владений, он назначил временное правительство. Когда герцог Калабрийский показал список членов кабинета Экурту, посол был потрясен. «Подобный выбор – это просто неслыханно! – выговаривал он. – Едва ли хоть один моложе семидесяти, а уж управлять я бы им и деревней не доверил!» Под давлением Меттерниха и прочих король назначил грозного начальника полиции, князя Канозу, который щедро раздавал наказания (обычно в форме публичной порки) всем, кого подозревали в симпатиях карбонариям; а позднее весной король счел, что может вернуться в Неаполь. Он приехал 15 мая 1822 года – и был встречен с привычным ликованием. Получив в руки список имен тридцати республиканцев, приговоренных к смерти, он помиловал двадцать восемь осужденных. Его всегда любил народ, но теперь эта любовь превратилась в нечто большее: семидесятиоднолетний Фердинанд, глубокий старик по меркам того времени, сделался олицетворением социального института. Пробыв на троне шестьдесят два года, он добился того, что мало кто из подданных (хотя они вспоминали с легким отвращением краткие периоды правления Жозефа Бонапарта и Мюрата) мог припомнить его предшественника.

Ему предстояло в октябре отправиться на заседание Веронского конгресса. Он не придавал большого значения этому мероприятию, даже намеренно откладывал отъезд из Неаполя до 22 октября и выехал через два дня после начала конгресса. В любом случае основное внимание участников встречи приковывала к себе Испания. Что касалось собственного королевства Фердинанда, была достигнута договоренность относительно сокращения численности австрийской оккупационной армии до 35 000 человек (первоначальную численность установить сложно), «которые останутся в стране до полного восстановления общественного спокойствия и реорганизации неаполитанской армии». Из Вероны король отправился в Вену, где, несмотря на холода, суровейшие за много лет, провел зиму. Там его простецкие, порою почти крестьянские повадки завоевали сердца придворных. «Он будто бы безмерно наслаждался своим пребыванием», – писала баронесса дю Монте.

Его фигура патриархальна и очень внушительна, но без монументальности; высокий рост, великолепные седые волосы, ярко выраженные почтенные черты пробуждают уважение к нему среди любых классов общества, в котором он родился. Будь он в крестьянском доме или в одежде простого рыбака, никто не сможет отказать в уважении этому почтенному старцу. Он говорит очень громко и смеется раскатисто; в театре, особенно в итальянской опере, он аплодирует, кричит и весьма энергично отбивает такт на перилах ложи; при исполнении «Севильского цирюльника» он кричал: «Браво, лаццароне, браво!», явно восхищенный Лаблашем, который имел обыкновение исполнять одну из арий в чрезвычайно оригинальной манере.

...Король Неаполя очень набожен; он постится со всей возможной строгостью, перебирает четки каждый день и часто слушает проповеди. Он привез с собою своего духовника. Это почтенный и даже очень привлекательный капуцин, который отказался от покоев, приготовленных ему при дворе, и остановился в капуцинском монастыре. Король спустился в крипту тамошней церкви, чтобы посетить могилу королевы, его жены... Он встает утром очень рано, слушает мессу, читает великое множество молитв, обедает в середине дня, отдыхает, затем играет в карты при довольно высоких ставках со своими фаворитами, от которых требует своевременной оплаты карточного долга в течение двадцати четырех часов, без какой-либо отсрочки.

Часть карточного выигрыша он всегда посылал своей жене-герцогине.

Фердинанд вернулся в Неаполь 6 августа 1823 года, проведя в отдалении от смуты почти девять месяцев. Он нашел свое королевство по-прежнему оккупированным австрийцами, но в основном процветающим и счастливым. Леди Блессингтон, которая прибыла в город почти одновременно с королем, пусть она полностью разделяла взгляды своего любовника-бонапартиста графа д'Орсе, была вынуждена признать: «Нам говорят, что итальянцы страдают под игом деспотизма и самодурства правителей; но нигде я не видела столько счастливых лиц. Мужчины, женщины и дети – все, похоже, ощущают влияние той восхитительной атмосферы, в которой живут; и эта атмосфера, кажется, исключает заботу и печаль».

Второго января 1825 года король, как обычно, охотился. На следующий день он пожаловался на легкий озноб и остался в закрытом помещении; в вечерней игре в пикет с герцогиней он то и дело засыпал, а его речь сделалась слегка неразборчивой. Он отказался от кровопускания и попросил только, чтобы его не будили в привычное время, то есть в шесть утра. Камердинер поэтому дождался восьми и лишь тогда вошел в спальню. Фердинанд покоился в постели вечным сном. Король умер от апоплексического удара, как и его жена Мария-Каролина чуть больше одиннадцати лет назад. До его семьдесят пятого дня рождения оставалась всего неделя.

Король Обеих Сицилий Франциск I, бывший герцог Калабрийский, всегда отличался поразительной бесцветностью. Часто упоминалось, что никто не обращал на него внимания – за исключением, по-видимому, двух его жен и множества любовниц. Свою первую жену, Марию-Клементину Австрийскую, он искренне любил, и сердце его разбилось, когда она умерла в 1801 году. Вторая жена, Мария-Изабелла Испанская, была (если верить его матери Марии-Каролине) почти такой же «серой мышкой», как и он сам. Его пятилетнее правление не характеризовалось примечательными событиями. В юности те немногочисленные идеи, которые он выражал, побуждали предположить, что в качестве правителя он окажется чуть либеральнее своего отца; однако с возрастом его взгляды становились все более консервативными. Он напоминал отца склонностью лениться и неистребимым нежеланием принимать сколько-нибудь активное участие в управлении страной. Его министры были немногим более дееспособны – зато камердинер короля и личная служанка королевы (оба составили небольшое состояние на взятках) постепенно приобрели значительный

политический вес. По сути, королевством управляли полиция и армия, и горе было тем гражданам, кто попадал в немилость к той либо к другой силе. Армия сосредоточилась на извлечении доходов: святого Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов, умершего в 1556 году, назначили фельдмаршалом с полным окладом; куда (и кому) именно шли эти деньги, осталось тайной. За все свое короткое и малопримечательное правление Франциск смог добиться единственного достижения, которое принесло несомненную пользу Неаполю: в 1827 году были выведены австрийские оккупационные войска, содержание которых лежало тяжким бременем на королевской казне. В остальном король жил в строгом уединении, одержимый манией преследования; о безопасности монарха заботились солдаты, фавориты и любовницы. Он не пользовался популярностью своего отца и умер в 1830 году, никем не оплакиваемый.

Сын и наследник Франциска, Фердинанд II, король Обеих Сицилий, поначалу казался тем самым яблоком, что не падает далеко от яблони. Подобно своему деду, он являлся с лаццарони, говорил на местном диалекте и был любим в народе за свои простые, свободные манеры. Сицилийцы тоже воспринимали его одобрительно. Он родился в Палермо в 1810 году (его отец был вице-королем острова) и нанес минимум четыре визита на Сицилию в первые десять лет своего правления. Поэтому остров он знал много лучше, чем даже большинство сицилийцев. Одобрением встретили и назначение на пост губернатора острова Леопольда, младшего брата короля и тоже сицилийца по рождению. Надежды на лучшее опирались и на королевский указ, опубликованный по вступлении Фердинанда на престол; в этом указе король обещал подданным честное и беспристрастное отправление правосудия и реформу государственных финансов. Он также говорил о борьбе с коррупцией и прочими злоупотреблениями, которые столь долго отравляли жизнь в королевстве, и клялся приложить все силы к тому, чтобы покончить с этими бедствиями раз и навсегда. Долгосрочная цель, говорилось в указе, состоит в управлении королевством таким образом, чтобы принести наивозможное счастье наибольшему числу подданных, без ущемления прав собратьев-монархов и Римско-католической церкви.

Намерения были и вправду благородными, однако Сицилия и сицилийцы оказались для короля чересчур крепким орешком. Уровень преступности неуклонно возрастал; присутствие на острове сначала британских, а затем австрийских войск предоставляло неисчислимые возможности для хищений оружия и боеприпасов. Разбойники бесчинствовали даже на окраинах Палермо, Мессины, Катании и других крупных городов. Еще одной отличительной особенностью сицилийской жизни стало вымогательство под предлогом защиты: людям полагалось платить немалые суммы, чтобы их не лишили запасов воды, не украли их скот или не сожгли серные копи. Тех, чьи дома подвергались грабежу, нередко конфиденциально информировали о том, что за изрядную плату имущество можно вернуть. Процветало и похищение людей – причем не только детей, но и видных граждан. Словом, налицо были все способы добывания средств, привычные для современной мафии, не хватало лишь названия, чтобы сходство стало полным.

Против злоупотреблений такого масштаба правительство мало что могло сделать. Двадцать пять отдельных полицейских отрядов на острове насчитывали в общей сложности всего 300–350 человек. Они старались как могли, порою даже производили случайные аресты; но когда злоумышленника доставляли в суд, скромной взятки обыкновенно оказывалось вполне достаточно для оправдательного приговора. Судьи, как правило, приобретали свои должности подкупом; потому для них было естественным пытаться так или иначе окупить свои затраты. В отчаянии король прислал было «выводок» честных судей из Неаполя, но эксперимент не удался. Во-первых, они не понимали ни слова на местном диалекте, а местные отказывались «разбирать их тарабарщину». Во-вторых, этих новоприбывших откровенно презирали; как вспоминал один неаполитанский судья, отправленный в Трапани, «едва ли найдется здесь такой чиновник, который не пресмыкался бы перед аристократами и не получал бы прибыли от своей должности».

Аристократия в самом деле не имела причин жаловаться – в отличие от всех остальных. Сицилия оставалась по-прежнему отсталыми задворками Европы; для тех, кто питал какие-либо амбиции, она не сулила будущего. Всего один пример: композитор Винченцо Беллини, подобно Алессандро Скарлатти полутора столетиями ранее, был вынужден уехать с острова, чтобы прославиться; оставаться в родном городе Катания означало обресть себя на прозябание в неизвестности. Между тем для сотен людей в городах и в сельской местности положение становилось попросту отчаянным; многие крестьяне уже находились на грани голода. Никаких заметных улучшений не происходило; наоборот, с каждым днем ситуация как будто делалась хуже. В данных обстоятельствах серьезное социальное потрясение, разумеется, было лишь вопросом времени.

Никто лучше короля Фердинанда II не понимал, что Сицилия представляет собой открытую рану; но король был не в силах что-либо изменить. Как сетовал один иностранный посол, «хотя король и его министры вполне осознают бедствия, терзающие Сицилию, они не обладают ни достаточными способностями, ни необходимыми средствами, чтобы справиться с этими бедами, а потому оставляют все на волю судьбы». Фердинанд совершил даже нечто большее; после пяти лет бесплодных попыток осчастливить остров он в 1835 году напрочь отказался от стремления «исправить» процессуальное законодательство и, безусловно улавливая, как говорится, дуновение революции в воздухе, прибегнул к репрессиям. Иностранные книги запретили, была введена суровая цензура. Отчаянные меры наподобие вот таких нередко оказываются контрпродуктивными; неудивительно, что всего два года спустя на острове вспыхнул короткий, но яростный бунт, предвещавший худшее в будущем.

Все началось в 1837 году после внезапной эпидемии холеры, болезни, прежде неизвестной в Западной Европе; каким-то образом разошелся слух, что заразу преднамеренно распространило правительство. Нам подобное обвинение кажется смешным, однако, как сообщалось, такую точку зрения разделяли несколько профессоров из университета Палермо и даже сам архиепископ. Мужчины, женщины и дети умирали сотнями и тысячами, остров охватила паника. В самом Палермо было относительно спокойно, зато в Сиракузах случились серьезные беспорядки, в ходе которых были забыты те слабые тени закона и порядка, какие там существовали, и несколько сотен людей лишились жизни. Наиболее примечательна реакция Катании, где уличный бунт внезапно перерос в демонстрацию с требованием независимости Сицилии. Как обычно, впрочем, мятежников подвело отсутствие дисциплины, сплоченности и надлежащего планирования. После нескольких арестов и ряда казней Сицилия возвратилась к прежнему прозябанию.

Фердинанд вернулся на остров в следующем году. Он сделал все возможное со своей стороны – в частности, восстановил Мессинский университет, дабы увеличить число тех, кто может заниматься управлением и занимать старшие государственные посты (при этом, что показательно, былая практика «квотирования» таких должностей сугубо для сицилийцев сохранилась). Фердинанд сам понимал, что это фактически единственный шанс победить коррупцию и кумовство, давний бич сицилийской жизни. Так или иначе, остров, пусть неохотно, принял королевское решение; но попытка провести земельную реформу сразу же столкнулась с немалыми затруднениями. Данная попытка неминуемо подразумевала сокращение размеров огромных поместий, а значит, радикально подрывала влияние феодальной аристократии; последнее было чревато неприятностями, поскольку Бурбоны становились все менее популярными в аристократических кругах, где уже сожалели о первенстве Неаполя и заводили разговоры о независимости. Между тем возникла и постепенно утверждалась новая идея: не пора ли заняться коренной политической перестройкой? Прежнее испанское влияние почти выветрилось; Франция приобрела важнейшее значение; Британия, благодаря своим значительным финансовым интересам, являлась тайной хозяйкой острова. С другой стороны, а что Италия? По всему Апеннинскому полуострову звучали призывы к объединению Италии; если это объединение должно состояться, почему бы Сицилии не сделаться его частью?

Когда в среду, 12 января 1848 года, на тридцать восьмой день рождения Фердинанда II, жители Палермо восстали против Бурбонов, они не имели ни малейшего представления о том, к чему приведет это восстание. Как мы уже видели, восстаний в королевстве хватало, но все они сравнительно быстро и безболезненно подавлялись. То, что произошло в 1848 году – Quarantotto^[167], как говорят в Италии, – было иным. Это была революция, и к концу года за ней последовали другие. Только в Италии революции случились в Неаполе, Риме, Венеции, Флоренции, Лукке, Парме, Модене и Милане; в Северной и Центральной Европе революции произошли в Париже, Вене, Кракове, Варшаве и Будапеште.

Уже в начале года студенческие беспорядки побудили власти закрыть университет Палермо; несколько именитых граждан, известные своими либеральными взглядами, были арестованы, а в народе ходил неподписанный манифест с призывом восстать в день рождения короля. Когда этот день наступил и начались демонстрации, улицы опустели, магазины закрылись, дома загородили баррикадами. Значительное число мятежников составляли горные разбойники и простые крестьяне, лишь немногие из которых, вероятно, имели ясное представление о том, за что они сражаются; но их воодушевляла возможность уничтожить таможенные барьеры и вволю предаться грабежу. Многие из малых деревень и городов обезлюдели, пострадала и большая часть сельской местности.

Бурбоны располагали примерно 7000 солдат в гарнизоне Палермо, но от тех было мало толку. Связь практически отсутствовала, дороги находились в отвратительном состоянии, и солдаты не могли быть везде одновременно. В отчаянии было решено бомбардировать город; об этом решении вскоре пришлось пожалеть, особенно когда снаряд уничтожил муниципальный ломбард, от которого зависели многие семьи, равно аристократические и плебейские. Разъяренная толпа ринулась в королевский дворец, разграбила его – пощадив, хвала небесам, Палатинскую капеллу – и подожгла хранилище государственных записей и архивов. Из тюрьмы освободили сотни заключенных. Гарнизон отступил и вскоре вернулся в Неаполь. В последующие дни сформировали комитет управления островом под председательством семидесятилетнего сицилийского патриота (и бывшего морского министра Неаполитанского королевства) Руджеро Сеттимо; тем временем восстание перекинулось на все главные города острова – за исключением Мессины, которая держалась в силу ревности к Палермо, – и на более ста деревень, где поддержки крестьян добивались щедрыми обещаниями поделить земли. Не было никакого сопротивления, достойного так называться.

К концу месяца остров почти полностью освободили от королевских войск, а 5 февраля Сеттимо заявил, что «губительная война завершена и с этого дня начинается счастливое время для Сицилии». Он «забыл» упомянуть о том, что цитадель Мессины оставалась в руках Бурбонов; тем не менее королю Фердинанду было ясно, что корона прижата к стене. Вследствие почти непрерывных демонстраций в Неаполе по сицилийскому образцу 29 января король одобрил либеральную конституцию для обеих частей своего королевства; документ предусматривал создание двухпалатного законодательного органа и умеренную демократию. «Игра ведется по-крупному, – писал Меттерниху шокированный австрийский посол князь Шварценберг. – Король и его министры совсем лишились ума». Меттерних оставил на полях письма пометку: «Я сомневаюсь, что министры способны потерять то, чего у них никогда не было».

Новости, полученные королем в конце февраля, встревожили его, должно быть, еще сильнее. В Париже 24 февраля свергли его дядю, «гражданина короля» Луи-Филиппа, и провозгласили республику. Далее события покатались лавиной. Фердинанд, ненадолго ставший популярным в народе после принятия конституции, удостоился очередного потока проклятий; одной либеральной конституции, похоже, было уже недостаточно. Сицилийцы между тем отвергли королевскую инициативу. «Сицилия не требует новых установлений, – холодно сообщили они монарху, – ей нужно восстановление прав, которыми она владела на

протяжении многих столетий». В Палермо 13 апреля короля объявили низложенным, флаг Бурбонов заменили революционным триколором с изображением трискелиона.

Сицилия стала действительно независимой. Трудность заключалась в том, что на острове отсутствовали какие-либо механизмы самоуправления. Без опытной руки у руля привычные хаос и смута только усугубились. Торговля резко сократилась в объемах, безработица взлетела, правовая система практически развалилась. В конце августа Фердинанд направил на остров смешанные сухопутные и морские силы общей численностью до 20 000 человек под командованием фельдмаршала князя Карло Филанджери, дабы восстановить закон и порядок; в сентябре произошло совместное нападение с суши и с моря на Мессину. Именно тогда город пережил ожесточенную бомбардировку на протяжении восьми часов – уже после того, как сдался. Мятежники не сдавались, и вековая ненависть между неаполитанцами и сицилийцами выплескивалась в зверствах с обеих сторон; дошло до того, что британские и французские адмиралы в сицилийских водах, потрясенные этим кровопролитием и жестокостями, убедили Фердинанда предложить полугодовое перемирие. Можно было бы подумать, что возникла возможность положить конец тупиковой ситуации, но любое предложение об урегулировании мятежники отвергали, что называется, не глядя. Будь они готовы к переговорам, им, наверное, удалось бы спасти хоть что-то из-под обломков; поскольку они отказались, все больше и больше их прежних сторонников (в первую очередь из чувства самосохранения) перебегали к Бурбонам. В итоге Филанджери захватил Таормину 2 апреля 1849 года, а Катанию – пять дней спустя. 15 мая, не встретив сопротивления, он вступил в Палермо.

Своей недееспособностью, отсутствием единства и отказом идти на компромиссы сицилийцы наглядно продемонстрировали, как не стоит устраивать революции.

Когда дым рассеялся, Филанджери назначили губернатором Сицилии. Немногие должности могли показаться более неблагодарными, однако он взялся за дело с должным усердием. Фердинанд, после бомбардировки Палермо и Мессины получивший прозвище «Король Бомба», между тем окончательно утратил самообладание. Его изрядно напугала случившаяся революция, и он больше не желал иметь ничего общего ни с Сицилией, ни с либеральными и националистическими идеями, которые явно вдохновляли революционеров. Поэтому он снова ужесточил порядки, и остров фактически превратился в полицейское государство. Свобода передвижения строго ограничивалась, цензура сделалась еще более суровой; людей арестовывали по малейшему подозрению и после спешного суда приговаривали к заключению в исправительных колониях на Лампедузе и других островах.

Когда Уильям Юарт Гладстон побывал в Неаполе в 1850–1851 годах и обнаружил среди «диссидентов», арестованных правительством, даже юридического советника посольства Великобритании, он сильно встревожился; а когда в феврале 1851 года ему разрешили посетить тюрьмы, он был шокирован увиденным и позднее опубликовал статью с яростными нападениями на, цитирую, «отрицание Господа, возведенное в систему управления». Эта статья нанесла немалый урон репутации королевства; Неаполь неизбежно сравнивали с его северным соседом, королевством Пьемонт, оплотом либерализма и прогресса и символом грядущего объединения Италии. Сравнение, разумеется, было не в пользу Неаполя.

В 1856 году Фердинанд стал жертвой покушения, один из королевских гвардейцев попытался убить монарха. Попытка не удалась, но относительно легкая рана от штыка загноилась, в организм проникла инфекция, и многие считали, что королю уже никогда полностью не оправиться. Он прожил еще три года, но умер в мае 1859 года, не достигнув и пятидесяти лет. В первой половине своего правления он был довольно популярен и делал все, что от него зависело, для Сицилии; пусть этого было недостаточно, не приходится сомневаться в том, что любой другой правитель вряд ли преуспел бы больше. Фердинанд учредил телеграфное сообщение между Неаполем и Палермо. Его флот получил первый во всей Италии пароход, и также он построил первую итальянскую железную дорогу. Правда,

поначалу ветка тянулась всего на десять километров от центра Неаполя до Портичи, но вскоре ее продлили к «пятке» Апеннинского полуострова; словом, Фердинанд был куда прогрессивнее, чем его современник папа Григорий XVI, который именовал железные дороги «chemins d 'Enfer»^[168] и запретил их строительство на всех папских территориях. Но после 1848 года от былой популярности Фердинанда не осталось и следа. Для своих подданных на протяжении последних одиннадцати лет жизни он оставался «Королем Бомба».

Его сын, Франциск II, наследовал отцу в возрасте двадцати трех лет. Правление Франциска, как мы увидим, оказалось богатым на драматические события и весьма коротким. И как могло быть иначе – ведь близилось Рисорджименто.

Глава 15

Рисорджименто

Было ли буйство Кварантотто напрасным? К осени 1849 года казалось именно так. Австрийцы вернулись в Венецию и Ломбардию; Пий IX, который бежал в Гаэту в прошлом году, возвратился в оккупированный французами Рим; в Неаполе печально известный своим упрямством «Король Бомба» растоптал конституцию и в очередной раз присвоил себе абсолютную власть; Флоренция, Модена и Парма, все под австрийским «покровительством», пребывали фактически в том же состоянии. На всем Апеннинском полуострове только Пьемонт оставался по-настоящему свободным. Местный правитель Виктор-Эммануил II, приземистый и необыкновенно уродливый коротышка, славился (как уверяла молва) пристрастием к слабому полу. На самом деле он был куда интеллектуальнее, чем выглядел; несмотря на врожденную робость и застенчивость на публике, с политической точки зрения он был мастером своего дела. Трудно вообразить Рисорджименто без этого короля.

Впрочем, и «природного гения» Виктора-Эммануила могло оказаться недостаточно, если бы не его главный министр Камилло Кавур, который пришел к власти в 1852 году и держал в своих руках бразды правления, с короткими перерывами, на протяжении следующих девяти лет, очень важных для Италии. Внешность Кавура, как и облик его господина, была обманчива. Невысокий, с изрядным брюшком, редящими волосами и багровым лицом, которое ничуть не украшала борода (без усов), он имел привычку одеваться как придется и при первом знакомстве производил не слишком приятное впечатление. Но ум его был острым, как рапира, а едва он начинал говорить, немногие могли устоять перед его обаянием. Политическая задача Кавура была проста: объединить Италию под эгидой Пьемонта. Для этого требовалось прежде всего избавиться от вмешательства Австрии; ныне он лелеял надежду, что в этом ему поможет новая – и ярчайшая – «комета» на международной арене, французский император Наполеон III.

Луи-Наполеон, племянник Наполеона I, стал наследником бонапартистской династии после смерти своего изгнанного кузена (известного как Наполеон II, он же герцог Рейхштадтский) в Вене в 1831 году. После революции 1848 года его сначала избрали президентом Французской республики, а затем, 2 декабря 1851 года, состоялся государственный переворот, и ровно год спустя Луи-Наполеон короновался императором. К 1858 году его власть и популярность заметно уменьшились. Он отчаянно нуждался в победоносной войне, чтобы, как говорится, восстановить реноме, и Австрия виделась единственной потенциальной жертвой. В июле император провел тайное совещание с Кавуром и заключил соглашение: он обещал отправить свою армию в Италию в обмен на уступку Савойской области и города Ницца. Весной следующего года французы направили в Италию около 120 000 человек под непосредственным командованием императора. Произошли два крупных сражения, причем оба завершились победой. Первое, в мае, состоялось у деревушки Маджента к западу от Милана. Потери были велики с обеих сторон и оказались бы еще

выше, не случись пьемонтцам, по стечению обстоятельств, задержаться в пути: они прибыли на поле брани, когда битва уже закончилась. Второе сражение имело место через месяц, при Сольферино, к югу от озера Гарда, и здесь сошлись в схватке свыше четверти миллиона человек. Это сражение было крупнейшим после битвы при Лейпциге (1813) – и последним в истории, когда всеми войсками лично командовали монархи: Наполеон III, Виктор-Эммануил и австрийский император Франц-Иосиф. Следует признать, что победа была пирровой; французы и пьемонтцы понесли не меньшие потери в сравнении с австрийцами, а вспышка лихорадки – вероятно тифа – после сражения обернулась лишней тысячей смертей с обеих сторон^[169].

Две недели спустя Наполеон заключил сепаратный мир с Австрией; и 11 июля 1859 года два императора встретились в Виллафранке близ Вероны, где будущее Северной и Центральной Италии было решено в течение часа. Австрия сохранила за собой Мантую и город-крепость Пескьера на южной оконечности озера Гарда; остальная часть Ломбардии отходила Франции, которая передавала эту территорию Пьемонту. Итальянская конфедерация создавалась под покровительством папы римского. Венеция и Венето, будучи членами конфедерации, оставались австрийскими «доминионами». В начале 1860 года Кавур тоже заключил договор с Наполеоном; по этому договору Пьемонт имел право аннексировать Тоскану, но отдавал Франции Савойю и Ниццу. Плебисциты, проведенные вскоре после этого, подтвердили данные договоренности: в Савойе, например, голоса распределились в соотношении 130 500 против 235. Тем не менее не все поддерживали подобные шаги; возможно, наиболее упорным противником французов и Пьемонта был величайший патриот Италии Джузеппе Гарибальди: уроженец Ниццы, он неожиданно для себя сделался французом.

Гарибальди исполнилось пятьдесят три. Он начинал как моряк торгового флота, в 1834 году участвовал в мятеже, и власти выдали ордер на его арест. Ему едва удалось ускользнуть во Францию; между тем в Турине его заочно приговорили к смертной казни за государственную измену. После краткой службы во французском торговом флоте он присоединился к армии тунисского бея, который предложил ему вторую по старшинству должность в своем флоте. Но он отказался и в декабре 1835 года вышел в море вторым помощником на французском бриге, что направлялся в Южную Америку. Там ему предстояло провести следующие двенадцать лет, причем первые четыре года из этого срока он сражался за некое малое государство, ныне забытое, которое безуспешно пыталось освободиться из-под бразильского владычества^[170]. В 1841 году вместе с любовницей-бразильяночкой он отправился в Монтевидео, где быстро очутился во главе уругвайского военно-морского флота, а также принял на себя командование легионом итальянских изгнанников – первой когортой тех краснорубашечников, с которыми впоследствии будет прочно ассоциироваться его имя. После победы в малой, но героической битве при Сан-Антонио в 1846 году его слава быстро распространилась вплоть до Европы. К настоящему времени он был, так сказать, профессиональным бунтарем, чей опыт партизанской войны сослужил ему хорошую службу в последующие годы.

В тот самый миг, когда услышал о революции 1848 года, Гарибальди собрал шестьдесят своих сторонников и отправился первым же кораблем обратно в Италию, где начал личную войну против Австрии, а затем, узнав о бегстве папы из Рима^[171], вошел в состав новой городской ассамблеи; именно он официально предложил городу стать независимой республикой. В июне 1849 года французы осадили Рим, и после героического сопротивления, которое длилось почти месяц, защитники были вынуждены сдаться. Около полудня 30 июня Гарибальди появился в ассамблее весь в пыли, его красная рубашка насквозь промокла от крови и пота. Капитуляция, заявил он, даже не рассматривается. Нужно уходить в холмы; «Dovunque saremo, – прибавил он, – cola sarà Roma»^[172]. Но этого не произошло. Вместе со своей женой Анитой и несколькими сторонниками он отплыл в Венецию, единственное итальянское государство, где новопровозглашенная республика

продолжала сражаться за свое выживание; однако их судно было перехвачено австрийским военным кораблем, и пришлось спешно высаживаться на пустынном участке побережья, где вскоре любимая Анита умерла на его руках. На время он утратил боевой дух и снова покинул Италию, сел на корабль до Нью-Йорка, чтобы начать второй срок американской «эмиграции».

Одним из ближайших политических соратников Гарибальди являлся убежденный республиканец и сицилийский адвокат по имени Франческо Криспи. Приговоренный к смертной казни за участие в событиях 1848 года, он сумел бежать, а в 1859 году, после длительного пребывания в Лондоне, он вернулся на родину, изменив облик и под вымышленным именем. Короткий визит убедил его в том, что остров созрел для революции. Бурбонов презирали везде и всюду, а бедность распространилась настолько широко, что подавляющему большинству островитян было практически нечего терять. Малочисленный вооруженный отряд – вот и все, что требовалось, чтобы освободить остров и побудить к восстанию. Вопрос заключался в том, кто возглавит этот отряд? На ум сразу же пришел Гарибальди, который вернулся из Америки в 1854 году, полный былого задора и энтузиазма, и доблестно сражался при Сольферино. Но Гарибальди мешкал. Он все еще негодовал из-за соглашения в Виллафранке и сам пестовал иную мечту – о захвате Ниццы и возвращении города в пределы Пьемонта.

Правда, мечты о Ницце вскоре пришлось отложить на неопределенный срок. Сицилийцы не желали мириться с утратой собственной государственности; они восставали в 1820-м, в 1837-м и в 1848-м; 4 апреля 1860 года вспыхнуло новое народное восстание в Палермо. Пойди все согласно плану, это восстание должны были поддержать мятежные аристократы; но, как всегда бывает на Сицилии, план оказался опровергнут реальностью. Неаполитанские власти были тайно проинформированы, и мятежники попали в окружение еще до того, как успели покинуть свои дома. Всех, кого не убили на месте, казнили позже. Словом, восстание обернулось катастрофой; зато оно воспламенило искру, с которой начался пожар во всей северной Сицилии, и власти не имели возможности справиться со множеством очагов возгорания. Никакая цензура не могла помешать слухам, что растекались по острову, подпитывая пламя революции; самый «зажигательный» слух утверждал, что Гарибальди уже в пути.

Вообще-то молва выдавала желаемое за действительное; Гарибальди на самом деле занимался сбором средств на закупку «миллиона винтовок» – полковник Сэмюел Кольт уже отправил сотню своих превосходных револьверов из Нью-Йорка в знак поддержки; но стоило ему услышать о восстании на острове, как он начал действовать. Виктор-Эммануил отказал ему в просьбе выделить бригаду из состава пьемонтской армии (на том основании, что Пьемонт не воюет с Неаполем), но менее чем через месяц Гарибальди, уже очутившийся в Генуе, располагал внушительным количеством добровольцев. Их стали называть «Тысячей», хотя фактически этих добровольцев насчитывалось 1162 человека. Они представляли собой широкий срез итальянского общества. Около половины отряда составляли профессионалы – примерно 250 юристов, 100 врачей, 50 инженеров, несколько университетских преподавателей и священников; другую половину образовали выходцы из рабочих классов. Среди мужчин была и одна женщина – жена Криспи Розалия, переодетая мужчиной. Некоторые теоретически оставались республиканцами, но вождь ясно дал понять, что они собираются воевать не только за Италию, но и за короля Виктора-Эммануила; времени спорить уже не было.

Сам Виктор-Эммануил очутился в деликатной, мягко говоря, ситуации. Он всей душой желал всяческих успехов Гарибальди; на самом деле он гораздо больше симпатизировал мятежникам, нежели Кавур, который не мог преодолеть недоверия к лихому авантюристу. Но король хорошо понимал, что проявлять подобные симпатии публично будет чрезвычайно опасно. К счастью, у него имелся отличный повод не отрекаться категорически от действий

Гарибальди: этот человек уже успел стать героем и был самой популярной на сегодняшний день фигурой в Италии. Тем не менее, если бы весь мир увидел, что король Пьемонта открыто поддерживает Гарибальди, за оружие взялся бы не только Неаполь, но и Франция с Австрией. В данных условиях, пока Гарибальди созывал добровольцев и готовил экспедицию, король настоятельно рекомендовал ему вести себя как можно неприметнее и сам старательно смотрел в другую сторону.

Гарибальди удалось арендовать два парохода, «Пьемонт» и «Ломбардо». В половине девятого вечера в субботу, 5 мая, облаченный в привычную красную рубаху, южноамериканское пончо и цветной шарф и вооруженный саблей, кинжалом и револьвером полковника Кольта, Гарибальди взобрался на борт «Пьемонта» в Генуе и отплыл в соседнюю гавань Кварто, где ждали его сторонники. Лишь теперь он отправил единственное сообщение королю:

Стены Сицилии, что изнемогает от боли, достигли моего слуха и разбредили мое сердце и сердца нескольких сотен моих товарищей по оружию. Я не поддерживаю восстание моих братьев на Сицилии, но раз они восстали во имя итальянского единства, стремление к которому воплощает собою Ваше величество, и против наигнуснейшей тирании нашего времени, я не колеблясь принимаю на себя руководство экспедицией.

Оба корабля вышли в море на рассвете следующего дня.

Стремясь избежать внимания флота Бурбонов и одновременно не желая доставлять неудобства Виктору-Эммануилу, вторгаясь в его территориальные воды у острова Сардиния, Гарибальди направился на запад, причем настолько далеко, что некоторые его сторонники решили, будто они плывут в Тунис или на Мальту; но корабли все же повернули на юг и в итоге – благополучно едва не протаранив друг друга в темноте – достигли Марсалы утром 11 мая. Город был совершенно не готов к обороне, и «Тысяча» смогла беспрепятственно проникнуть внутрь и спокойно отдохнуть перед продолжением пути. 14 мая в Салери Гарибальди обратился к народу и официально принял на себя обязанности диктатора Сицилии от имени короля. Его речь, как сообщалось, была встречена бурными аплодисментами. А на следующий день на холме, известном как Пьянто-Романо, в непосредственной близости от Калатафими и всего в миле или двух от храма в Сегесте, краснорубашечники столкнулись с ожидавшим их войском Бурбонов.

Сражение 15 мая продолжалось несколько часов, причем в основном сводилось к рукопашной и штыковым атакам, а не к перестрелкам. Гарибальди знал, что его значительно превосходят числом; с другой стороны, он мог рассчитывать на солидное психологическое преимущество. Для каждого итальянца его краснорубашечники – за спинами которых были громкие победы в Южной Америке и в самой Италии – обрели поистине легендарную славу, крестьяне даже частенько приписывали им чудесную неуязвимость от пуль. Армия Бурбонов откровенно боялась и отнюдь не рвалась сражаться, а «Тысяча» билась за идеал, в который все ее члены страстно верили, и за вожака, чья необыкновенная харизма служила им постоянным источником воодушевления. Если они возьмут верх в первой битве, сказал им Гарибальди, велика вероятность того, что сопротивление падет; и тогда, буквально через неделю или две, они станут полновластными хозяевами Сицилии.

В военном отношении схватка оказалась равной: погибли 32 мятежника и 36 неаполитанцев, а раненых было около 150 с обеих сторон. Однако, что касается морали, в победе сомневаться не приходилось. Гарибальди оказался прав: перед ним больше не было никаких препятствий на всем пути до Палермо; наоборот, тысячи сицилийцев устремились под его знамена, а вот армия Бурбонов была вынуждена с боями пробиваться обратно в столицу через сельскую местность, охваченную восстанием. При Партинико бой длился четыре часа – с применением артиллерии, – и лишь тогда неаполитанцам удалось миновать город. Тех солдат, которые были убиты, разорвали на куски.

Но в Палермо находились еще 21 000 солдат, в том числе значительное количество австрийских и баварских наемников. Пускай Гарибальди уповал на поддержку местного населения, все шансы, разумеется, были против него. Исходная «Тысяча» сократилась в численности до примерно 750 человек, а новые добровольцы, преимущественно крестьяне, стекавшиеся в лагерь каждый день, не имели должной подготовки, страдали отсутствием дисциплины, и потому пользы от них было мало. Лобовая атака была обречена; выбрали окольный путь по окружающим горам. На рассвете 26 мая Гарибальди вошел в пригород Палермо. Военное командование Бурбонов ожидало нападения вдоль дороги на Монреале и разместило почти все свои силы к северу и западу от города; посему, подходя с юго-востока, «Тысяча» не встретила никакого сопротивления. Вдобавок Гарибальди поразился, когда к нему привели трех английских и двух американских офицеров с кораблей, которым случилось оказаться в гавани; и уж подавно он не предполагал увидеть венгерского корреспондента «Лондон таймс», который посвящал ежедневные статьи его действиям.

К тому времени экспедиция Гарибальди приковала к себе внимание всего мира. В Англии возбуждение и вовсе нарастало день ото дня. Общество собирало средства на помощь гарибальдийцам; кстати, свой вклад внесли Чарльз Диккенс и Флоренс Найтингейл. Королевский оружейный завод в Энфилде безвозмездно отправил в Италию артиллерийское орудие. Во Франции выдержки из воспоминаний Гарибальди были опубликованы в газете «Ле сикль» после тщательной вычитки самим Александром Дюма^[173]. В Америке «Нью-Йорк таймс» сравнивала Гарибальди с Вашингтоном, а «Нью-Йорк дейли трибюн» опубликовала обличительную статью против Бурбонов за авторством своего лондонского корреспондента Карла Маркса. В России интерес к событиям в Италии не ограничивался интеллигенцией Москвы и Санкт-Петербурга; Михаил Бакунин, который отбывал ссылку в Сибири, писал, что за маршем «Тысячи» неотрывно следят в далеком Иркутске.

Население Палермо в 1860 году составляло приблизительно 160 000 человек. Совсем недавно Сицилия являлась, по сути, полицейским государством; жители Палермо поэтому, напуганные всем происходящим, не желали даже показываться на улицах. Но скоро разнесся праздничный колокольный звон, и горожане высыпали на улицы и принялись возводить баррикады; наконец-то, словом, вспыхнуло восстание, которое сулило избавиться от Бурбонов навсегда. Бои продолжались трое суток, неаполитанские корабли в гавани обстреливали город из своих орудий. 28 мая 2000 заключенных сбежали из тюрьмы Викария. Некоторые из них, сидевшие по политическим причинам, направились напрямик на баррикады, но подавляющее большинство сбежавших составляли опасные преступники; Гарибальди, соблюдая полномочия официально назначенного диктатора, объявил, что все кражи или грабежи будут караться смертью.

Утром 30 мая семидесятитрехлетний генерал Фердинандо Ланца, командующий неаполитанскими силами, пригласил Гарибальди на встречу на борту британского военного корабля «Ганнибал». Они договорились о немедленном прекращении огня, каковое затем продлили на весь срок, пока продолжаются переговоры. Как сообщается, Бурбоны между тем замыслили устранить Гарибальди и привезли в Палермо калабрийского разбойника, которому поручили это осуществить. Но на генерала Ланца произвела такое впечатление харизма Гарибальди, он был настолько покорен его искренностью и обаянием, что операцию отменили. Когда удалось в итоге согласовать условия, соглашения подписал от имени инсургентов Криспи – как «государственный секретарь временного правительства Сицилии» (важное признание самостоятельности острова). Неаполь не удосужился прислать дальнейшие инструкции, и 6 июня Ланца капитулировал. Две недели спустя в Палермо не осталось ни одного неаполитанского солдата. Чуть более чем за месяц горстка плохо вооруженных и в значительной степени не подготовленных людей поставила на колени один из величайших королевских домов Европы!

После победы при Палермо эта горстка представляла собой несколько сот измученных людей, вооруженных безнадежно устаревшими ружьями и страдающих от нехватки

боеприпасов. К счастью, новое снаряжение, оружие и амуниция были уже в пути. 7 июня прибыли 1500 новых ружей с патронами с Мальты; через десять дней три американских парохода зашли в гавань Кастелламаре, имея на борту 3500 добровольцев, 8000 винтовок и 400 000 патронов. Еще 2000 человек высадились на берег 6 июля. Единственным крупным разочарованием Гарибальди стали сами сицилийцы. По прибытии в Палермо он сразу же издал прокламацию с призывом ко всем мужчинам молодого и среднего возраста вступать ряды «Тысячи»; но Бурбоны официально освободили остров от рекрутского набора, приближался срок сбора урожая, и потому на этот призыв мало кто откликнулся.

С другой стороны, он теперь, впервые за свою долгую карьеру, единолично командовал армией, а этой армии предстояла нелегкая задача. Бурбоны покинули Палермо, но не сдались и по-прежнему располагали гарнизоном в 18 000 человек в Мессине и малыми гарнизонами в Милаццо, Аугусте и Сиракузах. Оставив Палермо в середине июля, Гарибальди двинулся в поход по острову. На Милаццо он напал в пятницу, 20 июля. Его отряд насчитывал около 5000 человек – против примерно 4700 человек у Бурбонов, считая кавалерийский эскадрон и восемь орудий.

Сражение оказалось долгим и упорным, тяготы боестолкновения усугубляла иссушающая жара. Около полудня Гарибальди чудом избежал смерти, когда вражеский кавалерист занес над ним саблю; по счастью, в этот миг пуля поразила лошадь врага, Гарибальди отразил удар и убил кавалериста. Противники с обеих сторон буквально валились с ног от изнеможения, но исход битвы оставался неясным. Лишь в середине дня Гарибальди вдруг сообразил, как следует поступить. На рейде стоял его единственный военный корабль – десятипушечный паровой корвет «Велоче», который дезертировал из флота Бурбонов и был позднее переименован в «Тукери», в честь венгерского героя, погибшего на баррикадах Палермо. Гарибальди кинулся к лодке, что ожидала у берега, добрался до корвета и приказал стрелять по неаполитанским войскам. Застигнутые врасплох, те запаниковали и бросились под укрытие древнего замка. Город, оставшийся без защиты, был захвачен инсургентами. Гарибальди въехал в Милаццо на своей лошади Марсале, затем спешил в сад церкви, положил седло на землю, как подушку, и немедленно заснул.

Замок был невелик и, конечно, не мог вместить более 4000 человек; запасы продовольствия и воды были скудными, и стояло, напомним, жаркое сицилийское лето. Когда 23 июля у побережья появилась неаполитанская эскадра, Гарибальди приготовился сражаться, но вскоре ему донесли, что враг хочет вести переговоры о сдаче замка и эвакуации войск. На следующий день обо всем договорились. Истощенные, умирающие от жажды люди кое-как добрались до кораблей, и эскадра ушла обратно в Неаполь. Гарибальди присвоил их оружие, снаряжение, лошадей и половину мулов.

Что касается живой силы, потери повстанцев значительно превышали потери армии Бурбонов – 800 против приблизительно 150 человек, зато Бурбоны фактически лишились Сицилии. Теперь наконец остров был свободен. Однако им следовало как-то управлять, и Гарибальди, сохраняя статус временного диктатора, постоянно подчеркивал, что в ближайшее время остров займет достойное место в составе объединенной Италии. Сам он был больше полководцем, чем государственным деятелем; поэтому ему по-настоящему повезло иметь рядом такого человека, как Франческо Криспи. Сицилиец, адвокат и просто очень умный человек, Криспи знал и понимал остров, как никто другой. Уже после битвы при Калатафими он назначил губернатора в каждый из двадцати четырех районов, на которые административно делилась Сицилия, и снабдил их полномочиями по переустройству местного управления – теми способами, какие они сочтут необходимым. Когда 2 июня Гарибальди сформировал регулярное правительство с шестью министерствами, Криспи взял на себя два важнейших – Министерства внутренних дел и финансов. Далее Сицилия лишняя раз обозначила свою независимость, учредив дипломатические миссии в Турине, Париже и Лондоне.

Гарибальди сосредоточился на завоевании поддержки в народе. Он распорядился выплатить компенсации за ущерб, причиненный бомбардировками, установил поощрения за принятие в семьи сирот и объявил о финансовой помощи беднейшим семьям на постоянной основе. Еще он выказывал почти карикатурное в проявлениях уважение к церкви, посещал мужские и женские монастыри, целовал распятия, а 15 июля присутствовал в соборе на мессе в честь покровительницы Палермо святой Розалии. Облаченный в неприменную красную рубашку, он уселся на королевский трон, тем самым как бы приняв полномочия апостольского легата, былую привилегию королей Сицилии. Пока читали Священное Писание, он держал меч обнаженным, в знак своей готовности защищать церковь.

Каков был следующий шаг? Когда Сицилия официально присоединится к быстро растущему королевству Виктора-Эммануила? По мнению Кавура, чем раньше, тем лучше; но против спешки горячо возражали Гарибальди и Криспи. Во всех отношениях, указывали они, Сицилия и без того уже является частью королевства. Сицилийцы разделяют эту убежденность, а с неизбежными формальностями и юридическими тонкостями можно повременить, пока не завершилась война в других областях. Вдобавок эти двое беспокоились (хотя проявляли достаточную осторожность и не говорили о том публично), что, если остров юридически объединится с Италией, Кавур может запретить использовать Сицилию в качестве плацдарма для наступления на Неаполь, Рим и Венецию.

Эти опасения ни в коем случае не были беспочвенными. 1 августа 1860 года Кавур писал в отчаянии своему *chef de cabinet*^[174] и близкому другу Костантино Нигра:

Если Гарибальди переберется на материк и овладеет Неаполем, как он овладел Сицилией и Палермо, то станет абсолютным хозяином положения... Король Виктор-Эммануил на глазах теряет авторитет; для большинства итальянцев он только друг и соратник Гарибальди. Возможно, он сохранит свою корону, но эта корона будет лишь отражать блеск, который ей позволит ловить наш героический авантюрист... Король не может принять корону Италии из рук Гарибальди, ибо в данном случае она не сядет плотно на его голову...

Мы должны добиться того, чтобы правительство Неаполя пало прежде, чем нога Гарибальди ступит на материк... В миг, когда король [Неаполя] отречется, мы должны взять управление в свои руки во имя порядка и человечности и забрать у Гарибальди верховное руководство движением за объединение Италии.

Этот смелый, можно даже сказать, дерзкий шаг почти наверняка вызовет испуганные возгласы по всей Европе, приведет к серьезным дипломатическим осложнениям и способен вовлечь нас чуть позднее в войну с Австрией. Зато он спасет нашу революцию и сохраняет для итальянского движения то качество, которое является одновременно его славой и силой: речь о государственности и монархии.

Возникали и иные осложнения. Например, политическое: Бурбоны вывели свои войска из Сицилии, но продолжали считать остров своим владением. 25 июня король Франциск восстановил конституцию, дарованную его отцом в 1848 году, и пообещал Сицилии новые политические и экономические реформы. Он даже попытался начать переговоры с королевством Сардиния, но Виктор-Эммануил, что неудивительно, отказался. Второе осложнение было сугубо внутренним: неумолимо надвигалось крестьянское восстание. Гарибальди и его сторонники (за исключением Криспи) полагали, что проблемы, одолевавшие Сицилию и Mezzogiorno^[175], почти аналогичны проблемам севера; они не осознавали, почему кампания, которая виделась им самим походом за объединение страны, может перерасти в классовую борьбу. Но произошло именно так. По словам одного молодого монаха, свободы не было достаточно для тех, кто лишился хлеба; это была война угнетенных против угнетателей, которых обнаруживали теперь не только при дворе, но и в каждом городе. Требовалось нечто большее, нежели просто свержение Бурбонов. Некоторые

крупные поместья были силой захвачены крестьянами; тем летом Гарибальди получил обращение британского консула в Мессине с просьбой прислать вооруженный отряд для защиты обширной территории в Бронте, до сих пор принадлежавшей потомкам лорда Нельсона. Гарибальди мгновенно откликнулся на этот призыв; последовали массовые аресты и казни.

Кавур между тем убедил Виктора-Эммануила направить Гарибальди официальное письмо с предложением отложить вторжение на материк. Король составил послание, но сам он куда более оптимистично смотрел на вероятное вторжение, чем его главный министр, и, похоже, был куда менее озабочен собственным авторитетом. Поэтому он отправил вслед второе письмо, точнее, личную записку для Гарибальди, где намекал, что официальные инструкции допускается при необходимости игнорировать. Вдобавок в черновике записки содержался следующий абзац:

Генерал должен ответить, что исполнен преданности и почтения к королю и хотел бы иметь возможность последовать наставлениям короны, однако его обязанности по отношению к Италии не позволяют принимать на себя обязательства отказывать в помощи неаполитанцам, если те обратятся к нему, дабы призвать его освободить их от правительства, которому верноподданные и добрые итальянцы попросту не могут доверять. Таким образом, к сожалению, он должен сохранять за собой полную свободу действий.

Гарибальди в самом деле ответил приблизительно в таких выражениях и в таком смысле. Воспользовавшись тайной линией прямой связи с королем, он сообщил Виктору-Эммануилу в конце июля, что решил пересечь пролив 15 августа или даже ранее, и просил прислать 10 000 ружей со штыками до указанной даты. Король, чей оптимизм укреплялся с каждым днем, распорядился сделать все возможное, чтобы удовлетворить пожелания генерала. Он также посоветовал Гарибальди побереечь неаполитанскую армию, дабы ее можно было объединить с армией Пьемонта в случае попытки австрийцев вернуть себе Ломбардию. Франциска II следовало беспрепятственно выпустить из Неаполя, целым и невредимым.

Ширина Мессинского пролива – всего три километра, но он представлял собой существенное препятствие. Армия Бурбонов насчитывала 80 000 человек, из которых 16 000 солдат размещались на побережье Калабрии; флот Бурбонов полностью контролировал окрестные воды. Пробная попытка переправы в ночь на 8 августа завершилась неудачей, и даже после прибытия несколько дней спустя еще двух пароходов и 2000 добровольцев из Генуи многим казалось, что экспедиция «Тысячи» подошла к концу. Однако Гарибальди составил хитроумный план, по которому предполагалось вообще забыть о проливе. Два судна, одно за другим, отправили в бухту Джардини-Наксоса^[176], примерно в пятидесяти километрах к югу от города Таормина, откуда был выход в открытое море. Когда сам Гарибальди прибыл туда во второй половине дня 18 августа, 4200 добровольцев уже находились на борту. Небольшую протечку на одном из судов спешно залатали (залепили коровьим навозом), и «Тысяча» отплыла тем же вечером. На рассвете они очутились в Калабрии.

Наверняка было бы лучше, начни они свой долгий путь сразу, но люди отчаянно нуждались в отдыхе. Те, кто прибыл из Генуи, не спали на протяжении трех суток, а нехватка места на борту вынудила их простоять не смыкая глаз и эту ночь. Повалившись без сил на песок у кромки воды, они потому оказались легкой добычей для двух вражеских кораблей, которые, получив предупреждение о высадке по телеграфу, подошли к побережью и немедленно открыли огонь. Многие инсургенты были убиты или ранены, и когда вечером 19 августа отряд все же выступил в путь, его численность уменьшилась до примерно 3600 человек. По счастью, это было последнее испытание. Инсургенты спокойно преодолели по суше тридцать километров до Реджо и заняли город после короткой, но яростной стычки. По мере

их продвижения по Калабрии сопротивление Бурбонов ослабевало. Сохранились замечательные мемуары, где упоминается, что Гарибальди бродил среди сдавшихся в плен неаполитанских солдат, напоминал им, что они тоже итальянцы, и приглашал присоединиться к «Тысяче». Между тем неаполитанский флот покинул пролив, что позволило еще большему числу добровольцев переправиться на материк с Сицилии. Начались народные восстания в Потенце, Фодже и Бари. Разумеется, дорога не была легка; от Реджо до Неаполя около двухсот миль по пересеченной местности, и люди валились с ног от усталости, жары и дефицита воды.

Зато столкновений больше не случалось. Король Франциск впал в панику. Британский дипломат Одо Рассел, состоявший в миссии при неаполитанском дворе, сообщал, что, когда Гарибальди вошел в Палермо, король «по телеграфу пять раз за двадцать четыре часа испрашивал папского благословения». Франциск знал, что его армия неспособна к дальнейшему сопротивлению мнимым непобедимыми краснорубашечникам, а он не в состоянии вдохнуть в своих солдат боевой дух; единственным спасением виделось бегство. 6 сентября король отплыл в Гаэту.

В тот же день Гарибальди достиг Салерно, расположенного приблизительно в пятидесяти милях от Неаполя. Там его пригласили войти в город, причем приглашение доставили лично градоначальник и командир гарнизона Национальной гвардии. Он охотно согласился, поскольку прекрасно понимал, что иначе ему предстоит сражаться с несколькими тысячами преданных Бурбонам солдат в крепости и в казармах; безусловно, он рисковал, но сознавал, на что идет, а к тому же не доверял Кавуру и опасался тайного удара в спину.

В Неаполь Гарибальди приехал, по иронии судьбы, по железной дороге «Короля Бомба». С момента открытия в 1839 году ветка протянулась далеко на юг и теперь достигла Вьетри, городка на побережье неподалеку от Амальфи. Гарибальди сразу же реквизирует весь подвижной состав, который отыскал, и погрузил свою армию в вагоны. Сам он, с шестью спутниками, взобрался в открытый экипаж и медленно покатиł вдоль путей, продираясь сквозь плотную толпу местных жителей. Когда поезд пришел в Портичи, Гарибальди настоятельно отговаривали остановиться: мол, пушки из фортов уже наверняка нацелены на железнодорожный вокзал. Но Гарибальди не стал никого слушать; в половине второго днем 7 сентября поезд прибыл в Неаполь. Тем же вечером Гарибальди обратился к ликующим народным массам с балкона королевского дворца, поблагодарил неаполитанцев «от имени всей Италии, которая, благодаря их содействию, наконец-то стала единой». Это была бесстыдная ложь – ведь неаполитанцы не пошевелили и пальцем, – но вожак инсургентов явно полагал, что от толики лести на данном этапе не будет никакого вреда. После благодарственной мессы в соборе – на которой отсутствовал кардинал, ревностный сторонник Бурбонов – Гарибальди отвезли в карете во дворец Палаццо д'Ангри, предоставленный бессрочно в его распоряжение. Ликование на улицах продолжалось до тех пор, пока один из офицеров генерала не вышел на балкон и не попросил толпу умерить пыл – дескать, великий человек хотел бы немного отдохнуть.

Он не пытался переселиться в королевский дворец, оставался в этом палаццо, где занимал небольшую комнату наверху с простой железной кроватью, и каждое утро с десяти до одиннадцати принимал всех, кто желал с ним поговорить. Среди посетителей было много иностранных журналистов, так как Гарибальди сделался героем всей Европы. В одном только Лондоне продали около полумиллиона оттисков его портрета, а в 1861 году компания «Пик Фрин» из Бермондси начала выпускать «гарибальдийское» печенье (более известное как «раздавленная муха»), которое популярно по сей день.

Следующие два месяца Гарибальди правил Неаполем и Сицилией как диктатор. Между тем он планировал свой следующий шаг, то есть немедленное выступление на Рим и Папскую область. Этот шаг, впрочем, так и не был предпринят. Кавур, не сумевший предотвратить вторжение инсургентов на материк и прекрасно понимавший, что, поскольку французская

армия продолжает оккупировать Рим, позволить Гарибальди двигаться дальше значит спровоцировать войну с Францией, решил остановить своевольного авантюриста. Безусловно, он преследовал и собственные интересы: эти краснорубашечники быстро поймут, что великолепно обученные французские войска сильно отличаются от всех противников, какие им до сих пор встречались, и Италия вполне может утратить все, чего добилась за последние два года. Кроме того, Кавур по-прежнему был озабочен вопросами личного авторитета. Гарибальди сделался намного популярнее Виктора-Эммануила, а потому существовала реальная (для Кавура) опасность того, что он может изменить королю Сардинии и податься в республиканцы.

Гарибальди, конечно, был осведомлен о враждебности Кавура, но не сомневался в молчаливой поддержке короля; вскоре после прибытия в Неаполь он позволил себе публично потребовать отставки главного министра. Увы, он сильно переоценил свое положение. Виктор-Эммануил понял, что далее невозможно терпеть взаимное недовольство этих двоих, счел наиболее разумным и безопасным для себя одобрить политику своего правительства. Впрочем, ничто – никакая лавина писем, инспирированных Кавуром, от знаменитых иностранцев, начиная от венгерского патриота Лайоша Кошута и заканчивая британским социальным реформатором лордом Шефтсбери – не могло поколебать решимость Гарибальди идти на Рим. Единственным фактором, который мог его переубедить (и в конечном счете переубедил), был форс-мажор.

Вскоре после того, как Гарибальди покинул Неаполь и двинулся в сторону Рима, выяснилось, что против него выступили две огромные армии – пьемонтская и, как ни удивительно, неаполитанская. Несмотря на недавние неудачи на Сицилии и в Калабрии (ставшие следствием, скорее, некомпетентности генералов, чем слабости самих войск, которые доблестно сражались при Калатафими и Милаццо), армия короля Франциска оставалась, по сути, незадействованной. Лишь малая доля ее солдат перешла на сторону инсургентов, а король сумел пополнить армейские ряды даже за время своей добровольной изоляции в Гаэте. В настоящее время его войска занимали укрепленный город Капуя, примерно в пятнадцати милях к северу от Неаполя; Гарибальди соответственно разместил свой штаб в Казерте, всего в семи или восьми милях от противника. Он знал, что позиция рискованная и что двигаться следует осторожно.

Именно тогда на Сицилии вспыхнул жаркий спор относительно аннексии острова. 19 сентября Гарибальди пришлось спешно отправиться в Палермо – и один из его генералов, венгр по имени Стефано Турр, решил воспользоваться этим, как он думал, благоприятным шансом. Он пошел к Капуе и отправил отряд численностью 300 человек захватить городок Калаццо на вершине холма над рекой Вольтурно. Армия Бурбонов без труда отразила этот наскок Турра, а затем, два дня спустя, 7000 неаполитанцев начали полномасштабное наступление на Калаццо, куда Гарибальди, успевший вернуться с Сицилии, послал еще 600 человек. Калаццо пал. Сам Гарибальди, как обычно, сражался в передней линии и потерял 250 человек (чего не мог себе позволить) убитыми, ранеными и пленными. Так Бурбоны одержали свою первую победу – и показалось, что маятник, как говорится, качнулся в другую сторону.

Но в первый день октября Гарибальди отомстил. Известная сегодня как битва у реки Вольтурно, стычка произошла вблизи Капуи, у крохотной деревеньки и аббатства Сан-Анджело в Формисе, на склонах горы Тифата^[177]. Победа далась дорогой ценой – погибли и были ранены около 1400 человек, – но она спасла Италию. В очередной раз поражение армии Бурбонов спровоцировало неумелое командование. Как пояснил Гарибальди при последующем разборе сражения, выбери противник иную стратегию, Бурбоны сумели бы ворваться в Неаполь с весьма небольшими потерями и уничтожить многое, если не все, из того, чего инсургенты к тому времени добились.

Между тем вторая армия была на марше. Кавур, твердо намеренный перехватить инициативу, начал собственное вторжение на территории Папской области – Умбрию и Марку. Оставив в покое Рим, он счастливо избежал открытого конфликта с Францией и, вполне возможно, Австрией; также он расчистил себе путь на юг, где можно было бы притвориться, что пьемонтцы спешат на выручку Неаполю, в котором якобы бесчинствуют революционеры. Самое главное, он сумел, хотя бы частично, устранить преграду в облике Папской области, которая столь долго разделяла Италию надвое и делала объединение невозможным. Сама кампания оказалась не слишком примечательной, зато эффективной. Пьемонтцы справились с упорным сопротивлением Перуджи, одержали незначительную победу над папским войском близ деревни Кастельфидаро под Лорето и после пятидневного сражения захватили Анкону, пленив 7000 человек, в том числе командующего папской армией, французского генерала Кристофа де Ламорисьера. С папскими вооруженными силами на этом было покончено, отныне они не доставляли неприятностей.

Сам Виктор-Эммануил, в сопровождении своей давней любовницы Розины Верчеллана (одевавшейся обычно, как пишут, чтобы разить наповал), решил, что настала пора принять личное командование пьемонтской армией. С этого момента звезда Гарибальди начала закатываться. Битва при Вольтурно убедила его, что марш на Рим не представляется возможным; теперь, когда на его пути оказался король, он понял, что правление на юге завершается. Подтверждением тому стали события 21 октября 1860 года, когда состоялись плебисциты в Неаполитанском королевстве и на Сицилии, в Умбрии и Марке; вопрос задавался один – желает ли население, чтобы их территории составляли неотъемлемую часть Италии под властью Виктора-Эммануила. Результат был ошеломляющим: на Сицилии «за» проголосовали 432 053 человек (и лишь 667 – «против»).

Это почти единодушное одобрение, очевидно, нуждается в некоторых пояснениях. Мало кто из голосовавших имел внятное представление о происходящем: не было ни времени, ни соответствующих технологий, чтобы разъяснить людям суть дела. Те, кто были против, зачастую подвергались сильному давлению, их убеждали вовсе не голосовать. Многие крестьяне опасались, что их заманивают на военную службу, и потому бежали в горы; другие считали, что их всего-навсего просят выразить свое восхищение Гарибальди. Так или иначе, все это не имело значения. Организаторы голосования прекрасно понимали, что от них требуется.

Когда стало ясно, что по итогам плебисцитов диктатуре Гарибальди пришел конец и все полномочия передаются правительству в Турине, многие сицилийцы, воспринимавшие его как героя и освободителя, не скрывали своего негодования. Еще большую обиду острову нанесли, когда по важнейшему вопросу регионального самоуправления Кавур отказался от собственных слов. Оказалось, что никакой автономии для Сицилии не предусматривается. Увы, он был типичным северянином, не знал – и потому не понимал – обычаи и традиции юга. Глядя на Сицилию (где никогда не бывал) из Турина, с безопасного удаления в добрых шестьсот миль, если лететь по прямой, он заключил, что остров нуждается в хорошей дозе северной дисциплины. Последующие годы показали, насколько сильно он ошибался.

Со своей стороны, Гарибальди принял случившееся достойно. 26 октября он встретился с королем в Теано, а 7 ноября они вдвоем въехали в Неаполь, сидя бок о бок в королевской карете. Он просил лишь об одном – оставить за ним на год управление Неаполем и Сицилией в качестве полномочного представителя короны. Но просьбу отклонили, поскольку в глазах многих Гарибальди оставался опасным радикалом и антиклерикалом, по-прежнему мечтавшим об освобождении Рима от власти папы и превращении города в столицу Италии. Чтобы, так сказать, подсластить пилюлю, Виктор-Эммануил предложил ему звание полного генерала, а также великолепное поместье, личный корабль и ряд других привилегий. Но Гарибальди отверг эти дары. Он был истинным революционером и патриотом; пока Австрия продолжала владеть Венецией и Венето, а папа продолжал временно править Римом, он не собирался расставаться со свободой действий. 9 ноября он отплыл на крошечный остров

Капрера у побережья Сардинии, где у него была ферма, взяв с собой лишь немного денег – в долг, поскольку ничего не накопил за месяцы своей власти, – несколько мешков сахара и кофе и мешок семян.

В воскресенье на страстной неделе, 17 марта 1861 года, Виктор-Эммануил II был провозглашен королем Италии. Старик Массимо д'Ацельо, предшественник Кавура на посту главного министра, будто бы заметил, когда услышал эту новость: «L'Italia è fatta: rerstano a fare gli italiani»^[178]. Хотя и первая половина этой фразы соответствовала истине – итальянцы как нация и вправду обрели существование, даже если еще не во всей полноте, – вторая половина была куда вернее. Франциск II продолжал сопротивляться; страна оставалась разделенной со времен падения Римской империи, и мало кто из 22 миллионов человек населения Италии по-настоящему считал себя итальянцем. Север и юг не имели практически ничего общего, их стандарты жизни радикально различались – и, впрочем, различаются по сей день. Новые дороги и железные дороги требовалось прокладывать незамедлительно. Страна нуждалась в национальной армии и флоте, равно как и в единой правовой системе, гражданской администрации и единой валюте. При этом не имелось никакой альтернативы принятию пьемонтских институтов; данная принудительная «пьемонтизация» вызывала широкое возмущение и изрядно мешала обретению единства. Даже решение короля сохранить в титуле наименование «Второй» воспринималось как обида. В качестве короля объединенной Италии он, несомненно, был Виктором-Эммануилом I; словом, постоянно возникал вопрос: Рисорджименто – это действительно возрождение Италии или просто завоевание Италии Савойским домом?

Менее чем через три месяца после королевского указа скончался Кавур. Он провел последние недели жизни в яростных дебатах относительно будущего Рима – города, где, стоит отметить, сам ни разу не был. Все другие крупные итальянские города, утверждал он, являлись независимыми образованиями, и каждый дрался в собственном углу; только Рим, где пребывал Святой престол, оставался выше подобного соперничества. Папу следует попросить отказаться от временной власти над городом, но папскую независимость нужно сохранить любой ценой, поскольку требуется «свободная церковь в свободном государстве». Кавур столкнулся с сильной оппозицией – среди его противников самым язвительным был Гарибальди, вернувшийся с Капреры в апреле: он явился на заседание римской ассамблеи в красной рубашке и сером пончо и обрушил поток брани на голову Кавура, который, по его словам, продал половину страны французам и сделал все возможное для того, чтобы не допустить вторжения Обеих Сицилий. Увы, он преуспел только в том, чтобы подкрепить общее мнение: блестящий полководец далеко не всегда становится государственным деятелем. Кавур легко победил в голосовании о доверии. Это была его последняя политическая победа. Он умер внезапно, 6 июня 1861 года, от обширного инсульта – в возрасте всего пятидесяти лет.

Проживи Камилло Кавур хотя бы еще десятилетие, он воочию увидел бы, как встают на место последние две части итальянской «головоломки». Что касается Рима, ситуацию немало усугубил Гарибальди, который в 1862 году предпринял довольно нелепую попытку повторить свой триумф двухлетней давности. Провозгласив лозунг «Рим или смерть!», он собрал 3000 добровольцев в Палермо, овладел не слишком сопротивлявшейся Катанией, затем в августе реквизирует пару местных пароходов, пересек пролив и из Калабрии начал еще один поход на Рим. На сей раз, однако, правительственные войска оказались готовы к такому развитию событий. Он добрался лишь до горного массива Аспромонте на крайнем юге Калабрии – на «мыске» Италии, – где его атаковали. Страшась гражданской войны, Гарибальди приказал своим людям не стрелять; все равно несколько человек погибли, а ему самому раздробило правую лодыжку. Гарибальди арестовали и отправили канонеркой в Неаполь – где сразу же отпустили на свободу. В конце концов, он был национальным героем и правительство не осмелилось преследовать его всерьез.

Подведем черту максимально кратко и быстро. В 1866 году прусский канцлер Отто фон Бисмарк считал Австрию серьезным препятствием на пути к осуществлению своей мечты об объединении всех немецких государств в единую империю. Поэтому он заключил союз с новым королевством Италия: предполагалось атаковать Австрию одновременно на двух фронтах. В случае победы Италии обещали Венецию и Венето. Достаточно оказалось одного сражения, 3 июля при Садовой (или, по-немецки, Кенигграц), в шестидесяти пяти милях к северо-востоку от Праги; в этой схватке сошлось наибольшее количество войск – около 330 000 человек, – когда-либо участвовавших в битве на европейской территории. Победа Пруссии была безоговорочной. Она обескровила военный потенциал императора Франца-Иосифа и открыла путь на Восток. Последовавшее перемирие надлежащим образом привело к уступке обещанной Италии территории. Венеция уже не была независимой республикой, как когда-то была, но являлась, по существу, сугубо итальянским, а не австрийским городом; теперь Италия могла похвастаться новым, экономически весьма важным портом на северной Адриатике.

Но единство Италии оставалось неполным без Рима; Вечный город тоже удалось приобрести благодаря любезности Бисмарка, который коварно заманил Францию в войну своей угрозой посадить принца из правящего прусского дома Гогенцоллернов на трон Испании. Данный вариант был категорически неприемлемым для французов, которые оказались бы иначе окружены Германией и ее союзниками. Поэтому 15 июля 1870 года началась война – объявленная Францией, а не Пруссией. Противостояние было упорным; Наполеону III требовались все солдаты, способные держать оружие. Поэтому к концу августа в Риме не осталось ни одного французского солдата. Папа Пий IX лишился всякой защиты. Поражение Наполеона при Седане 1 сентября ознаменовало гибель Второй империи; 20 сентября итальянская армия вошла в Вечный город. Папа укрылся в стенах Ватикана, где и провел последние восемь лет своей жизни. Плебисцит, который вскоре состоялся, зафиксировал 133 681 голос в пользу включения Рима в новое королевство и лишь 1507 голосов против. Отныне Рим сделался частью Италии, не по праву завоевания, а по воле народа^[179]; и королевство Италии под властью Виктора-Эммануила II наконец-то заняло место среди наций Европы.

Как показали результаты голосования, сицилийцы радовались ничуть не меньше своих новых соотечественников. Ведь они, в конце концов, были куда больше итальянцами, чем испанцами; пусть король был из Пьемонта (скорее, человеком гор, чем человеком моря, причем правил достаточно далеко от Сицилии, чтобы относиться к нему терпимо, оставаясь итальянцами), но казалось, что уж теперь-то им позволят сыграть значительную роль в определении собственной судьбы. Во всяком случае, они на это надеялись.

Глава 16

Мафия и Муссолини

В восприятии сицилийцев объединенная Италия – во многом из-за грубых ошибок, допущенных Туринской, – начала свое существование не лучшим образом. Новое итальянское правительство ненавидели, пожалуй, даже больше, чем предшествовавших ему Бурбонов. Население Сицилии возмущалось не только отказом предоставить обещанную автономию, но и избавлением от Гарибальди, который удостоился, как говорится, лишь благодарности сквозь зубы за все свои поразительные свершения. Недоверие Кавура к этому безупречному национальному герою побуждало главного министра при любом удобном случае бросать тень на репутацию Гарибальди. Управление островом передали людям, которых сам Гарибальди презирал; многие его чрезвычайно разумные рекомендации были сознательно проигнорированы^[180]. Но Кавур забыл о колоссальной популярности своего соперника; более того, он не смог осознать того факта, что, по глубокому убеждению сицилийцев, именно они 4 апреля 1860 года сделали первый шаг к освобождению и объединению Италии. Так

неужели аннексия – вдобавок со стороны Пьемонта, подумать только! – окажется их наградой?

Чиновники, которых Турин присылал навести порядок на Сицилии, быстро утрачивали иллюзии относительно поставленной им задачи. Они ожидали найти на острове тот же Пьемонт, разве что беднее и печальнее; вместо того они попадали в совершенно другой мир, опиравшийся на иную систему ценностей. О северных ценностях здесь нисколько не задумывались. Семейственность, например, вовсе не считалась пороком: напротив, обязанностью любого порядочного человека было сделать все возможное, чтобы помочь своей семье и своим друзьям^[181]. Патронат тоже рассматривался как «естественный» обычай, на нем зиждились все сделки и все соглашения, и «клиентская» сеть раскинулась по всему острову. Прочие проблемы были не менее значительны: крепкое и глубоко реакционное духовенство, которое в большинстве своем желало реставрации Бурбонов; потенциально опасные группы революционеров мечтали о независимой сицилийской республике. В подобных условиях организовать справедливое и беспристрастное управление не представлялось возможным; потому туринские бюрократы, которым полагалось что-то изменить, лишь пожимали плечами и торопились покинуть Сицилию, почти сразу после прибытия на остров подавая заявление о переводе.

После 1870 года вся горечь и обиды на Пьемонт, продолжавшие терзать Сицилию, оказались направлены на королевство Италия; в особенности островитян возмущали два института, этакое олицетворение всех «грехов» нового государства: налогообложение и воинская повинность. Что касается налогов, тут в недовольстве не было ничего нового; налоги существовали всегда, и всегда же Сицилия старалась избежать их уплаты, изобретая порой удивительно артистичные способы уклонения. Собираание налогов на острове находилось почти под полным контролем местных деревенских «боссов»; друзей и родственников мэра обычно освобождали от налогообложения. Если образно, с крестьянского мула налог взимали, а с рогатого скота крупного помещика – нет. С воинской повинностью все обстояло серьезнее. Бурбоны так и не осмелились ее ввести; попытка Пьемонта навязать острову эту практику едва не привела к революции. Сицилия была почти исключительно сельскохозяйственным обществом, причем таким, где женщины оставались в своих домах. Никогда и нигде на острове они не трудились в полях и крайне редко появлялись на улицах. Отсюда вытекало, что, если забрать в армию мужчину, одной парой рук для возделывания земли, посева семян и сбора урожая станет меньше. Чтобы не допустить подобного, островитяне шли на отчаянные меры: детей попросту не пускали в школу, мальчиков записывали в приходские книги как девочек, на комиссаров по призыву нападали. Из тех невезучих, которым вопреки всем усилиям пришлось все-таки отправляться на службу, половина дезертировала, еще не добравшись до казарм.

Коротко говоря, Сицилия – в особенности западная часть острова, где крупных имений было меньше, а бедность преобладала – постепенно становилась оплотом беззакония. Никто не стыдился быть лодырем или даже дезертиром, поскольку островитяне не проявляли лояльности по отношению к новому государству. Тот факт, что итальянское правительство было либеральнее автократов-Бурбонов, лишь облегчал махинации (или позволял вообще игнорировать указы «сверху»). Правительство поделило остров на шесть провинций и учредило четыре полицейских отряда, которые жарко соперничали между собой. Разыскиваемые преступники без труда проскальзывали из зоны ответственности одного отряда в другую. Бандитизм процветал; в Палермо похитили британского консула, за одну ночь вырезали десяток человек. В целом на острове показатель убийств в десять раз превышал аналогичный для Пьемонта и Ломбардии.

Как с этим справиться? Итальянское правительство применило фактически единственный доступный ему вариант действий – решило ответить на силу силой. Генерал Джузеппе Говоне имел замечательный послужной список. Он отличился в битве при Мадженте, а также, что несколько удивительно, в ходе Крымской войны^[182], где под Балаклавой стал

очевидцем знаменитой атаки легкой бригады^[183]. В 1862 году, хотя ему еще не исполнилось сорока, его назначили управлять Сицилией и наделили обширными полномочиями, в том числе правом казнить и миловать; по сути, он мог поступать как заборорассудитс. В итоге на острове установился порядок, подозрительно напоминавший деспотизм. Людей арестовывали без суда и держали в заключении многие годы; брали в заложники и нередко казнили; запасы воды урезались; пытки получили широкое распространение. Народ все сильнее презирал правительство, да и сам Говоне сделался объектом нападков, ибо он пытался доказать местному парламенту, что никакие другие методы не будут работать «там, где еще не завершился цикл перехода от варварства к цивилизации». Протесты обернулись парламентским расследованием, отставками в правительстве и некоторым числом дуэлей среди депутатов. Говоне признали невиновным, однако сочли безопаснее вернуть его на материк. Сицилия снова осталась без руководства.

В 1863 году была поставлена пьеса, действие которой разворачивалось в Уччардоне, главной тюрьме Палермо. Постановка пользовалась огромным успехом. Спектакль назывался «I Mafiusi della Vacaria»^[184] и подарил новое слово сицилийскому диалекту – и впоследствии итальянскому языку. Как наглядно показывают предыдущие страницы этой книги, в мафии не было ничего нового – за исключением, возможно, самого слова; ее смутные истоки можно проследить вплоть до испанских колониальных времен. После 1860 года мафия, так сказать, приобрела новое измерение. В те времена она ни в коей мере не была монолитной организацией: индивидуальные *cosche*^[185] нередко враждовали друг с другом, поскольку каждая стремилась расширить собственную территорию и собственную сферу влияния. При этом совокупно они доминировали на большей части острова, особенно на западе. На первых парламентских выборах в январе 1861 года это стало очевидным. Голоса практически не подсчитывались; электорат – то есть те, кто умел читать и писать, составлял чуть более одного процента населения; результаты были predeterminedены.

Пять лет спустя, в сентябре 1866 года, Палермо пострадал от очередного восстания, четвертого за последние полвека. Это восстание было организовано мафией, что подразумевало отсутствие явных лидеров договоренностей в письменном виде. (Впрочем, большинство мафии все равно было неграмотным.) Но предупреждение разошлось заранее, населению велели выходить на улицы, когда начнется стрельба. Основной целью этого восстания было не свержение правительства; никто не потрясал транспарантами и не скандировал лозунги. Это восстание было призвано продемонстрировать власть мафии и доставить хлопот чиновникам, и результат оказался весьма убедительным. Мятежники опустошили арсеналы, разграбили правительственные здания и суды, уничтожили записи о судимостях. Конечно, чем дальше, тем сильнее восстание выходило из-под контроля, толпа искала дополнительные возможности учинить грабеж и насилие; однако начало мятежа – одновременное появление нескольких сотен мужчин на дороге из Монреале и их непоколебимая сосредоточенность на предварительно выбранных целях – несомненно свидетельствовало о тщательном планировании. Одним из объектов нападения стала тюрьма Уччардоне; прорвись мятежники внутрь и выпустили они из камер около 2500 арестантов, последствия восстания могли быть намного хуже. К счастью, паровой корвет «Танкреди», прибывший в последний момент, обстрелял атакующих картечью и гранатами. Правда, на этом сражение не закончилось; власти направили в город примерно 40 000 военных, и минула целая неделя, прежде чем итальянский флот принудил Палермо к повиновению.

Сообщение было четким и ясным: мафия дала понять, что с нею необходимо считаться. Но что она собою представляла? Это какое-то проявление сицилийского менталитета, порожденное многовековой традицией беспорядков, восходящее, возможно, к временам арабов, тысячелетней давности? Или просто коллективное обозначение скопища преступных группировок, каждая из которых действует сама по себе? Или это действительно организация, своего рода криминальное братство, с боссом и рядом помощников? Что касается последнего описания, именно к такому образцу мафия в итоге и пришла; но

потребовались огромные усилия, чтобы скрыть тот факт, что одной из главных причин ее успеха стала способность маскироваться: многие люди до сих пор считают, что мафии на самом деле не существует.

Но тогда (и сейчас) так думали далеко не все. Мэр Палермо тех времен, маркиз Рудини, был ставленником короля и честным человеком. Он мужественно сражался в ходе восстания, сначала в городской ратуше, а затем в королевском дворце; именно ему, больше, чем кому-либо еще, принадлежит честь спасения архитектурной жемчужины Палермо, Палатинской капеллы, от разграбления и разрушения. В мае 1867 года, когда из Рима прибыла парламентская следственная комиссия, маркиз высказался прямо:

Мафия могущественна – пожалуй, она куда могущественнее, чем кажется людям. Обнаружить ее и наказать очень часто невозможно, поскольку нет никаких доказательств преступлений и некого обвинить... Мы никогда не наберем достаточно доказательств для подготовки судебного процесса и его успешного завершения.

Только те, кто располагает покровительством мафии, могут свободно передвигаться по сельской местности... Отсутствие безопасности породило следующую ситуацию: те, кто желает поселиться на природе и жить в глуши, вынуждены становиться разбойниками. Иного выхода нет. Чтобы защитить себя и свое имущество, вы должны полагаться на защиту преступников и тем самым связать себя с ними.

Уччардоне – тюрьма в Палермо – выступает своего рода правительством. Именно оттуда исходят распоряжения и устанавливаются правила. В Уччардоне знают обо всем, и это побуждает заключить, что в мафии есть официально признанные главаря. В сельской местности в окрестностях Палермо преступные шайки распространены очень широко, и у каждой свой вождь; но зачастую они действуют согласованно и получают приказы из Уччардоне^[186].

Cosa nostra, другими словами, пришла, чтобы остаться.

Пожалуй, наиболее масштабным и разрушительным по своим последствиям законом, принятым правительством Италии в конце девятнадцатого столетия, был тот, который вошел в историю как закон о роспуске монастырей. Сама процедура значительно уступала в полноте и тщательности той, каковая проводилась в Англии около трехсот пятидесяти лет назад; но чем ближе надвигался рубеж столетий, там сильнее становились антиклерикальные настроения. В Германии при Бисмарке, во Франции при Гамбетте – да и в Пьемонте при Кавуре – церковь находилась под непрерывным давлением. Сицилия виделась довольно крепким орешком: во-первых, просто потому, что это была Сицилия; во-вторых, потому, что в местности, настолько пронизанной суевериями, духовенство обычно почитают больше. Минимум десять процентов населения острова были активными прихожанами, а количество соборов, церквей и монастырей намного превосходило потребности этой доли населения. В Каккамо, например, имелись: собор, двадцать девять церквей и девять монастырей – при численности мирского населения 6000 человек.

Гарибальди давно предлагал перераспределить большую часть территорий церкви между неимущими крестьянами, тем самым создав новый класс малых землевладельцев, у которых появится, на что жить; однако эту замечательную идею (как вряд ли стоит уточнять) отвергли. Вместо того было решено продавать землю с аукциона, причем более крупными наделами, чем виделось Гарибальди, и по максимально высокой цене. Разумеется, в процесс вмешалась мафия; аукционистов запугивали и / или подкупали, группы состоятельных покупателей формировали «ассоциации», чтобы понизить цену и избавиться от ненужной конкуренции; правительство потеряло до девяноста процентов от стоимости земли, а богачи в итоге стали намного богаче. Монахи и монахини, с другой стороны, вместе со множеством священников, лишились крова; около 15 000 мирян, трудившихся на монастыри, остались

без работы; бесчисленные благотворительные школы, больницы, детские дома и суповые, которые делали жизнь сносной для городской бедноты, были вынуждены закрыть свои двери. Окончательный результат был таков: правительство получило то, на что никак не рассчитывало и что вряд ли могло себе позволить – непримиримую вражду с церковью, которая со временем все чаще и чаще обращалась за поддержкой к мафии.

У правительства имелись и другие враги: те, кто грезил возвращением Бурбонов, и те, кто жаждал автономии острова в составе королевства Италия или даже независимости (для значительной группы сицилийских националистов Италия была «заграницей», и они даже отказывались говорить по-итальянски). Представлялось почти невозможным отыскать людей, которые выступали за союз с королевством. Турин настолько не любили, настолько игнорировали и столь часто ослушивались, что, по словам очевидца восстания, любая иностранная держава, попытавшаяся отобрать Сицилию у Италии, получила бы на острове такой же восторженный прием, какой устроили Гарибальди, освободителю от ига Бурбонов^[187].

Через десять лет после восстания в Палермо появился отчет о ситуации в Сицилии, составленный двумя тосканскими баронами, Леопольдо Франкетти и наполовину валлийцем Сиднеем Соннино. Это, безусловно, наиболее толковый и подробный среди всех отчетов об острове в годы после вхождения в состав итальянского государства; выводы баронов были далеко не радужными. Коррупция проявляла себя повсюду, в каждой ратуше, в каждом кабинете чиновника. Те налоги, которые не оседали в чьих-либо карманах, расходовались в основном на взятки, а остатки, как правило, шли на строительство общественных зданий, преимущественно театров. (В Палермо построили несколько крупнейших театров Европы, прежде чем взялись за строительство больницы.) Что же касается «Почтенного общества» – как любили называть себя мафиози, – оно просто заполнило собой разрыв между идеалом и возможностями правительства. Преступление являлось инструментом, посредством которого мафия достигала своих целей, то есть добивалась уважения, власти и денег. При этом преступление не считалось зазорным: многие преступники, даже убийцы, пользовались покровительством высшего света Палермо. Если бы землевладельцы западной Сицилии того действительно захотели, с разбоем можно было покончить быстро; к сожалению, «нет ни одного собственника, живущего в своем имении, который не был бы прямо связан с разбойниками». Как следствие, мелкие преступники зачастую действуют под защитой могущественных баронов, которые фактически предоставляют им иммунитет против ареста и суда.

Так что же можно предпринять? Откровенно говоря, мало что. Если ввести честных сицилийцев в состав руководства острова, у них почти нет шансов преуспеть; чужаков же будут постоянно обманывать, облапошивать и ставить в смешное (в лучшем случае) положение. Проблема, словом, не имеет решения. Впрочем, Сицилия не желала мириться с таким положением дел. Несмотря на двух сменявших друг друга сицилийских премьер-министров Италии – Франческо Криспи и Антонио ди Рудини, чьи имена уже упоминались на страницах этой книги (они, с единственным коротким перерывом, занимали эту должность с 1887 по 1898 год), – жизнь на острове для фермеров и крестьян становилась все труднее. По словам британского консула в 1891 году, «цена труда не повысилась за последние 20 лет, зато стоимость жизни удвоилась».

С другой стороны, росла грамотность, а благодаря призыву на военную службу гораздо больше молодых сицилийцев, чем когда-либо раньше, путешествовали по Италии (порою и за рубежом) и возвращались домой с новыми идеями. Примерно в 1890 году начали формироваться небольшие группы, известные как *fasci*, или «пучки»; так рождалось профсоюзное движение, готовое бастовать ради повышения заработной платы или улучшения условий труда. В мае 1893 года на Сицилии прошел региональный конгресс социалистов; в июле состоялась встреча нескольких сот крестьян. Эти мероприятия

неизбежно завершались демонстрациями, а демонстрации перерастали в массовые беспорядки. Помещики и гражданские власти пребывали в панике.

В декабре 1893 года Франческо Криспи вернул себе пост премьер-министра Италии. Прошло некоторое время с тех пор, как он уделял пристальное внимание родному острову; но теперь он не стал медлить. На Сицилии объявили чрезвычайное положение. Не имея никаких доказательств, Криспи обвинил *fasci* в заговоре (при содействии Франции и России) с целью «оторвать» остров от материковой Италии. Итальянский флот приблизился к побережью; 40 000 солдат направили восстанавливать порядок, что и было проделано грубой силой, ценой буквально тысяч арестов и периодических казней арестованных. 16 июня 1894 года сам Криспи чудом избежал смерти: некий анархист пытался его убить; в результате был принят ряд законов против анархистов. Кроме того, премьер воспользовался ситуацией для проведения новых выборов на собственное благо и благо своего правительства, устранив имена сотен противников из избирательного списка (в том числе имена нескольких университетских профессоров, которых уличили (!) в неграмотности) – и выпуская на свободу осужденных в обмен на обещание поддержать правительственных кандидатов. По словам одного оказавшегося не у дел социалиста из Катании, Джузеппе де Феличе Джуффриды, Франческо Криспи был худшим мафиозо из всех.

В 1896 году Криспи «наследовал», во второй раз, его соотечественник-сицилиец маркиз Рудини, который первым провел эксперимент с предоставлением острову частичной автономии. Он действовал медленно и осторожно – и, разумеется, не собирался создавать местную ассамблею, как предлагал Гарибальди; вместо того он назначил специального регионального комиссара, парламентария по имени Джованни Кодрончи. Эксперимент провалился – по причинам, которые к тому времени были всем очевидны. Во-первых, Кодрончи был северянином (из Имола) и, следовательно, пришел в растерянность от островного населения, языка и обычаев. Выбрав местом пребывания Палермо, он немедленно настроил против себя Мессину. Все его действия и устремления регулярно натывались на сопротивление, он испытывал постоянное разочарование и оттого решил вдруг попробовать одолеть сицилийцев их собственным оружием, а именно – фальсифицировать итоги новых выборов столь же нагло и беззастенчиво, как это когда-то сделал Криспи; дошло до того, что даже де Феличе Джуффриду, на протяжении многих лет подвизавшегося в парламенте, признали слишком молодым для участия в голосовании. Но все было напрасно. Сицилия снова выиграла.

Наконец, на самом рубеже столетий, ситуация в восточной части острова начала улучшаться. Впрочем, тамошние условия никогда не были настолько плохими, как в Палермо и на западе. Многие приписывали эту разницу тому обстоятельству, что запад Сицилии в прошлом занимали арабские государства, тогда как восток был по преимуществу греческим; либо же Мессина и Катания были просто физически ближе к материку, чем Палермо или Трапани. Какова бы ни была причина, деловые сообщества на востоке оказались гораздо менее подвержены влиянию мафии, чем крупные поместья на западе, и если появлялись разбойники, они сразу же принимали меры. На всем острове самой законопослушной была провинция Сиракузы, где вдобавок лучше всего была налажена связь.

Постепенное улучшение социально-бытовых условий на востоке побуждало сравнивать восток с западом, где условия неумолимо ухудшались. В провинциях Палермо, Трапани, Кальтаниссетта и Джиргенти^[188] в 1910 году было зафиксировано больше преступлений мафии, чем за предыдущие сорок лет; число убийств в Кальтаниссетте почти в десять раз превысило аналогичный показатель в Мессине (одно из объяснений состояло в том, что многие мафиози провели несколько лет в Нью-Йорке, где преступления совершались куда более утонченно и изощренно). Сицилийским преступным миром заправляла организация, известная как «Черная рука». В 1909 году лейтенант Джузеппе «Джо» Петрозино, родившийся в Салерно сотрудник Департамента полиции Нью-Йорка, который за минувшие

четыре года арестовал или репатриировал свыше шестисот итальянских мафиози, прибыл в командировку к Палермо, чтобы изучить контакты преступников Америки на Сицилии. Мартовским вечером, когда он стоял под монументальным бюстом Гарибальди на площади Марина в ожидании парочки потенциальных информаторов, двое мужчин подошли к нему и застрелили в упор. Главным подозреваемым был первый саромafia^[189] Сицилии дон Вито Кашоферро – человек огромного влияния, всевластный в Палермо. Много лет назад в Нью-Йорке он был арестован Петрозино по обвинению в убийстве; его оправдали, но впоследствии он решил, что будет разумнее вернуться на Сицилию. Едва ли нужно уточнять, что дон Вито имел железобетонное алиби: Доменико де Микеле, сицилийский парламентарий, поклялся, что Кашоферро тем вечером находился у себя дома. Никого, похоже, не смутило, что де Микеле приходился сыном «Барону» Пьетро де Микеле, печально известному убийце и насильнику, а также боссу мафии в Бурджо, недалеко от Агридженто; свидетельство приняли безоговорочно. (На самом деле это вполне могло быть правдой: дон Вито, конечно, использовал наемных убийц, а не стрелял сам.)^[190]

Принимая во внимание враждебность между двумя главными городами Сицилии, кажется маловероятным, что лейтенант Петрозино обнаружил в Палермо признаки тревоги; однако городу и вправду следовало заволноваться. За год до приезда лейтенанта, в 5.20 утра 28 декабря 1908 года, на Мессину обрушилось катастрофическое стихийное бедствие – сильнейшее в истории Европы землетрясение силой 7,1 балла по шкале Рихтера; следом на побережье пришла волна высотой сорок футов. Более девяноста процентов городских зданий было разрушено, от 70 000 до 100 000 человек погибли. Сотни людей были похоронены заживо, провели под завалами минимум неделю, все наземные линии связи тоже пострадали, и прошло несколько дней, прежде чем Красный Крест и другие спасатели сумели добраться до города. Почти все муниципальные архивы сгинули, вот почему о столь многих событиях в современной сицилийской истории приходится рассказывать, опираясь на заведомо пристрастную точку зрения Палермо.

Мессинское землетрясение резко увеличило масштабы и темпы эмиграции. Сицилийцы и до того покидали родину в большем числе, нежели любой другой народ Европы. Раньше многие из них совершали относительно короткую поездку в Тунис, тогда являвшийся французским протекторатом; но к 1900 году, пусть Аргентина и Бразилия тоже пользовались популярностью, подавляющее большинство эмигрировало в Соединенные Штаты Америки. К началу Первой мировой войны количество иммигрантов с острова составило не менее полутора миллионов человек. Некоторые деревни лишились практически целиком своего мужского населения и попросту исчезли с карты. Вот, пожалуй, самое трагическое доказательство того, сколь неумело управляли островом долгое время; с другой стороны, многие из эмигрантов, добившись успеха вдалеке, регулярно навещали свои семьи, оставленные позади, а сведения об их свершениях питали молодое поколение новыми амбициями и заставляли учить грамоту и получать образование. Кроме того, растущий дефицит рабочей силы привел к существенному повышению заработной платы в сельском хозяйстве.

Мировая война породила новые проблемы. Экспортные рынки Сицилии, от которых так зависел остров, фактически «схлопнулись» на период боевых действий. Военная промышленность того рода, которой могли похвастаться другие области Италии, здесь почти отсутствовала, поскольку остров не имел необходимой квалифицированной рабочей силы и надежного транспорта. Правительство, отчаянно нуждавшееся в дешевом продовольствии, установило невероятно низкие фиксированные цены на муку; официально обозначенный объем производства пшеницы сократился примерно на тридцать процентов за годы войны. На черном рынке цены взлетели до небес. Что касается мафии, та никогда не чувствовала себя лучше. «Ведущим» злодеем был пресловутый дон Калоджеро Виццини, который каким-то образом избежал военной службы и теперь делал бизнес на нехватках военного времени. В 1917 году пришлось даже принять закон против кражи животных; благодаря

высоким ценам и государственному контролю целые стада пропадали буквально за одну ночь. Впрочем, эти потери восполнялись иным образом: люди, которые уходили сражаться на север, возвращались с новыми навыками и новыми устремлениями – а также с новыми политическими идеями. За годы войны Сицилия последовательно полевела.

В послевоенные годы множество бывших эмигрантов вернулось доживать старость в своих семейных домах, часто со значительными сбережениями; они привезли с собой весь опыт жизни в Новом Свете. Некоторые из них, безусловно, заодно «импортировали» новейшие методики бандитизма, но таковых было пренебрежимое меньшинство; пожалуй, самым важным следствием лет, проведенных за границей, являлось обновленное чувство собственного достоинства, подразумевавшее, что долее невозможно мириться с привычной практикой потакания крупным землевладельцам. Мало-помалу островитяне приучались бросать вызов своим некоронованным хозяевам.

По очевидным географическим причинам сицилийцы всегда ощущали свою близость к Северной Африке, поэтому остров ликовал, когда в 1911 году Италия отняла Ливию у окончательно ослабевшей Османской империи; это было воспринято как первый шаг к созданию собственной великой африканской империи. На самом деле итальянская оккупация Ливии длилась всего тридцать один год и оказалась пустой тратой колоссальных средств, а за войной с Турцией, в ходе которой состоялось это приобретение, быстро последовала Первая мировая война. Она тоже принесла Сицилии мало пользы, разве что снова вырос черный рынок, поскольку условия для деятельности мафии были идеальными. По иронии судьбы, тот самый премьер-министр, который руководил страной вплоть до окончания войны, был самопровозглашенным мафиозо (при этом считалось, что он придерживается, хотя бы на словах, иного взгляда на «Почтенное общество», нежели большинство его современников). Рожденный в Палермо и представлявший близлежащий Партинико – где его поддерживал мафиозный босс Фрэнк Коппола, которого депортировали в Италию из Соединенных Штатов, – Витторио Эммануэле Орландо был связан с мафией на протяжении всей своей жизни. В 1925 году он сообщил итальянскому сенату следующее:

Если под словом «мафия» мы понимаем честь, возведенную в наивысшую степень, отказ терпеть чье-либо высокомерие или самодурство... щедрость духа, которая позволяет доблестно встречать угрозу лицом к лицу, но снисходительна к слабостям и хранит верность друзьям... Если подобные чувства и подобное поведение воистину скрываются за общепринятым представлением о «мафии»... тогда мы фактически говорим об особых характеристиках сицилийской души; и я заявляю, что являюсь мафиозо и горжусь этим фактом.

Этот человек представлял Италию на высшем уровне на Парижской мирной конференции 1919 года, хотя и не вошел в число тех, чьи подписи стояли под окончательным вариантом договора, поскольку ему пришлось уйти в отставку за несколько дней до подписания документа. Был он мафиозо или нет, к Орландо достаточно хорошо относились все участники конференции – за исключением президента США Вильсона, – хотя незнание английского заставляло его передавать большую часть переговоров вечно мрачному и лишенному обаяния министру иностранных дел Сиднею Соннино^[191]. Сам он не трудился скрывать эмоции; когда стало ясно, что Италия не получит порт Фиуме (ныне Риека) в рамках мирного урегулирования, Орландо расплакался. Клемансо называл его «Плаксой»; секретарь британского кабинета сэр Морис Хэнки обронил, что отшлепал бы своего сына за такое непристойное поведение. Но Орландо был не английским школьником, а сицилийцем; Ханки, видимо, на мгновение забыл, что именно он успешно руководил страной на всем протяжении мировой войны.

Пришествие фашизма в 1922 году и возвышение Бенито Муссолини оставили Сицилию равнодушной. Остров всегда считался наименее фашистской частью Италии; на выборах

1921 года партия Муссолини не получила ни одного места. Только в 1924 году, когда дуче («Вождь», как он любил называть) уже утвердился во власти, сицилийские фашисты наконец-то избрались – 38 из 57 человек. В том же году, однако, произошло событие, которое нанесло изрядный урон репутации фашистской партии. Дерзкий молодой парламентарий по имени Джакомо Маттеотти некоторое время публично высказывал свое несогласие с фашистами и их устремлениями; в начале лета 1924 года вышла его книга «Разоблаченный фашист: год фашистской власти». 10 июня группа головорезов затолкала его в машину, он попытался бежать, но получил несколько ударов шилом. Вся страна возмутилась; пожалуй, найди король и ведущие либеральные политики в себе смелость проявить решительность, с Муссолини могло быть покончено раз и навсегда. Но они медлили слишком долго; а пока они медлили, демократия умерла.

Труп Маттеотти наши только десять недель спустя. Участие дуче в убийстве долго обсуждалось, но в конечном счете была установлена его несомненная причастность, и ряд известных сицилийцев – среди них старик Орlando – порвали всякие отношения с Муссолини. Сицилийский драматург Луиджи Пиранделло^[192], который как раз собирался вступить в партию, когда произошло убийство, долго колебался, но в конце концов все-таки вступил. Пройдет еще три года, и он в ярости разорвет партбилет на куски в присутствии шокированного генерального секретаря. После этого и до самой смерти в 1936 году Пиранделло пребывал под пристальным наблюдением тайной полиции.

На самой Сицилии Муссолини достиг на удивление малого. Прирожденный хвостун и шоумен, он обожал попадать в газетные заголовки; но в сравнении с бурно прираставшей итальянской колониальной империей или с драматическими промышленными свершениями на севере остров предлагал не очень-то много, мягко говоря, возможностей для самолюбования. В какой-то момент Муссолини публично похвалился, что ему удалось решить все сицилийские проблемы; журналу под названием «Проблемы Сицилии» пришлось даже переименоваться. На материке электрифицировались железные дороги, страну расчертила сеть автострад, в Африке дорожное строительство тоже набирало обороты. Между тем многие сицилийские деревни оставались связанными друг с другом, как на протяжении многих столетий, только высохшими руслами рек.

Третьего января 1925 года дуче объявил себя диктатором. Теперь наконец он был готов взяться за мафию. Муссолини не принадлежал к типу людей, способных терпеть вызовы их власти, в особенности от организации, столь загадочной и могущественной. Более того, дважды побывав на Сицилии, он осознал, что местные боссы не намерены выказывать ему то уважение, к которому он привык в материковой Италии. В ходе одного из визитов дуче нанесли смертельную обиду: босс Пиана деи Гречи дон Чикко Гучча заявил во всеуслышание, что его гость не нуждается в полицейском эскорте – вполне достаточно того, что сам Гучча рядом с ним. Вдобавок, к тому времени «Почтенное общество» приобрело международное признание. Коротко говоря, было ясно, что на Сицилии Муссолини и мафии слишком тесно. Либо одному, либо другой придется, как говорится, подвинуться. И дуче призвал Чезаре Мори.

Мори родился на севере, в Павии, и ему уже перевалило за пятьдесят. Он вырос в детском доме и учился в военной академии в Турине. Поступив на службу в полицию, он вскоре получил опыт службы на Сицилии, сначала в Кастельветрано (где он отличился, схватив печального известного бандита Паоло Гризальфи), а затем, в 1919 году, в Кальтабеллотте (где произвел больше трехсот арестов за одну ночь). По этому случаю он, как сообщалось, сказал своему сотруднику:

Эти люди еще не поняли, что разбойники и мафия различаются. Мы нанесли удар по разбойникам, которые, конечно, больше всего выделяются среди сицилийской преступности, но они не самые опасные. По-настоящему смертельный удар мафия получит, когда нам разрешат устраивать облавы не в только в здешних лесах и рощах, но и

в префектурах, штаб-квартире полиции, особняках фабрикантов и даже – почему нет? – в некоторых министерствах.

В 1924 году Мори назначили префектом Трапани; но реально он утвердился на Сицилии только 20 октября 1925 года, когда Муссолини перевел его в Палермо и наделил особыми полномочиями. Задача, поставленная Мори, формулировалась просто: искоренить мафию. Телеграмма по поводу назначения практически не оставляла сомнений:

Вашему превосходительству дается карт-бланш; авторитет государства на Сицилии должен быть абсолютным – повторяю, абсолютным. Если какие-либо законы будут мешать, пусть это Вас не смущает: мы составим новые законы.

Мори решительно взялся за дело. В первые два месяца в должности он произвел пять сотен арестов, а в январе 1926 года выдвинулся в городок Ганги в холмах, окружил поселение, лишил всякой связи с внешним миром, арестовал около 450 человек и забил весь домашний скот на центральной площади. Так был установлен шаблон действий на ближайшие три с половиной года по всей западной Сицилии. «Железный префект», как его называли, сражался с мафией и не стеснялся прибегать к мафиозным методам. Он легко одобрял пытки, когда считал это полезным, и нисколько не брезговал брать женщин и детей в заложники, чтобы убедить сдаться их мужей и отцов.

Эта грязная работа еще продолжалась, когда в праздник Вознесения Господня, 26 мая 1927 года, Муссолини обратился к палате депутатов с сообщением об итогах пятилетнего правления фашистского режима. Лейтмотивом выступления дуче было, разумеется, самовосхваление: под его руководством, заявил он, Италия обрела величие, какого не имела со времен Римской империи. Немалая часть выступления была посвящена операции Мори на Сицилии, где уровень убийств упал с 675 в 1923 году до 299 в 1926 году. Когда же, патетически спросил дуче с трибуны, борьба с мафией завершится? «Она закончится не тогда, когда не останется ни единого мафиозо, но когда сицилийцы больше не смогут вспомнить мафию».

Прошло еще два года, прежде чем Мори отозвали в Рим. Произведя свыше 11 000 арестов, он оставил судебной системе острова непростую задачу. Последующие процессы (по одному проходило 450 ответчиков) затянулись до 1932 года. Между тем Мори опубликовал книгу воспоминаний, в которой писал, что полностью уничтожил мафию и что Сицилия выиграла последний бой против организованной преступности.

Конечно, он ошибался. Да, он и вправду нанес «коза ностра» ощутимый урон, но до смерти мафии было очень и очень далеко.

В 1937 году Муссолини в третий раз побывал на Сицилии. К тому времени итальянские войска оккупировали Эфиопию, которая, наряду с колониями Эритрея и Итальянское Сомали и недавно приобретенной Ливией, изрядно увеличила присутствие Италии на африканском континенте; Сицилия, будучи ближе к Африке, чем любая точка материковой Италии, тем самым обрела новое значение. «Этот остров, – заявил дуче, – является географическим центром Империи». И прибавил, что ныне начинается одна из счастливейших эпох в 4000-летней истории острова. Вскоре приступят к работам по уничтожению обширных трущоб в окрестностях Мессины, населенных тысячами людей, что лишились крова после землетрясения. (Многие из тех, кого касались эти слова, могли бы поинтересоваться, почему минуло двадцать девять лет, прежде чем власть собралась предпринять хоть какие-то действия.) Все *latifondo*, то есть громадные земельные владения, принадлежащие помещикам, которые не живут на острове, известные как «наделы» и до сих пор обрабатываемые средневековыми и феодальными методами, будут ликвидированы; все сицилийцы получают достойное и качественное жилье – новые поселения построят по всему острову.

Италия с недоумением наблюдала. Одну из таких деревень и вправду построили недалеко от Ачиреале, но местные крестьяне отказались переселяться из однокомнатных лачуг, в которых они издревле жили под одной крышей со своими животными, и пришлось завозить на остров крестьян из Тосканы, чтобы все-таки заселить деревню. Урок, что называется, не пошел впрок: власти возвели еще восемь деревень – и все постигла та же участь. Состоялось несколько совещаний, на которых обсуждались названия деревень, но ни разу не заходила речь ни об обеспечении поселений водой, ни об электрификации^[193]. Впрочем, скоро у правительства появились иные заботы – началась Вторая мировая война.

Глава 17

Вторая мировая война

Когда Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, Муссолини заявил о полной поддержке действий Гитлера, с которым он заключил так называемый «стальной пакт» четырьмя месяцами ранее. Войну он объявил не сразу – начальник генерального штаба маршал Пьетро Бадольо предупредил дуче, что Италии попросту не хватает в достаточном количестве танков, бронемашин и самолетов. Втянуться в общеевропейский конфликт на данном этапе, сказал Бадольо, будет равносильно самоубийству. Но девять месяцев спустя ситуация коренным образом изменилась. Норвегия, Бельгия и Голландия были оккупированы, Франция тоже пала. 10 июня Италия объявила войну. Муссолини надеялся присвоить Савойю, Ниццу, Корсику, Тунис и Алжир, отобрав их у французов, однако, к его негодованию, Германия подписала перемирие, которое передало власть коллаборационистскому правительству маршала Петена в Виши; этот марионеточный кабинет продолжал управлять Южной Францией и всеми французскими колониями.

Что касается Северной Африки, «бесхозным» оставался только Египет; и в сентябре 1940 года дуче отправил туда многочисленную итальянскую армию через ливийскую границу. Британские войска, дислоцированные в Египте, безнадежно уступали в численности; однако контрнаступление оказалось гораздо более успешным, чем ожидалось, и множество итальянцев угодило в плен. Поражение итальянцев было столь громким и болезненным, что Гитлеру пришлось выдвинуть в Египет свой Африканский корпус под командованием генерала Эрвина Роммеля. Англичане потеряли инициативу, но в итоге вернули ее себе в битве при Эль-Аламейне в октябре – ноябре 1942 года.

История «войны в пустыне» остается вне нашего повествования, отмечу лишь, что она засвидетельствовала несколько последовательных унижений Италии в период с 1940-го по 1943 год. Вторжение Муссолини в Грецию в октябре 1940 года вновь вынудило Гитлера направить войска ради спасения союзника; к началу 1943 года катастрофа угрожала дуче со всех сторон. Половина итальянских сил, воевавших в России, была уничтожена; североафриканская и балканская авантюры завершились удручающим провалом. Итальянцы начали возмущаться. Затем, в июле 1943 года, союзники предприняли операцию, которая обеспечивала им плацдарм в Европе и сулила устранить Муссолини с авансцены навсегда, – они вторглись на Сицилию.

Для Сицилии до этих пор война оборачивалась сплошным бедствием. Будучи островом, она страдала намного сильнее остальной Италии. Паромное сообщение с материком прекратилось; экспортный рынок в значительной степени исчез, а импорт сделался, так сказать, спорадическим; порою сицилийцам попросту нечего было есть, кроме собственноручно выращенных апельсинов. Карточная система не действовала и воспринималась как дурная шутка; черный рынок процветал. Для мафии, с другой стороны, условия вряд ли могли быть лучше. Благодаря солидной помощи «филиалов» в Нью-Йорке и Чикаго в последние мирные годы перед войной мафия уже успела оправиться от террора,

развязанного Мори, и к 1943 году, что бы там ни вещал Муссолини, она, как говорится, снова была на коне.

Офицеры американской разведки, информированные куда лучше дуче, понимали, что для успеха предполагаемого вторжения жизненно важно добиться сотрудничества мафии. Поэтому они попытались наладить осторожные контакты с ведущим боссом этой преступной организации в Соединенных Штатах, сицилийцем по имени Сальваторе («Лаки») Лучано. Он отбывал тюремный срок с 1936 года по обвинению в принуждении к проституции, но по-прежнему контролировал все дела. В конце 1942 года, после долгих переговоров, стороны заключили сделку. Лучано получал смягчение приговора; взамен он дал два обещания. Первое состояло в том, что его друг Альберт Анастасия, глава печально известной компании «Убийство Инс.»^[194] и «смотрящий» за всеми американскими доками, обязуется не допускать забастовок докеров на протяжении военных действий. Второе обещание подразумевало, что Лучано свяжется со своими приятелями на Сицилии и попросит тех «присмотреть» за тем, чтобы вторжение прошло настолько гладко, насколько это возможно.

На самом деле этот «сицилийский план» столкнулся с серьезным сопротивлением^[195]. Многие американские генералы настоятельно возражали против каких-либо действий на Средиземноморском фронте; все доступные силы союзников, по их мнению, следовало сосредоточить в Великобритании и приступить к подготовке масштабного вторжения через Ла-Манш, которое – по крайней мере теоретически – сулит прямую дорогу на Берлин. Другие, в том числе начальник военно-морских операций адмирал Эрнест Дж. Кинг, полагали, что все доступные войска понадобятся на Дальнем Востоке. Сомневающихся в конечном счете переубедил сэр Уинстон Черчилль, который использовал все свое красноречие на переговорах в Вашингтоне в мае 1943 года. Первой целью, заявил он, является выход Италии из войны; овладение Сицилией обеспечит воздушные базы для нападения на материк и, возможно, на оплоты нацистов в других оккупированных странах Европы; вполне вероятно, что Италию удастся заставить разорвать «стальной пакт». Вторая цель – вынудить страны Оси вывести войска из России. «Не забывайте, – твердил он, – что против русских воюют 185 немецких дивизий... Мы пока не столкнулись ни с одной».

Операция «Хаски» задумывалась с размахом. Предусматривалась высадка не менее двух армий на юго-восточном побережье Сицилии, и этим армиям предстояло отвоевать для союзников первый значительный кусок европейской территории с начала войны. Силы поддержки включали более 3000 судов всех типов и размеров; как выразился адмирал Генри Кент Хьюитт, командующий американского Восьмого флота, «самый гигантский флот в мировой истории». Прежде всего эти суда должны были доставить к берегу американскую Седьмую армию под командованием знаменитого любителя помахать пистолетом генерала Джорджа С. Паттона и британскую Восьмую армию под командованием генерала (впоследствии фельдмаршала) сэра Бернарда Монтгомери. Последняя также включала 1-й дивизион канадской армии и польский корпус. Каждая из двух основных армий насчитывала около 80 000 человек, но вскоре эту численность существенно увеличили. На острове, как полагали, находилось до 300 000 солдат и офицеров стран Оси; к счастью, однако, большинство из них составляли итальянцы, которые к настоящему времени утратили желание воевать.

Немногие генералы союзников ненавидели друг друга сильнее, чем Паттон и Монтгомери. Оба они, по-своему, обожали находиться в центре внимания, но на этом сходство заканчивалось. Паттон любил войну; Монти^[196] любил себя. Паттон был человеком прямолинейным и кровожадным, его философия прекрасно сформулирована в известной речи перед Третьей армией США незадолго до высадки в Нормандии:

Мы не просто перестреляем этих ублюдков, мы вырвем им заживо их проклятые внутренности и намотаем на гусеницы наших танков! Мы будем убивать этих паршивых недоносков, этих новоявленных гуннов, сотнями, как мошкар в лесу... Нацисты – наши

враги. Идите на них, проливайте их кровь, не то они прольют вашу... Когда снаряды рвутся вокруг и вы стираете грязь с лица и понимаете, что это не грязь, а кровь и кишки того, кто был когда-то вашим лучшим другом, вы сами поймете, что делать...

Ладно, сукины дети! Вы знаете, о чем я думаю. Я буду гордиться тем, что поведу вас, замечательных ребят, в бой – в любое время, в любом месте. Вот так!

Монтгомери был совсем другим. Ростом пять футов и семь дюймов, он казался на первый взгляд, по словам канадского журналиста, «этаким не слишком успешным бакалейщиком». Он предпочитал сидеть в одиночестве на заднем сиденье своего автомобиля, «чтобы никто не усомнился, что я – это я». Стоило ему заговорить, с другой стороны, всякие сомнения исчезали. Наиболее показательная история о нем гласит, что, как-то, «проплывая мимо в большой генеральской машине», он остановился побеседовать с канадскими солдатами.

Вы знаете, почему я никогда не терпел поражений? Что ж, я объясню. Моя репутация известного полководца очень много значит для меня... Нельзя быть великим полководцем и терпеть поражения... Так что можете быть вполне уверены, что, когда яведу вас в бой, вы непременно победите.

Он действительно был превосходным лидером, любимым – почти обожаемым – своими подчиненными; порою он демонстрировал и, что называется, проблески гениальности. При этом он был самоуверен и донельзя высокомерен, всегда настаивал на собственном мнении и редко позволял слову одобрения слетать со своих уст в адрес коллег-военачальников. «Стоит помнить, – прокомментировал один из его офицеров, – что он – не образец джентльмена». Не раз в ходе сицилийской кампании Монтгомери подвергал операцию серьезному риску.

Заслуживает упоминания еще один военачальник союзников, не только потому, что он на дух не переносил как Паттона (своего непосредственного командира), так и Монтгомери. Это генерал-лейтенант Омар Нельсон Брэдли. Операция «Хаски» для него началась не слишком хорошо; он только-только перенес экстренное медицинское вмешательство по удалению геморроя (на американском армейском сленге «кавалерийские миндалины»), по его признанию, так плохо не чувствовал себя никогда в жизни. Острый приступ морской болезни усугубил ситуацию, а резиновая подкладка, на которой ему приходилось сидеть в джипе на берегу, постоянно уязвляла и без того ущемленное достоинство. Но в отличие от двух вышестоящих коллег Брэдли обращал мало внимания на собственный имидж. Ему претили и кровожадная выпренность Паттона, и эгоизм Монти; сам он, по словам известного журналиста Эрни Пайла, «не страдал ни идиосинкразиями, ни суевериями, ни хобби». Он был солдатом, и этого ему хватало.

В качестве командира II корпуса Брэдли пришлось решать неожиданную проблему – как справиться с обилием итальянских заключенных. Всего за неделю войны на Сицилии число военнопленных значительно превысило общее число вражеских солдат, угодивших в плен в годы Первой мировой войны. Многие из них, по описаниям, пребывали «в праздничном настроении... оглашали окрестности смехом и песнями». Некоторые американские части были вынуждены расставить таблички с надписью «Пленных не берем»; тем, кто все-таки пытался сдаться, советовали приходить в другой день.

С самого начала операция пошла вопреки запланированному. Исходное намерение Эйзенхауэра заключалось в том, что англичане должны вторгнуться на юго-восток острова, захватить Аугусту и Сиракузы, а американцы должны высадиться на западе и занять Палермо. Это предсказуемо не понравилось Монтгомери, который заявил, что разделять имеющиеся силы подобным образом значит провоцировать «перворазрядную военную катастрофу». Вместо того, убеждал он, обе армии должны нанести совместный удар на юго-востоке, обеспечивая взаимную поддержку. Отсюда следовало, что в идеале они должны находиться под единым командованием – разумеется, его собственным. Он записал в своем

дневнике (очень многие предложения в этом документе начинаются так): «Я должен возглавить «Хаски». Монтги был невысокого мнения об американских войсках, поэтому, задолго до отплытия флота вторжения, он сделался чрезвычайно непопулярным в штабе американцев. Как обычно, спор закончился очередным компромиссом: армиям предстояло действовать плотнее друг к другу, нежели планировалось первоначально, но на существенном удалении. Англичанам выпало высаживаться между мысом Пассеро – юго-восточная оконечность острова – и Сиракузами, причем левому крылу канадского 1-й дивизиона следовало закрепиться на полуострове Пачино. Американцы же по новому плану высаживались в заливе Джела, в тридцати пяти милях к западу.

Но боги разгневались. В мире найдется мало мест, способных гарантировать более спокойную и приятную погоду в июле, чем южное побережье Сицилии. Однако в четверг 8 июля стало ясно, что год 1943 окажется исключением из этого правила. Ко второй половине дня пятницы задул сильный северо-западный ветер, быстро приближаясь к ураганной силе, волны поднимались настолько высоко, что малые суда регулярно теряли друг друга из вида. Высадка планировалась на раннее утро субботы. К счастью, ветер, как предсказывали синоптики, должен был стихнуть вскоре после наступления темноты; для многих на борту, тем не менее, страдавших от качки и изрядно напуганных, ночь на 9 июля стала сквернейшей в жизни.

К вечеру первого дня вторжения союзники высадили 80 000 человек на побережье между Ликатой и Сиракузами. Немцы оказались во многом захвачены врасплох; их сбили с толку наметки операции «Фарш», обнаруженные в апреле, когда у побережья Испании нашли тело будто бы английского морского офицера с документами, из которых следовало, что реальное вторжение будет направлено на Сардинию и Грецию. Но все же итальянскую армию поддерживали две немецкие дивизии, и схватка велась ожесточенная. Сложно сказать, участвовала ли в операции мафия; сопротивление вторжению оказалось упорнее на востоке, где влияние «Почтенного общества» было не столь велико. Впрочем, нигде союзников не ожидал радушный прием, а постоянные ссоры между двумя командующими нисколько не облегчали проведение операции.

Ссоры – это еще мягко сказано. Уже 13 июля Монтгомери, захватив Сиракузы, но столкнувшись с серьезным сопротивлением к югу от Катании, своевольно разделил свою армию надвое, часть войск оставил на побережье, а другую направил на запад, к Энне. Он хорошо знал, что это поселение находится в глубине американского сектора ответственности; отдавая подобный приказ, он тем самым пересекал линию наступления Паттона. Лишь предприняв этот шаг, он доложил своему командиру, генералу сэру Гарольду Александеру, заместителю Эйзенхауэра. Александер проявил слабование и позволил Монтги продолжать, а Паттону приказал «убраться с дороги». Эйзенхауэр, который не терпел критики в адрес англичан, отказался вмешиваться; но остальной американский генералитет предсказуемо впал в ярость. Брэдли позднее охарактеризовал этот шаг как «самое высокомерное, эгоистичное и опасное действие в масштабе всех совместных операций Второй мировой войны». Что касается Паттона, тот буквально лишился дара речи от бешенства.

В субботу утром, 17 июля, он улетел жаловаться в Тунис, где располагалась штаб-квартира Александера. Неужели его задача состоит только в том, вопрошал он, тыча пальцем в карту, чтобы всего-навсего оберегать тылы Восьмой армии? Если Монтгомери нужна защита, то, безусловно, наилучшей тактикой будет разделить остров на две части, нанести удар силами Седьмой армии на северо-запад и захватить Палермо. Александер долго колебался, но наконец согласился. Паттон явно пострадал достаточно; настало время его немного, так сказать, побаловать. Хорошо, что генерал согласился; он не имел ни малейшего представления о том, что накануне подразделение Седьмой армии выдвинулось к Агридженто и заняло город практически без боя, взяв 6000 пленных. Иными словами, американцы и без приказа успели продвинуться довольно далеко.

В следующий четверг они заняли высоты вокруг Палермо, но Паттон запретил дальнейшее продвижение, пока не придут танки. В них не было никакой необходимости, но он считал, что танки добавят внушительности его триумфальному входу в столицу острова. Впрочем, от столицы к тому времени мало что осталось, после целого месяца бомбардировок, устроенных союзниками. Тем не менее формальное вступление в город и официальная капитуляция состоялись тем же вечером, и победоносный полководец расположился в королевском дворце, возведенном норманнами на фундаменте арабского дворца восьмивековой давности. Операция завершилась успехом, в этом сомневаться не приходилось: около 2300 солдат стран Оси были убиты или ранены, не менее 53 000 человек – почти все итальянцы – сдались в плен. Американские потери – чуть менее 300 человек. Восточную Сицилию, правда, еще предстояло освободить, и на сей раз у Паттона появилась новая цель – опередить Монти и первым ворваться в Мессину.

Через три дня после вхождения Паттона в Палермо, в воскресенье, 25 июля, Бенито Муссолини вызвали к королю Виктору-Эммануилу III. Дуче теперь выглядел бледной тенью себя самого в прошлом году. Вялый, апатичный, он равнодушно отреагировал на прозвучавшее 24 июля на Большом совете фашистской партии в Риме предложение графа Дино Гранди (который до 1939 года был послом Италии в Великобритании) обратиться к королю с просьбой восстановить в полном объеме конституционные полномочия, что фактически означало отстранение Муссолини от власти. На следующий день Виктор-Эммануил сообщил ему, что отныне правительством будет руководить маршал Пьетро Бадольо. Дуче теперь, пояснил его величество, «самый ненавидимый человек в Италии», а потому нет, к сожалению, альтернативы его увольнению. Муссолини арестовали на выходе из дворца, бесперемонно запихнули в заднюю часть машины «Скорой помощи» и отвезли в полицейские казармы на Виа Леньяно. Когда новость распространилась по Риму, ликующие толпы высыпали на улицы с криками «Benito e finito!»^[197] Люди плясали и выражали свою радость иными способами. Все фашистские символы исчезли будто по мановению волшебной палочки. По словам Бадольо, фашизм «рухнул, словно гнилая груша».

В британских и американских войсках, с другой стороны, радость была куда меньше. У них имелось слишком много забот, чтобы радоваться бурно. Смерть, отвратительные раны, жуткие зрелища, звуки и запахи, неотделимые от войны, – все это само по себе было достаточно скверно; однако на Сицилии все обстояло куда хуже. Приходилось как-то приспосабливаться к безжалостной жаре, бороться с денге, паппатачи и мальтийской лихорадкой, с почти поголовной диареей, с венерическими заболеваниями, распространившимися на Сицилии шире, чем на любом другом театре военных действий; пожалуй, больше всего хлопот доставляла малярия, которая унесла жизни примерно 10 000 человек в Седьмой армии и почти 12 000 человек в Восьмой. Персонал госпиталей, едва ли стоит уточнять, трудился не покладая рук.

В один из этих госпиталей – конкретно в 15-й эвакогоспиталь близ Никосии на Кипре – прибыл во вторник 3 августа с проверкой генерал Паттон. Он остановился у койки юного рядового с острым психоневрозом, осложненным малярией (температура выше 102 градусов^[198]), и спросил, где солдата ранили. Юноша ответил, что он не ранен; «Я просто не могу этого выносить», – добавил он. К изумлению окружающих, Паттон отвесил солдату пощечину, схватил его за воротник, заставил встать и вытолкнул из палатки. «Не смейте лечить этого сукина сына! – кричал он. – Я не хочу, чтобы трусливые ублюдки вроде него упивались тут своей гребаной трусостью и загаживали это почетное место! Отправьте его обратно в часть!» Неделью спустя, в другом госпитале, тоже произошло нечто подобное. На сей раз Паттон выхватил пистолет и махал оружием перед лицом молодого солдата, прежде чем ударить его рукояткой в висок.

Очень скоро подробные донесения об этих двух инцидентах легли на стол Эйзенхауэра. Главнокомандующий очутился в затруднительном положении. Физическое насилие в отношении подчиненного означало трибунал. Он написал Паттону: «Я должен задаться вопросом о здравости ваших суждений и самодисциплине и поставить под серьезное сомнение вашу будущую полезность... Ни одно письмо из тех, что мне пришлось написать за годы военной карьеры, не причиняло мне таких душевных страданий». В конце концов Паттону приказали извиниться перед двумя военнослужащими и произнести пять отдельных речей перед различными подразделениями с выражением своего глубокого сожаления. Впрочем, его раскаяние было во многом напускным. «Если бы мне пришлось сделать это снова, – писал он другу, – я бы повторил все в точности».

Можно представить себе удовлетворение Монтгомери, когда тот услышал об опале своего соперника, и его разочарование, когда он размышлял о вступлении Паттона в Палермо и об ускоренном марше американцев к Мессине. Правый фланг англичан по-прежнему пытался прорваться сквозь упорное немецкое сопротивление в Катании, а остальная часть армии еще двигалась через предгорья к юго-западу от Этны. В первой декаде августа ситуация изменилась. Американцам потребовалась почти неделя на взятие Троины; одновременно немецкие части, которые блокировали Катанию, отступили на север. К этому времени у них не оставалось никаких шансов удержать остров, и они переправлялись на материк. Наконец Восьмая армия ворвалась в Катанию – и выяснила, что для проживания пригодны от силы двадцать процентов городских зданий.

Немецкая эвакуация с Сицилии началась 11 августа. Поразительно, что союзники не пытались помешать. Насколько удалось выяснить исследователям, ни до начала операции «Хаски», ни в ходе ее осуществления у союзников не имелось какого-либо скоординированного плана блокады Мессинского пролива. Похоже, такая мысль не приходила в голову ни Эйзенхауэру, ни Александру, ни кому-то еще. В результате около 40 000 немцев и 70 000 итальянцев позволили покинуть остров, заодно с 10 000 транспортных средств и 47 танками. По численности это равнялось четырем дивизиям, и в последующие месяцы эти дивизии нанесли немалый урон союзным частям.

Но Паттона убегающие немцы не интересовали. Он думал только о том, чтобы войти в Мессину прежде Монтгомери. Его войска страдали от истощения и от серьезного обезвоживания вследствие жары, достигавшей 35 градусов Цельсия. У него самого температура тела подскочила до 39,5 градуса из-за лихорадки паппатачи, но он безжалостно гнал своих солдат вперед. Монтгомери, который тоже наконец-то наступал, сильно задерживался; и вот, утром во вторник, 17 августа, Паттон въехал на своем командирском автомобиле на вершину холма над Мессиной. К тому времени его передовые силы уже фактически вошли в город (накануне вечером) с приказом «обеспечить, чтобы британцы не овладели городом раньше нас»; но генерал, как всегда, прикидывал обустройство торжественного вступления. Случайную пальбу со стороны отступающих немцев игнорировали, и мэр официально сдал Паттону то, что осталось от его города. Александра немедленно поставили в известность, и он телеграфировал Черчиллю: «К 10 утра сегодня утром последний немецкий солдат бежал с Сицилии, весь остров теперь в наших руках».

Освобождение Сицилии унесло жизни 12 800 британцев и 8800 американцев (а противник потерял 29 000 убитыми и ранеными). Зато союзники практически подчинили себе Средиземноморье и получили в свое распоряжение около 10 000 квадратных миль важной территории, на которой в последующие месяцы, точно грибы, повыврастали бесчисленные аэродромы. Падение Сицилии обрушило режим Муссолини и в немалой степени облегчило давление на Восточном фронте, так как немцам пришлось срочно перебрасывать войска из России для защиты Италии и Балкан. Кроме того, операция преподала союзникам ряд ценных уроков. В Африке они сражались в пустыне; на Сицилии их ожидали скалистые склоны, и они обнаружили, что прежде изрядно недооценивали сложность войны в такой местности. Регулярно возникали проблемы со связью, причем некоторые оказались

катастрофическими. Пехота, артиллерия, флот и ВВС слишком часто получали противоречивые сведения (либо вообще никакой информации) относительно действий других подразделений; союзным самолетам на самом деле было настолько опасно летать над своими же кораблями, что предписанную высоту полета в 5000 футов пришлось увеличить до 10 000 футов. В ходе одного сражения двадцать три самолета США было уничтожено, еще тридцать семь получили сильные повреждения – от дружественного огня, что привело к потере более четырехсот жизней; это один из худших инцидентов подобного рода в современной войне.

Сорок дней и сорок ночей операции «Хаски» также ознаменовались развитием процесса, который вызывал серьезную озабоченность Эйзенхауэра – и, разумно предположить, Уинстона Черчилля; речь о заметном ухудшении англо-американских отношений. Отчасти в том повинно поведение Монтгомери; большинство его американских коллег – которые не видели и не слышали генерала в кругу соратников – хотели лицезреть Монти как можно меньше и не могли понять, почему Эйзенхауэр терпит этого «британского сноба» или почему он принял приглашение на обед в Таормине с Монтгомери в конце августа. Впрочем, конфликт был более глубоким: с британской стороны присутствовала зависть к богатству американцев, к превосходству их еды и сигарет, а также военной техники; с американской стороны имелось смутное ощущение, что к ним снисходят, а в отдельных случаях даже тайком издеваются. После вторжения в материковую Италию ситуация, что любопытно, существенно улучшилась, особенно после отбытия Монти в декабре; но на Сицилии соперничество грозило перерасти в столкновения и выглядело дурным предзнаменованием на будущее.

Эпилог

Союзные армии на Сицилии встречали восторженно – и по вполне объяснимым причинам. Они освободили остров от диктатуры; что еще важнее, они принесли с собой еду и лекарства для борьбы с малярией, которая до сих пор собирала обильный ежегодный урожай сицилийских жизней. Воцарившаяся политическая неразбериха вдобавок позволила сицилийцам задуматься о самоопределении. Сепаратизм витал в воздухе многие годы; теперь он в очередной раз вышел на первый план, и петиция о превращении Сицилии в независимую республику была подана участникам конференции в Сан-Франциско^[199].

Мафия между тем обрела значительные выгоды от сотрудничества с американской разведкой. Например, к удивлению многих, в 1944 году друг Лаки Лучано, мафиозо Вито Дженовезе (который до сих пор числился в розыске ФБР по нескольким обвинениям, включая убийство) в американской военной форме выступал в качестве переводчика. Когда несколько месяцев спустя Дженовезе был схвачен на крупной тайной афере, подразумевавшей хищение тяжелых грузовиков армии США, следователю пришлось столкнуться с долгими проволочками со стороны военных властей, прежде чем ему неохотно разрешили отправить Вито в Америку на суд – как выяснилось, впустую, поскольку в июне 1946 года все обвинения были сняты в связи с отсутствием доказательств. (Во многом это объяснялось тем, что двух главных свидетелей обвинения застрелили, причем одного – прямо в тюремной камере, где он содержался под охраной.)

Многие мафиозные боссы получили назначение на ответственные посты в администрации просто потому, что не нашлось иных кандидатур. Фашистские предшественники – числом несколько тысяч – бежали; союзники были вынуждены искать им замену и часто опирались на советы своих не слишком-то надежных переводчиков и офицеров по связям. Так, столь печально известные фигуры, как дон Калоджеро Виццини (в прессе он фигурировал как «босс боссов») и дон Джено Руссо, удостоились назначений на должности, достойные доверия и даже отличия^[200]. Конечно, не следует отбрасывать вероятность того, что оккупационным властям было на самом деле все равно; их интересовало только спокойствие

на Сицилии, пока они наступают по итальянскому «сапогу», а если мафия способна справиться с этим лучше всех, значит, будем сотрудничать с мафией.

В феврале 1944 года союзники передали Сицилию итальянскому правительству; сила сепаратистских настроений на острове была такова, что правительство наконец совершило шаг, который, по мнению многих, ему следовало сделать едва ли не столетием ранее: острову предоставили поразительно широкую автономию – в надежде, что подобная мера не только потрафит сепаратистам, но и придаст сицилийцам новое ощущение политической ответственности. Законодательное собрание обосновалось в королевском дворце в Палермо, появился собственный кабинет министров, каждый из которых назначался на пятилетний срок. Кабинет получил практически полный контроль над производством, сельским хозяйством и горнодобывающей промышленностью, а также весьма широкие полномочия в сфере общественного порядка и коммуникаций. Это были и вправду хорошие новости для жителей Палермо; их город снова сделался административной столицей острова и внезапно обрел сотни новых рабочих мест. Итальянское правительство к тому же все-таки признало, что Сицилия не может дальше существовать в той же нищете, как раньше, и приняло решение о выделении существенных субсидий. Островитяне воодушевились, из этого воодушевления родилась гражданская гордость, которая прежде либо вовсе отсутствовала, либо подавлялась. Деволюция также покончила с сепаратизмом; к 1950 году сепаратистская партия фактически прекратила свое существование.

Мафия, с другой стороны, сохранила прежнее положение в обществе. Усмотрев потенциальную угрозу своим интересам со стороны коммунистов и социалистов – число которых неуклонно росло, – она теперь заключила прочный политический союз с христианскими демократами, что объясняет, почему при сменявшихся друг друга христианско-демократических правительствах столь многие профсоюзные лидеры добились власти и почему, несмотря на неоднократные обращения, против них не предпринималось сколько-нибудь серьезных действий. Силы правопорядка обычно предпочитали фокусироваться на другом биче Сицилии – бандитизме и разбое. Порой эти бандиты и разбойники оказывались «заодно» мафиози, порой они бесчинствовали самостоятельно; так или иначе они преимущественно разбойничали вне «периметра» мафии и преследовали в основном личные интересы. Величайшим среди них, человеком, который стал легендой и чье имя до сих пор помнят далеко за пределами Сицилии, был Сальваторе Джулиано.

В сентябре 1943 года двадцатилетний Джулиано был задержан карабинерами с двумя мешками зерна с черного рынка. Последовал спор, один из офицеров достал оружие, и Джулиано его застрелил. Затем он бежал в горы. В январе следующего года он организовал побег из тюрьмы восьми своих односельчан. Шестеро присоединились к нему и вместе они стали промышлять бандитизмом, вымогательством и похищениями людей. Сам Джулиано не был мафиозо, но мафия, в особенности *cosca* Монреале^[201], его защищала. В его характере было кое-что от Робин Гуда: конечно, он нагабил у богатых куда больше, чем раздавал бедным, но он как будто наслаждался этакой грубой справедливостью – например, застрелил почтмейстера своей родной деревни Монтелепре, кравшего посылки из Америки. Кроме того, он был необыкновенно красив. Иллюстрированные журналы Европы и Америки пришли в восторг, когда он вломился в дом герцогини Пратамента, поцеловал ей руку и выказал должное уважение к ее титулу; это не мешало ему потребовать у герцогини драгоценности, а когда она отказалась – пригрозить похитить ее детей. Даже подобное поведение не слишком запятнало его славу, по крайней мере, если верить легенде о Джулиано: за детьми, которых он похищал, будто бы тщательно присматривали, кормили здоровой крестьянской пищей и давали лекарства, если требовалось. Когда детям становилось скучно, похитители, как гласит легенда, даже читали им сказки; впрочем, поскольку лишь немногие сицилийские разбойники умели читать, вот в это поверить затруднительно.

Такая карьера не могла длиться долго. Жизнь Джулиано должна была закончиться градом пуль полицейских. Но именно мафия решила избавиться от него – хотя каким именно образом, сие, в полном соответствии с традициями организации, остается загадкой. В ходе довольно нелепого судилища, состоявшегося в Витербо в 1951 году, бывший ближайший друг и бандит Гаспаре Пишотта признался, что накачал Джулиано наркотиками и застрелил его 5 июля 1950 года, пока он спал. Эта версия почти наверняка не соответствует действительности, но мы никогда не узнаем истину, ибо некоторое время спустя Пишотта, отбывавший пожизненное заключение в тюрьме Уччардоне (в одной камере, по стечению обстоятельств, со своим отцом), был отравлен 20 сантиграммами стрихнина: такой дозы, как говорят, достаточно, чтобы прикончить сорок собак. Поразительно (было бы поразительно, случись это в какой-нибудь иной местности), что отравителя установить не удалось. Мафия ревностно хранит свои секреты – столь ревностно, что за двадцать лет после смерти Джулиано все те, кто был вовлечен в эту операцию, оказались застрелены по выходе из тюрьмы^[202].

Приведенный выше предельно краткий обзор жизни известнейшего и – несмотря на 430 с лишним жертв – любимейшего бандита Сицилии должен послужить эпилогом для этой книги. Очевидно, что история Сицилии никогда не завершится, разве что остров целиком не исчезнет под волнами; если историю некоего конкретного периода можно подвести к элегантному окончанию, но ту, которая рассматривает судьбу некоего региона планеты, возможно оборвать лишь произвольно; пора это сделать, тем более что книга уже получилась достаточно объемной.

На самом деле, помимо открытия нефти в 1953 году, недавняя история острова не изобилует событиями; обычный читатель (если таковые существуют в природе) отыщет, как мне кажется, на этих страницах почти все, что ему хотелось бы узнать о Сицилии. Если повезет, эти страницы вдобавок заставят его задуматься. Почему столь восхитительно красивый остров всегда страдал и мучился? Я упомянул о бедах Сицилии в первом абзаце и постарался описать их, насколько смог; но я в действительности не дал ответа на этот вопрос. Я вернусь к нему теперь, когда книга закончена; признаюсь, что сам по-прежнему нахожусь в недоумении. А ведь есть и другие вопросы. Найдется ли во всем мире другой участок воды шириной менее двух миль, имеющий такое же необыкновенное значение, как Мессинский пролив? Не будь Сицилия островом, отличалась бы ее история от текущей? (Думаю, впрочем, что лишь немногие сицилийцы пожелали бы родине такой участи^[203].)

И все же, несмотря на свою трагическую историю, Сицилия остается жемчужиной Средиземноморья. Нигде в мире не найти такого богатства памятников и такого разнообразия цивилизаций – греческой, римской, византийской, арабской, норманнской, немецкой, французской, испанской, неаполитанской – на столь малом пространстве и в сочетании с обилием исконно сицилийского, будь то ослепительное барокко Ното, Рагузы и Модики, почти неправдоподобная лепнина Джакомо Серпотты или даже традиционный кукольный театр, который, совершенно независимо от его весьма немалой развлекательной ценности, изрядно помогает постижению сицилийского народа и его прошлого.

Именно они являются героями нашей истории. Некоторые сицилийцы, конечно, всегда были богаты и, как правило, с годами приобретали обширную коллекцию титулов, отражающую их достаток. Подобно всем европейским аристократам, они заботились о себе в меру своих возможностей, но следует перечитать «Леопарда», прежде чем критиковать их слишком сурово. В любом случае, таковых было сравнительно мало. Как всегда, бедняки, вытянувшие короткую соломинку в лотерее жизни, составляли подавляющее большинство населения острова, и вот их-то история, во многом из-за отсутствия письменных свидетельств, обычно упускает из вида. Сицилийская беднота вытерпела немало за минувшие столетия: она познала рабство и многие века ужасающей нищеты. Даже солнце, которому мы, северяне, инстинктивно завидуем, было им одновременно другом и врагом. Бедняки справлялись, как

могли, с бесчисленными невзгодами, выпадавшими на их долю, и если в отсутствие дееспособного или хотя бы не вызывавшего отторжения правительства они создали собственную систему выживания – что ж, мы вряд ли можем их винить.

Но в последние полтора столетия все стало меняться к лучшему. Сицилия не стала независимым государством – она лишилась этого статуса с уходом норманнов, – однако в составе Итальянской республики она обладает собственным региональным правительством, собственным парламентом из девяноста человек и собственным президентом, а также располагает значительной степенью местной автономии. Как уже говорилось в предисловии, я надеюсь и верю, что она будет отныне счастливее, чем была в последние восемьсот лет. И пусть это счастье длится как можно дольше.

Благодарности

Джорджина Лейкок в Лондоне и Мика Касуга в Нью-Йорке тщательно прочитали этот текст в рукописи; моя дочь Аллегра Хастон отредактировала рукопись так хорошо, как умеет она одна; моя жена Молли внесла несколько ценных предложений. Я очень благодарен им всем.

Сердечная благодарность Джулиет Брайтмор за иллюстрации и, как всегда, Дугласу Мэтьюсу, лучшему составителю указателей в мире; также благодарю Кэролайн Уэстмор.

Отдельные теплые слова – моим агентам Фелисити Брайан и Мишель Топэм. Они провели меня через множество книг (даже вспоминать неприлично, через сколько именно), и – кто знает? – их работа, возможно, еще не завершена.

Библиография

- Acton, Sir Harold, *The Bourbons of Naples, 1734-1825*, London, 1956
- Al-Edrisi, Abu Abdullah Mohammed, *Géographie d'Edrisi*, trans. A. Jaubert, 2 vols, Paris, 1836
- Allsop, K., *The Bootleggers: The Story of Chicago's Prohibition Era*, London, 1961
- Amari, M., *History of the War of the Sicilian Vespers*, 3 vols, London, 1850
- , *Storia dei Musulmani di Sicilia*, 3 vols, Florence, 1854–1872
- Atkinson, R., *The Day of Battle: The War in Sicily and Italy, 1943-1944*, New York, 2007
- Beevor, A., *The Second World War*, London, 2012
- Blanch, L., *Scritti storici, a cura di Benedetto Croce*, Bari, 1945
- Blessington, Countess of, *The Idler in Italy*, Paris, 1839
- Cambridge Medieval History*, 8 vols, Cambridge, 1911–1936
- Campolieti, G., *Il Re Bomba*, Milan, 2001
- Caven, B., *Dionysius I: War-Lord of Sicily*, New Haven and London, 1990
- Chalandon, F., *Histoire de la Domination Normande en Italie et en Sicile*, 2 vols, Paris, 1907
- Cicero, *Selected Works*, ed. M. Grant, London, 1960
- Collison Morley, L., *Naples Through the Centuries*, London, 1925
- Constantine, D., *Fields of Fire: A Life of Sir William Hamilton*, London, 2001
- Craven, R. Keppel, *A Tour through the Southern Provinces of the Kingdom of Naples*, London, 1821
- Cronin, V., *The Golden Honeycomb*, London, 1954

- Damas, Count Roger de, *Mémoires, publiés et annotés par Jacques Rambaud*, Paris, 1912
- Davis, J. A., *Naples and Napoleon: Southern Italy and the European Revolutions, 1780-1860*, Oxford, 2006
- Dickie, J., *Blood Brotherhoods*, London, 2011
- Diodorus Siculus, *Universal History*, trans. C. H. Oldfather, Cambridge, MA, 1935
- Eggenberger, D., *A Dictionary of Battles*, London, 1967
- Enciclopedia Italiana*
- Finley, M. I., *A History of Sicily: Ancient Sicily to the Arab Conquest*, London, 1968
- Fraser, F., *Beloved Emma: The Life of Emma, Lady Hamilton*, London, 1986
- Freeman, E. A., *A History of Sicily*, 4 vols, London, 1891—94
- Grady, E., *The Blue Guide to Sicily*, London and New York, 2006
- Henderson, N., 'Charles III of Spain', *History Today*, November 1968
- Johnston, R. M., *The Napoleonic Empire in Southern Italy*, London, 1904
- , ed., *Mémoire de Marie Caroline reine de Naples, intitulé 'De la Révolution du Royaume de Sicile, par un Témoin Oculaire'*, Cambridge, MA, and London, 1912
- Knight, C., *Autobiography*, London, 1861
- La Lumia, I., *Studi di storia siciliana*, 2 vols, Palermo, 1870
- Livy, *Books 1—22*, trans. B. O. Foster, London and New York, 1919—1920/29
- , *Books 23-30*, trans. Frank Gardner Moore, London and New York, 1940—1950
- Macchiavelli, N., *The Prince*, trans. G. Bull, London, 1963
- Mack Smith, D., *A History of Sicily*, 2 vols, London, 1968
- MacMillan, M., *Peacemakers: The Paris Conference of 1919 and its Attempt to End War*, London, 2001
- Montet, Baronne du, *Souvenirs, 1785-1866*, Paris, 1914
- Mori, C., *The Last Struggle with the Mafia*, London, 1933
- Norwich, J. J., *The Normans in the South*, London, 1967
- , *The Kingdom in the Sun*, London, 1970
- , *The Middle Sea*, London, 2006
- Oxford Classical Dictionary, The*, Oxford, 1949
- Pace, B., *Arte e Civiltà della Sicilia antica*, 4 vols, Rome and Naples, 1936—1949
- , 'I barbari e i bizantini in Sicilia', *Archivio Storico Siciliano*, vols 35—36, Palermo, 1911
- Pagano, G., *Avvenimenti del 1866: sette giorni d'insurrezione a Palermo*, Palermo, 1867
- Pepe, Guglielmo, *Memorie intorno alla sua vita*, Paris, 1847
- Petrie, Sir Charles, *King Charles III of Spain: An Enlightened Despot*, London, 1971
- Plutarch, *Lives*, trans. B. Perrin, London, 1926
- Polybius, *The Histories*, trans. W. R. Paton, Cambridge, MA, and London, 2010—2012
- Riall, L., *Sicily and the Reunification of Italy: Liberal Policy and Local Power, 1859—1865*, Oxford, 1998

- , *Garibaldi: Invention of a Hero*, Yale, 2007
- , *Under the Volcano: Revolution in a Sicilian Town*, Oxford, 2013
- Romano, S. F., *Breve storia della Sicilia: momenti e problemi della civiltà siciliana*, Turin, 1964
- Runciman, S., *The Sicilian Vespers*, Cambridge, 1958
- Scirocco, A., *Garibaldi, Citizen of the World*, trans. A. Cameron, Princeton, 2007
- Servadio, G., *Mafioso: A History of the Mafia from Its Origins to the Present Day*, New York, 1976
- Stefano, A. de, *Federico III d'Aragona, Re di Sicilia, 1296–1337*, Palermo, 1937
- Thucydides, *The Peloponnesian War*, trans. Rex Warner, London, 1962
- Touring Club Italiano: Sicilia*, Milan, 1953
- Trevelyan, Raleigh, *Princes Under the Volcano*, London, 1972
- , *The Companion Guide to Sicily*, London, 1996
- Wheatcroft, A., *The Habsburgs: Embodying Empire*, London, 1996
- Whitehouse, H. R., *The Collapse of the Kingdom of Naples*, New York, 1899
- Woodhead, A. G., *The Greeks in the West*, London, 1962